

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Владимир Бутенко	
Кавказский набат	3
Василий Звягинцев	
Величья нашего зоря	111

ПОЭЗИЯ

Валентина Сляднева	
Стихотворения	181
Владимир Яковлев	
Стихотворения	189
Елена Гончарова	
Стихотворения	195
Константин Ходунков	
Стихотворения	203
Анатолий Шевякин	
Стихотворения	209

НЕИЗВЕСТНАЯ КЛАССИКА

Илья Сургучев	
Рассказы	213

ПУБЛИЦИСТИКА

Тамара Дружинина-Куликова	
Победить себя	267

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексей Кругов	
Окопная правда	281

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Александр Фокин	
Из действующей армии	291
Елена Иванова	
Живой родник души земной	303
Сведения об авторах	319

Главный редактор альманаха
«Литературное Ставрополье»
В. БУТЕНКО



*Литературное
Ставрополье
№ 3 (2014)*



© Правительство
Ставропольского края

ББК 84 (2 Рос = Рус) 6
УДК 821.161.(470.630)-8
Л 64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, В. Звягинцев,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова,**

**Л 64 Литературное Ставрополье. Альманах. –
Ставрополь. 2014 г. № 3.**

Адрес редакции:
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел.: (8652) 26-31-50
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Технический редактор: А. Ю. Шаталов
Дизайн, верстка: А. П. Черкашина

Сдано в набор 14.11.2014. Подписано в печать 25.11.2014.
Формат 84х108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ № Тираж 979 экз.
ООО «Полиграфпром», г. Минеральные Воды,
ул. Фрунзе, 33, тел.: 8 (87922) 7-67-17.

ISBN



Кавказский набат

Роман

Часть первая

1

Донская зима-разгульница недолго кроила свои кружева и серебром шитые наряды! Во хмелю морозном и румянце, в летучих юбках выюжных да переливчатых бусинах-льдинках, пожаловала она в Черкасск аккуратно к Николину дню, к самому что ни на есть дорогому праздничку казачьему!

Весь войсковой Воскресенский собор – от алтаря до входа – озарен свечками и полон православным людом. На кого же и уповать ему, как ни на Миколу-Угодника, заступника в боях лютых и в тщете мирской? Так велось на Дону исстари.

Сотник Ремезов отстоял Всенощную, обращаясь в помыслах ко Вседержителю и Николаю Чудотворцу. «Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих нас, и укроти волны страстей и бед, возрастающих на нас, да ради святых твоих молитв, не обымет нас напасть, и не погрязем в пучине греховней и в тине страстей наших, – шептал он, осеняясь крестным знаменем. – Моли,



**ВЛАДИМИР
БУТЕНКО**

Проза





святителю Николай, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение!»

Эти последние слова молитвы были особенно волнительны. Он незаметно прирастал к дому, привыкал к простым нуждам и хлопотам, к тому, что рядом была Мерджан. Но «мирное житие» в любой час могло прерваться призывом в полк! Тревожные вести доходили с Кавказа, где все чаще бесчинствовали горские отряды, и с крымской стороны, объятай междоусобицей. По всему турки, хотя и подписали мирный трактат, но поползновений на господство в Крыму не оставляли...

Временами от спертого воздуха, от тесноты, от монотонного тенорка дьячка, читавшего святое писание, клонило в дрему, и Леонтий, превозмогая ее, думал о матери, слегшей третьего дня, о брюхатой своей женушке, о святом и мелочном, причудливо перемешанном в такой непредсказуемой жизни.

Но вот с чарующей силой подхватывал молитвенный распев хор, лаженностью голосов трогая до слез, – и душа радостно светлела. И чудилось присутствие в храме Господа и святого Угодника, внемлющих и сострадающих. Взгляд, привыкший к полумраку, в эту минуту точно становился острее. И Леонтий снова вглядывался в Лики святых на высоком пятиярусном иконостасе. Позолотой отливали на фоне беленых стен колонны, как бы сплетенные из виноградных лоз, которые, ветвясь, дивно увивали образа. Пред божьей ратью, каждый в свой час, уже предстали его предки, батюшка Илья Денисович, многие однополчане. Но коль казак ты плоть от плоти, и крепки в душе дух ратный и вера христианская, нет иного пути, как жить и помереть заради Дона и Державы российской.

Сердце вздрагивало, когда бас священника покрывал хор певчих и, колебля огоньки свеч и лампад, раскатисто расшибался о стены. Казаки переглядывались: экий голосина! Улыбался и Леонтий: все здесь было с детства знакомо, полно особого смысла и непознаваемой тайны, все говорило о скоротечности пребывания в юдоли земной...

Наконец, священник громоподобно и протяжно воспел «аллилуйя». Богомольцы задвигались. После короткой проповеди батюшки толпа поднаперла, подалась наружу.

На паперти Леонтий столкнулся с Касьяном Нартовым, урядником из его сотни. Крутоплечий, синеглазый казачина в последнее время оказывал знаки внимания Марфуше. Да и сестре, как догадывался Леонтий, ухарь был по нраву.

– С праздником, господин сотник! – выпалил Касьян, встряхнув чубатой головой. – Добра да хлеба во двор!

– И тебе того ж! – улыбнулся Леонтий. – Почему без шапки? Никак пропил?

– Обменял на волкобой¹. Айда в завтрашний день на гульбу! Ишо назовем с десяток гулебщиков² и серых замордуем. Слыхал, наш платовский полк снова отправляется на борьбу с бунтовщиками. Кудысь в Рассею. Хоть напоследки позабавимся!

– Давай на другой день. Завтра поп с причтом будет курени обходить. Положено дома быть.

– Нехай будет по-твоему. Только ты, Леонтий, на своем краю ишо ребят набери. Амором охотиться ловчей... А иде ж Марфа Ильинична?

– Да вот гляжу, – должны они с Мерджан к тому дубу, что наспроть ворот церковных, прийти.

¹ Волкобой (донск.) – плеть с тяжелым свинцовым шаром на конце.

² Гулебщик (донск.) – охотник.



Парень кивнул и ветром слетел со ступеней.

Позднее декабрьское утро только входило в силу, а с дальних и ближних улиц, с раскатов уже валила к соборному майдану веселая молодежь, стекались малороссы и крещеные калмыки. Вслед за ними, согласно традиции, появились особы старшинского разряда в шубах с собольими воротниками, купцы, строголикие старoverы-бородачи, бабы мужние и вдовушки, за которыми хвостиками вязалась детвора.

Леонтий, приплясывая от мороза, ждал и с интересом оглядывал майдан. Все его пространство было уставлено сбитыми на скорую руку лавками и палатками. Торговые люди, точно поставые, не покидали мест, зазывали покупателей. Чего только не сыщешь в рядах! И шали с кистями, и зеркала, и диковинные самоцветные украшения для прелестниц, и домашняя утварь, и одежда на любой вкус, – от кафтанов до шелковых тирасок! А казаков манит кубачинское и турецкое оружие: убойные ружья, шашечки-молнии да кинжалы с наборными рукоятями. В сторонке – провиантские ряды. Здесь свежесть снега мешается с запахами пшеничных булок и копченого сала, яблок, неведомых заморских фруктов, привезенных персом. Солнце встало уже в полдуба, морозец сдал, а этот смуглый горемыка, закутанный поверх чалмы шерстяным полушалком, в толстой бурке и рукавицах, так продрог, что лишь таращит свои темные глазищи и, едва шевеля посиневшими губами, покочетиному выкрикивает:

– Алимон! Карош-карош... Алимо-он!

Черкасцы берут в руки и с любопытством разглядывают эти округлые ярко-желтые плоды, много раз нюхают. Аромат приятственный. Но нет! Не хвалят «алимон» в городке, кислые до оскомины. Одна только расфуфыренная краля, женка полковничья,



не пожалела медяков, твердя во всеуслышание, что нет средства верней супротив клопов!

Покупки делали к Рождеству. Потому выбор снеди, несмотря на пост, был богат: окорока, бараньи ноги, вяленая белорыбица, осетрина, отливающая на солнце слитком золота. Немало бочек и бочонков со свежей, точно инеем подернутой паюсной икрой. Ее охотно казаки берут, подставляя глиняные миски, и – к питейщикам! Очередь там – на полверсты. Виноторговцы, толстомясые мужички, черпаками разливают, жалея каждую каплю, бражку, многолетние меды, сивуху. У прилавка гомон и толкотня, захмелевшие бражники подходят «налить другорядь», их не пускают, костерят те, кто трезв. Питейщики, сохраняя полную невозмутимость, берут деньги из рук, отпускают зелье по оплате, – кому в чарку, кому в кувшин, а кому и в ведро!

За всем этим орлиным взором наблюдает их хозяин, владелец винокурни. Дородный, с бородой-лопатой, воронежский прасол возбужден и доволен тем, как идет продажа. Недаром, стало быть, сунул «барашка в кармашке» писарю войскового правления, пособившему получить разрешение на торговлю. Время от времени этот заезжий красавец в медвежьей шубе и шапке крестится на все девять глав величественного храма, щурясь от блеска золоченых крестов, вступает в беседы с хорошенькими казачками, гуляя по майдану. Его мучит жажда после вчерашнего застолья у писаря. Но нет нигде, даже в харчевне, привычного с пеленок кваса либо пива. Не жалуют эти «расейские» напитки казаки, и духу не терпят! Видно, остается только хлебнуть рассола из бочки с огурцами, которые продает тут же, на отшибе, шельмоглазый дядька в тулупе и остроконечной запорожской «макитре»...

Цветастые шали Мерджан и Марфуши угадал Леонтий издала и, не мешкая, зашагал навстречу.



Приодетые в азамы из верблюжьей шерсти, сшитые и украшенные аграмантом собственными руками, обе были высоки и красивы и невольно притягивали улыбочивые взгляды. Леонтий очень не любил, когда на жену пялился кто-либо из казаков. На сей раз, к счастью, ничто не омрачало праздничного настроения.

Сперва он угостил своих барышень пряниками и лущеными орехами, затем повел их на пустырь за церковью, где выступали скоморохи и жалобно цугикала¹ шарманка. Мерджан до слез была тронута этой протяжливой мелодией, невесть что навевавшей ей в это утро. А Марфуша вертела головой, высматривая подружек. Вскоре они сами явились, такие же веселые и ладные, и увлекли озорницу за собой.

Полдень выстоялся погожий, тихий, с раскрытым бирюзовым небом.

Мерджан шла под руку с любимым и, улыбаясь, шурилась от многоснежья, от частокола сосулек вдоль застрех куреней, горящих под солнцем. С каждым часом разгулье в городке крепло, – рекой лилось вино, под балалайки и бандуры затевались плясы-переплясы да песни, водились хороводы, а они были вдвоем, вдвоем в этом еще непознанном ею казачьем мире. Мерджан ощущала в душе радость, какую-то особую свою защищенность. После Рождества они должны были обвенчаться с Леонтием. Беременность она переносила нетрудно, – только пристрастилась грызть куски мела...

Свернули неспеша на прибрежный выгон посмотреть старинную казачью игру. На рамке, сделанной из жердей, висело железное кольцо величиной, примерно, в один ручной обхват. Дюжина молодых казаков, разгоня лошадей, на полном скаку должны

¹ Цугикать (донск.) – играть.

были пробросить пикку сквозь это кольцо так, чтобы не зазвенел привязанный к нему колокольчик. Ухари сменяли друг друга, старательно метились и попадали, но трехаршинная пика то и дело цеплялась задним концом, рассыпая веселое треньканье.

– Дюжей надо метать! – наблюдая, взволнованно пояснял Леонтий жене. – Чтоб летела пика, как пуля. Я раньше тоже участвовал. Вот, кажется, простое занятие. А попробуй, попади!

Поодаль, в тылу собора, собиралась толпа глазеть на кулачный бой. Добровольцы-драчуны кучковались вокруг судьи, есаула Браткова. Леонтий, заметив однополчан, не сдержался. Несмотря на отговоры жены, повел туда, сбросил ей на руки ноухонький бешмет и шапку и подался к своим.

Платовцам и примкнувшим к ним отчаюгам противостояли казаки Рыковской станицы и Алексеевского бастиона. Среди них были батарейцы, изрядно понянчившие ядра и на своих руках потаскавшие мортиры. Да и кулачищи у них, в самом деле, походили на чугунные шары. Три года подряд побивали они супротивников на праздниках.

Носком сапога подручный Браткова, лихой казачок, прочертил по снежному насту между. А сам есаул, дав команду бойцам разойтись, с одной и с другой стороны воткнул по флажку. Гурьбе Леонтия достался синий, а батарейцам – алый. Победителями становились те, кто переносил флажок противника на свою полянку.

– Сходись! – гаркнул Братков, выкатив глаза и шевельнув порыжелыми от курева усищами.

Мерджан в первый раз видела, как две ватаги казачков, только что дружески перешучивавшиеся между собою, бросились в драку. Под возгласы и грозные крики замелькали кулаки! В ратоборство вступали попарно. Поначалу сторонники Леонтия, удерживая



«стенку», отмахивались от пушкарей. Но те, войдя в азарт, изломали порядки платовцев и потеснили назад. Вот уже двое приятелей Леонтия сели на снег, закрывая ладонями разбитые лица. Вот и самого его, искусного кулачника, с двух рук проворно «метелит» казак с бастиона, рослый и по-медвежьи сутулый. Верхняя губа Леонтия разбита, нос распух, но дерется он по-прежнему упорно, уворачиваясь и ответно осыпая батарейца тумачами. И вдруг могучий верзила, пропустив удар Леонтия, дернул головой и закачался по-пьяному, пошел вбок и припал на колено...

Мерджан, которую разбирало волнение и тянуло кинуться мужу на выручку, выкрикнула и прицокнула языком. Но тут же мужа высмотрел знаменитый боец Василь Метла, уже успевший также уложить первого противника. Василь неказист, но шея у него, как у быка, а ручищи вроде кузнечных щипцов. Случалось, на спор разгибал он подковы... Разок пропустил Леонтий его выпад, второй. И как-то обмяк, точно опору потерял. Мерджан, объятая гневом, швырнула на землю все, что было в руках, и кинулась к мужу. В мгновение донесли ее быстрые ноги к дерущимся. Разъяренным зверем налетела она на Василя, вцепилась рукой в его оттопыренное ухо. Ахнув от неожиданной боли, станичник скосил голову и не поверил глазам: на него напала... баба! От боли он отмахнулся локтем, толкнул ногоянку в грудь. Леонтий задохнулся от ярости. И, увидев в его глазах безумный блеск, Василь, этот непобедимый кулачник, попятился...

Между тем платовцы, дав противнику порастрахать силы, перешли в наступ. Бой затягивался. Есаул Братков и старики-судьи теряли терпение: давно были приготовлены бочка полтавской горилки и жбан с квашеной капустой. Тут и смекнул дед Филимон, сам рыковский станичник, что платовцам над-

лежит присудить поражение, так как на их позицию выбегала баба и чинила супротивникам ущерб. Его поддержали бородатые старшины. Есаул рявкнул: «Разбороняйся!» Однако унять кулачников было не так-то просто: и разойдясь, они задевали друг друга, сулились «возвернуть должок». Братков громогласно объявил решение судей. И Метла, в знак справедливости такого решения, всем продемонстрировал свое надорванное ухо.

Мерджан очень огорчилась, когда победу присудили противникам Леонтия. Она виновата. Хотя и не знала совсем, что существуют такие правила. Но Леонтий ее успокоил: каждый раз судьи решают по-своему и никаких особых правил вовсе не существует. Она немного постояла в сторонке, наблюдая, как муж с казаками делил «чашу круговую». А затем куда-то ушла...

Казаки гулеванили, пили столько, сколько каждый из них мог. Славно потешились, разукрасили друг друга до неузнаваемости, – ни один день придется вылеживаться на печи. Это пройдет, а дух боевой, смелость и навыки рукопашной – останутся!

Смерклось по-зимнему быстро. Стало студено. Леонтий, подумав, что жена уже дома, шел к своему куреню, обессиленный и захмелевший, улыбаясь и пытаясь петь, шлепая непослушными разбитыми губами...

В курене Мерджан не оказалось. Она вообще не приходила, хотя предупредила Леонтия, чтобы не задерживался. Он неспроста встревожился. Хмель как рукой сняло. Поднятые по тревоге казаки его сотни расторопно обошли курени, где у тумок¹ или чиберок могла загоститься ногайка. Но никто ее не видел и не знал, где она может быть. Не сразу понял

¹ Тумка (донск.) – женщина из татарского рода.



Леонтий, что жену могли подкараулить и увести ее сродники, не простившие того, что приняла крещение и наречена христианским именем Мария. Два конных отряда направились в разные стороны, надеясь настичь злоумышленников. Но, как назло, повалил снег. И за час так замело зимник, что он даже для коня стал непроезжим. Казаки разъезда, в котором был Леонтий, стали вразумлять его, что надо возвращаться. Он наотрез отказался и в одиночку погнал свою лошадь в морозную выюжную ночь. Односумы с трудом его догнали и, связав, привезли домой.

След Мерджан затерялся...

2

С того сентябрьского дня, когда узнала о поимке Пугачева, Екатерина не могла четко определить степень своего участия в решении судьбы злодея и его приспешников. Всякий раз, получая письма от Вольтера, Гримма или Дидро, она невольно настраивалась на их образ мышления. Сии мудрецы не были отъявленными богомолами, даже отличались атеистическими воззрениями. И все же удачу, сопутствующую ей в последний год, императрица восприняла, как промысел Божий. Война с Турцией опустошила государственную казну. Рекрутские наборы вымели крестьян из деревень и селений, приведя хлебопашество в упадок. И мор чумной, и голод, и безжалостное обращение помещиков с крепостными, – все это делало ее народ несчастным. Она с благими намерениями пыталась отменить рабство, принять закон, дающий крестьянам волю. Показывая пример решимости, Екатерина Алексеевна выкупала крепостной люд и переводила в мещанство. Но сановная знать и дворянство этим реформам рьяно воспротивились. Россия – не Европа, здесь, дескать, либеральничать

опасно... Вот и стал расплатой за всё зло, причиненное черни этими упрямыми, за варварское к ней отношение, бунт дикого казака Емельки Пугачева!

Целый год длилось это дьявольское, по своей необузданности и жестокости, испытание. Пик его точно совпал с приездом в Петербург Дидро. В первое время она беседовала с приятелем ежедневно, касаясь разнообразных тем, обсуждая международную обстановку, ситуацию в Польше и пути заключения мира с Портой. Дидро заводил речь о преобразованиях в России. Она внимала философу, а сама думала о том, где найти войсковой резерв для усиления отрядов, посланных на пресечение сполоха яицких казаков. Казалось невероятным, что они, многократно приезжавшие к ней с челобитными, поступили предательски, присягнув жестокому разбойнику и объявив, что он – истинный царь Петр III! Еще невероятней, что эта бесстыдная ложь эхом разлетелась по Яику, Волге и Уралу. В это же время в Европе – новая напасть! Вдруг объявилась лжедочь покойной государыни Елизаветы Петровны, также претендующая на царский трон! И эти две самозваные, точно из преисподней возникшие тени вызывали в стране, принадлежащей ей, вольнодумство и злоумышленное брожение умов. Как можно было в этих условиях проводить реформы?

Вот и сейчас, три месяца спустя после пленения вора Пугачева, когда преступления его расследованы, а сам он доставлен в Москву и допрошен статс-секретарем Тайной экспедиции Шешковским, Екатерина избегала поставить точку в приговоре злоумышленникам. В том, что зачинщик смуты должен быть казнен, ни у кого сомнений не было. Иное дело, что совершено должно быть не убийство, а на поучение народа казнь! Возмездие – торжество справедливости и веление Божие...



Этим утром императрица не могла унять меланхолию. За окнами пропархивали снежинки, места-ми они прилеплялись к стеклу, рисуя причудливые узорцы. А мысли настойчиво обращались к тому, что завершается год, и молодость ее отступает все дальше, а душа чувствует глубже, страсти обретают неведомый прежде накал, и хочется быть с «Гришулечкой», с «милюшей» бездумной и покорной, и бесконечно любимой. И всеми поступками, признаниями ее рыцарь это подтверждает. И как будто бы нет причин для сомнений, но она слишком искушена, чтобы не знать быстротечности всего: и любви, и славы, и жизни...

Обер-камердинер подал на серебряном подносе записку, и по ее форме, по лоску желтоватой бумаги Екатерина поняла, что она от «милюши». Потемкин захворал горячкой еще в начале декабря, полторы недели назад, и как ни старался придворный врач Иван Кельхен излечить Григория Александровича, тот по-прежнему оставался слаб и не покидал своих покоев. А с ним необходимо было посоветоваться, поскольку следственные действия по делу Пугачевского мятежа были окончены, и руководивший ими Павел Потемкин привез материалы. Необходимо было обнародовать ее Манифест о мятеже, определить состав суда и обоснование приговора. Недуг «тайного супруга» смешал планы Екатерины, которая собственной рукой набросала проект или, по ее определению, «мотивы» Манифеста. Дни ожидания, слава богу, завершились. «Сударка» написал, что чувствует себя сносно!

Екатерина быстро взяла ручку, макнула ее в чернильницу и стала строчить ответ: «Батинька, мой друг. Грустно до бесконечности, что ты недомогаешь. Чрез час или менее пришлю я мотивы к Манифесту и прошу тебя, буде нетрудно, оных прочесть. И буде

ими доволен, то вручи их Преосвященному, дабы сочинил Манифест». Екатерина остановилась, взвешивая, насколько правильно ее решение доверить окончательную редакцию документа архиепископу Гавриилу. Пастырь Санкт-Петербургский и Ревельский был в тесных отношениях с Потемкиным, отличался человеколюбием и благонаравием. Его слово будет иметь должный отклик и среди духовенства, и среди влиятельных людей...

Отослав весточку «Гришёнку», императрица еще раз принялась читать проект Манифеста. Началось было общепринятым для царских обращений:

«Объявляем во всенародное известие. Всеми свету ведомо есть и многими опытами дел наших повсюду доказано, что мы, приняв от промысла божия самодержавную власть Всероссийской империи, главнейшим правилом в царствование наше положили пещись о благосостоянии вверенных нам от всевышнего верноподданных, по намерениям и в угодность подателя всякого блага, творца, несмотря ни на какой род препятствия. Мы жизнь нашу посвятили тому, чтоб доставить в империи нашей живущим всякого состояния людям мирное и безмятежное житие. Для того мы непрерывный труд прилагаем к утверждению христианского благочестия, к поправлению законов гражданских, к воспитанию юношества, к пресечению несправедливости и пороков, к искоренению притеснений, лихоумия и взятков, к умалению праздности и нерадения к должностям».

Екатерина скользнула взглядом ниже, пропустив абзац о заключении мира с Портою, и вновь сосредоточилась:

«...Видя единственное стремление ума нашего довести империю делами подобными до высшей степени благосостояния, кто не будет иметь праведно-



го омерзения к тем внутренним врагам отечественного покоя, которые выступя из послушания всякого рода, дерзали, во-первых, поднять оружие против законной власти, пристали к известному бунтовщику и самозванцу донскому казаку Емельке Пугачеву, а потом обще с ним чрез целый год производили лютейшие варварства в губерниях Оренбургской, Казанской, Нижегородской и Астраханской, истребляя огнем церкви божии, грады и селения, грабя святых мест и всяческого рода имущества и поражая мечом разными ими вымышленными мучениями и убийством священнослужителей и состояния вышнего и нижнего обоего пола людей, даже и до невинных младенцев».

Далее шла речь о преступлениях пугачевской шайки. О том, что следствие завершено, и она направляет его выводы в Сенат, «повелевая купно с синодскими членами, в Москве находящимися, призвав первых трех классов персон с президентами всех коллегий, выслушать оное от помянутых присутствующих в Тайной экспедиции, яко производителей сего следствия, и учинить в силу государственных законов определение и решительную сентенцию по всем ими содеянным преступлениям против империи, к безопасности личныя человеческого рода и имущества».

Подкатившая тошнота заставила вспомнить её, что беременна. Это обстоятельство, открывшееся совсем недавно, ничуть не огорчило. Любовь к «Гришуличке» была, точно в юности, сильна и безоглядна. Будущее материнство, безусловно, затруднит проведение задуманного в середине лета праздника в Москве в годовщину мира с Турцией. Но это ее сейчас не занимало. Перст Божий видела она и в том, что после родов ребенка предстоит отъять и скрыть, и в том, что обязанности императрицы дик-

туют образ жизни. И лишь ей ведомо, как тяжело быть в двух лицах – женщиной и государыней, – как противоречивы бывают чувства и помыслы. Но покамест ей удастся покоряться рассудку, который всегда оказывался прочней любой страсти.

И, вернувшись к «Манифесту», окинув взглядом исписанный лист, Екатерина добавила:

«Касающиеся же до оскорблений нашего величества, мы, презирая, предаем оные вечному забвению: ибо сии вины суть единственно те, в коих при сем случае милосердие и человеколюбие наше обыкновенное место иметь может...»

И в течение всего дня, принимая доклады и подписывая подготовленные статс-секретарями документы, выслушивая обер-полицмейстера Чичерина о происшествиях за последние сутки, беседуя с президентом Коллегии экономии Хитрово и правителем дел Высочайшего Совета Стрекаловым, с президентом коммерц-коллегии Минихом, Екатерина не могла отрешиться от необоримого чувства одиночества. Идти в апартаменты Потемкина ей было непозволительно как царице. А знать, что «Милюша» рядом, но не видеть его, не видеть больше недели – мука мученическая!

Под вечер разыгралась вьюга. Вой ветра, снежные нахлесты наполнили дворец причудливым шумом и отголосками. Постный ужин Екатерина разделила только с Марией Саввишной. Верная и незаменимая ее заботница, камер-юнгфера, составила пару и при раскладке пасьянса. Императрица была рассеянна и, быстро заскучав, смешала карты.

– Уж не больны ли вы, матушка Екатерина Алексеевна? – участливо спросила Мария Саввишна, подшибаясь рукой и кладя на нее круглый подбородок. – Не приказать ли заварить чабрецу?



– Волнительно невесть почему. Покидают меня соратники, люди проверенные. В августе Захар Чернышев оставил Военную коллегия. Теперь – вице-канцлер Голицын подал в отставку. За ним – трое из братьев Орловых. Владимир отказался директорствовать в Академии наук. Григорий Григорьевич уезжает за границу. Федор тоже просится с государственной службы. Да и Алехан, как только вернется из Италии, поступит точно так же.

– Никуда, ваше величество, не денешься! Одни стареют, другие им на смену встают. Чай не бедна наша Россия достойными людьми.

– Человек может быть достойным, но в намерениях своих предрезок, злоумышлен. Делами ставит он себя! Я в эту сентенцию смолоду уверовала. И при Дворе тщусь отмечать тех, кто не ради выгоды собственной, а блага всеобщего радеет и служит... Я, пожалуй, снова разложу пасьянс, а ты, голубушка, сделай милость. Передай через адъютанта записочку Григорию Александровичу!

Перекусихина, дородная рязанская дворянка, расторопно поднялась и бабочкой порхнула к двери.

3

Кучук-Кайнаджирский трактат положил конец военному противостоянию Российской и Османской империи, обозначил границы и условия международных отношений, но отнюдь не гарантировал дальнейшего покоя. Более того, составленный на трех языках: русском, турецком и итальянском, он у каждой стороны вызывал свое собственное истолкование, что приводило к спорам и путанице. Австрийский посланник Тугут считал даже, что благодаря уловкам в тексте, русские одурачили Абдул-Гамида.

Надо полагать, австриец заблуждался. Турецкого султана совсем не интересовали стилистические

тонкости текста. Он всячески оттягивал государственное признание соглашения с русской царицей, обязывающего выплатить огромную контрибуцию. Он правил Портой всего полгода и то, что его приход к власти начался с поражения в войне, больно ранило самолюбие Абдул-Гамида. В минуты откровения он говорил единомышленникам, что с Россией заключен не мир, а всего лишь перемирие. И надо было всеми мерами готовиться к реваншу, к возврату черноморских крепостей и Крыма, к завоеванию Кубани и Кабарды. Для этого, прежде всего, требовался флот, восстановление которого займет несколько лет. Да и деморализованная его армия требовала обновления и перевооружения. Исход сражений решали пушки и огнестрельное оружие. В этом европейцы превосходили султана. А ближайшей целью Абдул-Гамид выбрал Кубань и Кабарду, чтобы военный пожар, зажженный горцами, не только ослабил Россию, но и перекинулся в Крым. Благо, русско-турецкая граница шла по реке Кубань, и на левобережной стороне могли скрываться племена и отряды, враждебно настроенные против Екатерины. Поднял дух султана и приезд в Константинополь татарской делегации, обратившейся к нему с нижайшей просьбой вновь взять покровительство над Крымским ханством, простирая на народ его не только власть халифа всех магометан, но и государственную. Русский представитель при Дворе султана, полковник Петерсон, требовал высылки мятежных татар, выполняя указания императрицы, но турецкие власти чего-то выжидали...

Евдоким Алексеевич Щербинин, получив обстоятельный ордер из Иностранной коллегии, отставил все дела своей Слободской губернии и выехал из Харькова в ногайские кочевья. Ранняя в этом году объявилась зимушка на юге! Высокие снега искри-



лись по всей приазовской равнине. И хотя путь пролегал по наезженному тракту, охранение губернатора было усилено полусотней казаков. Ехал он не с пустыми руками, с целым мешком денег. Рескрипт императрицы от 12-го ноября повелевал начать действия по отделению Кубани от Крыма. Предполагалось создать Татарскую область или Ногайское ханство. Это соединило бы все орды, переселившиеся из Бессарабии и отказавшиеся подчиниться хану крымскому. Но как их соединить, постоянно между собой враждующих, нарушающих договоры и присяги?

В Ейском укреплении Евдокима Алексеевича ждал подполковник, представитель России при ногайских ордах Стремоухов. Он уведомил майора о том, что Шагин-Гирей и Джан Мамбет-бей, как требовала депеша, предупреждены и явятся по первому требованию. Щербинину отвели натопленное помещение приставства, а свита его и конвой расположились в караулках и палатках вместе с солдатами гарнизона.

Утром на переговоры прибыли правитель едиганцев и буджаков Джан-Мамбет-бей и новый ногайский сераскир Шагин-Гирей. В комнату высокого русского посланника, им хорошо знакомого, они вошли порознь. И это не осталось незамеченным Евдокимом Алексеевичем. Он переглянулся со своим секретарем и переводчиком Андреем Дементьевым. По всему разговор предстоит непростой!

– Я рад приветствовать Ваше высокопревосходительство, – улыбаясь во все лицо, произнес Шагин-Гирей. – Вы многое сделали для моего народа, да и не оставит вас милость Аллаха!

Шагин-Гирей, сполна вкусивший и мед, и яд власти, в двадцать лет назначенный дядей Керим-Гиреем ногайским сераскиром, ныне вновь занимал эту высшую военную должность. Но, судя по его

усталому виду и холодному выражению глаз, проблем у ставленника русской императрицы снова было достаточно.

А Джан-Мамбет, заметно одряхлевший и морщинистый, напротив, был разговорчив и спокоен. Только больше прежнего щурился, – вероятно слабела глаза. На нем щетинилась, во весь рост, просторная волчья шуба, скрывающая ноги. И хотя в присутствии топили печь, ногаец не снял ни одежды, ни лисьего малахая.

– Я прибыл к вам, достопочтенные ногайские вожди, по поручению всемилостивейшей государыни Екатерины Алексеевны. Новые обстоятельства... – Щербинин умолк и проговорил внушительней. – Новые обстоятельства, открывшиеся нам в последнее время, связаны с будущностью дружественных нам орд и всей державы нашей. Мы знакомы давно, многожды встречались, и я надеюсь, снова найдем взаимопонимание.

Джан-Мамбет слушал, не шевелясь, как истукан. А сераскир перебирал в руках черные агатовые четки и время от времени поправлял воротник своего верблюжьего кафтана. Он, хотя и старался выглядеть приветливым, но внутренняя тревога не покидала его.

– Господа! Прежде всего, я хотел бы выслушать вас, – доверительно произнес Щербинин, поворачиваясь к правителю ногайцев и отдавая ему дань уважения как старшему по возрасту. Шагин возмущенно вскинул глаза, ухмыльнулся. Кровь бросилась ему в лицо. Наследственный хан посчитал себя уязвленным!

– Передай, Евдоким-эфенди, царице, что совсем плохо стало жить ногайцам, – выслушивая сбивчивую речь бея, подбирал слова переводчик. – Снега очень много, а корма для скота очень мало. Едисанцы и буджуки обеднели и испытывают голод. Нет



ни хлеба, ни проса. От хворей много помирает детей и стариков. Мы не можем находиться в степи. Мы хотим переселиться к горам, где для укрытия есть леса. Часть едисанцев ушла за Кубань. На той, турецкой стороне, зимуют и другие орды. Турки им дают деньги и привозят продукты. Этого и мы просим у царицы Екатерины. Многие мурзы ропщут и предлагают вернуться в Бессарабию или в Крым. Они считают себя поданными хана и отказываются подчиняться русским.

– В приграничные крепости, откуда ведется торговля с ордами, уже отправлено четыре тысячи четвертей хлеба и круп. Это не меньше, чем в тот год, когда я впервые приезжал сюда... Глубокоуважаемый бей! Нужды едисанцев и буджуков, степных кочевников, нам известны. Вы вольны расселяться по всей территории Правокубанья, от Азова до Еи и далее, на юг. Однако есть одно условие. Вдоль берега Кубани находятся наши пограничные посты и заставы, и скопление людей там недопустимо, – твердо заключил Щербинин, встречая колючий взгляд ногайца. – Новые селения необходимо обустроивать на наших землях. Хотя бы временные, на зимние месяцы. Не стану перечислять все выгоды для ваших людей. Мы не намерены диктовать им образ жизни, уважаем вашу волю и выбор. С этой целью и задумала императрица Екатерина Алексеевна создать Тартарскую область, населенную ногайцами и иными племенами. Возглавить ее должен выборный правитель, пользующийся уважением.

– Идея хороша, но препятствий чрезвычайно много, – рассудил Шагин-Гирей. – В прежние годы и ногайские орды, и татары мирно уживались в одном ханстве. Как сераскир должен признать, что в данный момент нет между ордами согласия.

Джан-Мамбет вспыхнул, поднял свой дребезжащий голосок:

– Достославный Шагин из рода Гиреев! Аллах свидетель, что ратовал я перед мурзами и царицей русской Екатериной, чтобы стал ты сераскиром... Ты говоришь пустые слова! Ногайцы должны образовывать свое ханство! Мы хотим навечно иметь землю, собственную страну, своего хана. Мы заслуживаем этого так же, как и вы, достославные татары.

– Мы кровью и мечом завоевали свою землю и по сей день отстаиваем ее! – с неожиданным гневом выкрикнул сераскир, бледнея, отчего его миндалевидные глаза кофейного оттенка стали еще крупней. – А у ногайских орд, вверенных мне, приверженность к интригам и распрям. Мне силой вооруженных отрядов приходится пресекать попытки иных лукавых мурз переметнуться к османам, чинить русским и своим же сородичам козни... Ваше высокопревосходительство, с помощью Аллаха мне удалось наладить отношения с правителями всех орд, кроме едичкульцев.

– Об этом мы поговорим отдельно, – остановил сераскира Щербинин, давая ему понять, что затребованные деньги для подкупа едичкульской орды привезены. – Важным вопросом, всемилостивые господа, остается подданство. По словам подполковника Стремоухова, большинство мурз готово стать под скипетр Ее Императорского Величества. Что же до границ будущего ханства, то они будут установлены в пределах нынешних ногайских кочевий и далее, до земель Войска Донского. Но сие станет возможным лишь после присягания орд на вхождение в состав Российской империи.

– Я подтверждаю все клятвенные обещания русской царице в дружественном отношении и почту за счастье стать ее подданным, – заговорил старый



бей, сдернув с головы малахай. – Но как убедить в этом мулл и владельцев, принадлежащих не мне, а Аллаху?

– Мы гарантируем свободу вероисповедания и поддержку магометанскому духовенству, – заверил русский генерал. – В империи живут тысячи приверженцев ислама. Я приехал со свежим известием из Моздока. Переговоры астраханского губернатора Кречетникова с осетинской депутацией завершились соглашением о принятии осетинцами российского подданства и добровольном переселении желающих на равнинные земли. Ранее такое же решение приняли карабулаки и ингуши, достойнейшие горские народы.

– Ногайцы привыкли к полной независимости, – возразил Шагин-Гирей, кладя четки на стол. – Россия и Порта дали Крыму самостоятельность. И если орды войдут в империю Екатерины, это будет нарушением прежних договоренностей.

– Ее Императорское Величество надеется, что ногайцы примут подданство без нашего участия, – откровенно сказал Щербинин, начиная раздражаться от излишней затянутости переговоров. Пора было метать козырь!

– Мы надеемся, что при вашей мудрой поддержке, Джан-Мамбет-бей, титул хана ногайского народа будет предложен единственно достойному, который пользуется среди орд признанием. И это – вы, досточтимый Шагин-Гирей!

Сераскир, внешне оставаясь невозмутимым, встал и поклонился русскому посланнику. А Щербинин не спускал глаз с предводителя едисанцев и буджаков.

– Да свершится так по воле Аллаха! – не сразу воскликнул призадумавшийся бей и провел ладонями по лицу, и следом за ним этот молитвенный жест повторил Шагин-Гирей.

– Ежель ногайцы станут детьми Ее Императорского Величества, мы значительно увеличим помощь. Прежде всего, провиантом и прочими товарами. Жизнь вашего народа изменится и станет надежней, – твердил Щербинин, точно на губернаторском совете. – Но и от вас, глубокоуважаемые господа, мы ожидаем верного служения Российской империи!

Переговоры затянулись. Затем Щербинин по просьбе ослабевшего и, вероятно, большого бея уделил ему еще час для личной аудиенции, во время которой предводитель и получил в подарок увесистый мешочек с золотом. А Шагин-Гирею посланник царский передал тридцать пять тысяч целковых для воинственных едичкульцев, запросивших именно такую сумму.

Наедине с хорошо знакомым русским сановником ханский дофин был сговорчивей. Он, не жалея слов, клеймил орды за невежество, алчность, готовность переметнуться к прежним врагам.. И несколько раз повторил, что только военная сила и золото способны удерживать кочевья мурз в покорности.

Евдоким Алексеевич, выслушав сераскира, убедился в его боевом настрое и непомерном самолюбии. Изо всех предводителей и государственных лиц, с кем ему приходилось встречаться в Крыму и в кочевьях, этот родовитый татарин, бесспорно, был наиболее образованным и трезвомыслящим. Как бы там ни было, но в дальнейших планах императрица склонна делать ставку именно на него...

Вояж Щербинина в ногайские кочевья был недолог. Бывший измайловец и боевой офицер, глава Слободской губернии, он привык действовать энергично и безотлагательно. Тройка лошадей мчала его на север, а курьеры с подробным отчетом о встречах с заинтересованными персонами еще шибче гнали подседланных скакунов в Санкт-Петербург. Там с не-



терпением ждал вестей Панин, сторонник создания Ногайского ханства. Отделение Кубани, как полагал он, ослабит крымского хана и усилит позиции империи в Кабарде. Впрочем, эта многообещающая и заманчивая идея объединения ногайских орд и создания их области, не предусматривала строгих сроков реализации. Сие не зависело ни от него самого, ни от императрицы. Международная обстановка осложнялась. Франция, Швеция и Австро-Венгрия мирный трактат с османами восприняли, как сигнал к общим решительным действиям против Российской империи. В их сторону поглядывала и Пруссия...

Никита Иванович Панин любил сравнивать европейский миропорядок с аптекарскими весами. Равный груз на обеих чашах, кажется, неизбежно удерживает их в статическом положении. Но достаточно мизерной гирьки, чтоб это равновесие нарушить...

4

Истари велся на Дону казаками промысел, который был не только забавой, но поучительным испытанием и проверкой готовности к службе. В зимние месяцы сбивались станичники в гурты по несколько десятков человек и отправлялись в дальние урочища, на Терек и Медведицу, а то на Кумуречку полевать зверя, на гульбу, как по-донскому называли охоту. Брали с собой ружья и пистолеты, запас пороха и свинца, чеканы, ладные топорики на длинных ручках, нагайки-волкобойки и легкие укороченные пики, именуемые дротиками. Охотники, или гулебщики, добывали зверье с коней, арканили тарпанов, сайгаков и косуль. Если пойманного дикого коника удавалось объездить, то желанней боевого гривастого «дружка» для казака и быть не могло! Приземистая, выносливая, буйнонравная, эта лошадка смело бросалась вдогонку за волком,

встречь вепрю, а ударами задних ног, случилось, валила наземь медведицу.

Но с петровской поры, когда государство взяло донцов в узду, казачьи коши уже гораздо реже отправлялись на вольную потеху. Теперь охоту затевали они неподалеку от куреней и войскового начальства. Сверх того, сами атаманы, приурочив ее к одному из праздников, скликали казаков на Большую охоту. Намечал было войсковой атаман Сулин устроить всеобщую облаву накануне Николы зимнего, но стужа и метели порушили планы. Зато после праздничка погода держалась маломорозная, солнечная, безветренная.

Леонтий, встав затемна, протопил в курене печь, порубил тушку дрофы, подстреленной на прошлой охоте с Касьяном, и поставил варить. Поднявшейся вместе с ним матери напомнил, что на весь день уезжает на атаманскую охоту и попросил положить в суму кругликов и вяленую сулу¹. Затем вышел на баз, напоил своего Айдана и насыпал в ясли овса. Сарайденник, крытый камышовой двускатной крышей, был припорошен ночным снегом. Свежая пелена его похрустывала под валеными сапогами. Это был добрый знак. Верней охотиться по свежему следу!

С зарей к курганам Двух братьев, что в видимости с крайней улицы, съехалось не менее трех сотен казаков. Примерно столько же подтянулось пеших. Оживленные разговоры, гвалт, хохот будоражили рассветную степь. Однополчане радовались друг другу, перебрасывались шутками да прибаутками. Леонтий разговаривал то с Мишкой Шелеховым, то с Акимовым, то с богатырем Белощекиным. Они не виделись, почитай, с того дня, когда полк прибыл на родину. Но вскоре беседа пресеклась. Распорядитель

¹ Сула (донск.) – судак.



дал пешим команду выдвинуться на высоты займища, а доброконным рассредоточиться вдоль Дона, чтобы отрезать отход зверья в камыши и заросли тальника. Ружейники же и нагаечники должны были дать по балкам кругалая и замкнуть сторону степи.

Ремезов с Белощекиным и Касьяном Нартовым пустили лошадей к донскому берегу. К ним присоединилось еще человек тридцать полевщиков, с заткнутыми за пояс, скрученными до времен волкособойками. Сполох копыт гулко отдался в неподвижном морозном воздухе.

Многолюдство, запахи лошадиного пота и навоза, отрывистые голоса казаков, бряцание оружия – все это живо напомнило Леонтию полк, недавние походы и сражения, погибших односумов. И щемяще дрогнула душа от присутствия скачущих рядом казаков, от возрастающего азарта и предвкушения охоты! Эти ощущения напоминали те, которые испытывал на службе. Главное отличие состояло в том, что сейчас не давил страх опасности, неизбежного риска. Хотя схватка с хищником непроста и непримирима. Зверь не способен на подлость, он обладает наитием, силен отвагой и хитростью. И это звериное рыцарство казаками даже почиталось.

Кош гулебщиков, в котором был и Леонтий, растянулся в горловине займища. Атаман Сулин и полковники наблюдали за перемещением сил с кургана. Когда займище было окружено, трехкратный ружейный залп возвестил о начале гона!

Первой двинулась цепь верхоконных со стороны степи. Снег доставал лошадям до колен, не давая разогнаться. Одновременно пешехожие, сужая пространство, спустились с холмов. По низкому небу кочевали гривастые тучи, подстегиваемые ветром. Тень и пятна света бежали по снежному морю. Временами яркие звездочки вспыхивали на



серебряных кольцах сбруи. Стоголосьй рев охотников возрастал по мере приближения к займищу.

Леонтий с трудом удерживал Айдана, возбужденного шумом и близостью кобыл, На пару с Пантелеем Белощекиным они таились в засаде, на пологом склоне, скрытом кустами шиповника. Поверх колючих лоз открывалась вся ширь займища.

Великая казацкая потеха была в разгаре! Стадо зайцев металось между всадниками, которые нещадно засекали их нагайками. Вдоль низины, где желтели кулижки камыша и топорщились пониклые вербушки, конники гаяли лисиц и кабанов, петляющих туда-сюда, обходящих или тараном пробивающих препятствия. При виде этого у Леонтия неужеримо захватило дух!

– Изготовься! Зараз и нам будет развесело! – пробасил Белощекин, поигрывая своим мощным ремненным волкобоем, увенчанным тяжелым шаром. Нагайка эта была недлинна, но в ручище Пантелея обретала сокрушительную силу. По всему Черкаску ведали, что лучше его никто не валит волков. С одного-двух ударов ломал он серому лопатки. И теперь, цепко вглядываясь в пространство между скатами, в расписанную следами зверей снежную гладь, богатырь ожидал появления стаи. Волков здесь видели дрововозы и осенью, и по первоснежью. Однако, опережая их, из-за крайних деревьев высокими прыжками вылетели косули, – и попали под дротики и нагайки охотников.

Всего минутой, охваченный азартом, наблюдал Леонтий и его напарник за действиями охотников. И этого оказалось вожаку достаточно, точно бы почуявшему, что внимание людей отвлечено. Машистым бегом, проломив тальники, он провел стаю мимо казаков. На треск сохлой полыни Пантелей обернулся и выдохнул:



– Эх, проворонили!

Но тотчас полохнул ружейный залп из кустарников, с наветренной стороны, где был следующий казачий секрет. Сизое облачко пороха повисло на ветках терновника. Запах дыма волнуяще ощутили казаки. Похоже, волки дальше не ушли...

Между тем гайщики, сомкнув строй, завершали гон.

Леонтий, не выдержав, тронул коня, который почему-то стал непослушно и пугливо пятиться. Какой-то странный желтоватый узор мелькнул сквозь красноватые ветки молодого боярышника. «Никак, рысь?» – ожгла Леонтия догадка, и он, перехватив по-боевому дротик, выкрикнул:

– Рысь! Отбивай от леса!

Белощекин, оказавшись впереди, смахнул со склона. А Леонтий направил араба к распадку камней. Сажений двадцать оставалось до места, где мог быть зверь. И, храня молчание, они, опытные охотники, поняли друг друга, решили атаковать с ходу, чтобы зверина не ушла за деревья.

Заскочивший наперёд Белощекин от изумления ахнул, когда его дончак осадисто замедлил бег, остановился и с громким ржанием взвился на дыбки. Непривычная растерянность омрачила лицо бородача. Он заткнул ручку нагайки за пояс, катнув свинцовый шар по земле, и выдернул из переметной сумы чекан. Леонтий, поравнявшись с ним, увидел между колючими зарослями терновника, огромную пятнистую кошку. Размером она была с полугодовалого телка. По серебристой лоснящейся шерсти, точно медяки, были рассыпаны охристо-красноватые пятнышки. Бросилась в глаза большая головень этого невиданного прежде зверя, коричневые прижатые уши, широкий, такого же цвета, нос и светлая шея, по которой тянулись тонкие полоски.



– Барс, – только и выдохнул Пантелей и, судорожно глотая слюну, посмотрел на своего напарника. Отчаянный блеск в глазах богатыря ободрил Леонтия.

Могучий зверь, скалясь, присел на задние лапы. Позади него все ближе слышался шум гона, помладенчески рыдающие голоса раненных зайцев. Барс вздрогнул всем телом, на миг скосил голову на густолесье. Отступить было некуда. Путь остался только вперед!

Леонтий обостренным зрением уловил вымах передних лап барса, его ощеренную клыкастую пасть, и взметнувшийся длинный хвост с черными кольцами на кончике. Вероятно, хищник был молод, безогляден, и бросился напролом, чтобы отогнать коня или ранить. В тот же миг казаки рванули лошадей навстречу! Пантелей занес чекан, правя наперерез зверю. А Леонтий, подстегнутый тем бесстрашием, которое овладевает человеком в минуту крайней опасности, понял с ужасающей ясностью, что Белощекин не успевает ему помочь, если этот могучий кот сделает прыжок или ударит лапой. Окаменевшая рука срослась с дротиком, и лишь вскользь выхватывал взгляд, сосредоточенный на звере, острие его старинного оружия...

Перед атакой барс, пригнувшись к земле, метнулся влево, заставив Айдана шарахнуться и стать боком. Следующим движением он был готов сомкнуть зубы на шее лошади, если бы не разящий, как удар молнии, удар казачьего дротика. Он вошел зверю под грудину наискось, и на мгновение заставил отпрянуть. Белощекин в тот же миг изо всей силы опустил чекан на шею барса и вторым ударом заставил его издать рык и замереть. Леонтий выхватил из ножен шашку. Но она уже не понадобилась. Темная кровь ключом била из зияющей на шее раны. И этот царственный обитатель Кавказа,



жалобно, точно прощаясь, простонав, лег наземь. Жажда жизни заставила его снова встать на лапы. Но тут же, содрогнувшись, он рухнул, с торчащим в груди дротиком, и остался неподвижным...

На всеобщем пиру в атаманском правлении, куда прикатили бочку водки и снесли жареную дичину, войсковой атаман Сулин предложил выпить за лучшего гулебщика, сотника Ремезова. А Леонтий не мог отрешиться от неприятного холодка, сковавшего грудь. И только после третьей чарки, захмелев, обрел он привычное состояние. Но тоска по Мерджан, непреходящая боль утраты, отвлекали его, безразличными делали похвальные слова односумов. Закружило застолье, но не согрелась душа байками да водкой. Мир стал горестным и пустым без любимой.

Слава охотника-смельчака обернулась для Леонтия новым испытанием. В те дни, когда полк Матвея Платова готовился к походу в Пошехонский край, в Поволжье и на Вологодчину, где разбойничали шайки бунтовщика Васильчихина и недобитых пугачевцев, сотник Ремезов был срочно вызван в войсковое правление с полусотней казаков, отобранных из разных частей.

Семен Никитич Сулин, разгладив окладистую бороду и приняв строгий вид, приказал писарю зачитать ордер, поступивший от главнокомандующего всеми иррегулярными войсками империи графа Потемкина. В нем повелевалось: «По получении сего имеет Войсковая канцелярия, набрав из самых лучших и способнейших в оборотах казацкой службы 65 человек, на легких, прочных лошадях, отправить в Москву, приказав явиться у меня, стараясь при том, чтобы оные к январю месяцу наступающего года прибыть туда могли. А как оные имеют быть употреблены, в знак ревности и усердия всего войска – при Высочайшем Ея Императорского Ве-

личестве Дворе, то и не сомневаюсь я, что войско Донское избранием к тому из имянитых и лучших людей, соответствующих как знанием службы, так и поведением своим, оправдает то непрестанное мое у престола Ея ходатайство, которое я к благополучию его употребляю, а о доставлении им в пути продовольствия предложено от меня господину генерал-майору Потапову».

Собравшиеся слушали писаря, стоя навтыжку, постепенно понимая, что именно на них пал атаманский выбор. Подняв голову, войсковой атаман безо всяких обвиняков объявил:

– По решению войскового Совета и моей волей, братцы-казаки, надлежит примерным поведением и рачительной службою прославить вольный Дон при Дворе Ея Императорского Величества. Казна каждому из вас выделит для покупки запасной лошади столько монет, сколько потребно. На сборы отвожу в аккурат три дня. Командиром сего почетного сикурса, а лучше сказать эскадрона, я назначаю всем известного полковника Орлова. От оберкоменданта крепости Святого Димитрия Потапова намедни я получил циркуляр о выделении провианта, фуража и прочего довольствия. Распоряжаться этим будет вверенный ему поручик Матзянин. Одним словом, братцы-донцы, с Богом!

Атаман повернулся к своему канцеляристу, сутулому парню из иногородних, и приказал огласить список, включающий офицеров, казаков и денщиков. Он составлен был, согласно чинам, и среди офицеров – пятой оказалась фамилия сотника Ремезова. Леонтий, намеривавшийся с теплом отправиться на поиски Мерджан в предкавказский край, с горечью понял, что план его рушился. Неведомо насколько отправляли донскую команду в Москву, неизвестно в чем состояла там казачья служба...



Великий переезд царского Двора из Петербурга в Первопрестольную начался сразу же после Рождества.

Первыми тронулись обозы с имуществом и провиантом, различные дворцовые службы, придворная челядь и конюшенные. За ними последовали чиновники среднего уровня, канцеляристы и секретари. Наконец, отправились особы приближенные к императрице: статс-дамы, камергеры, адъютанты и церемониальный гусарский взвод. Сама императрица, встретив новый 1775 год и получив подробную реляцию о казни Пугачева и его сообщников, выехала со своей свитой только 16-го января. Сопровождали ее вице-канцлер Голицын, генерал-аншеф князь Репнин, граф Салтыков и два генерал-адъютанта: граф Брюс и Григорий Александрович Потемкин. Курьеры преодолевали расстояние между столицами за три дня, а карета самодержицы катила почти неделю, добравшись до предместья Москвы, села Всесвятского 22-го числа. В тот же день она с Потемкиным осмотрела сооруженный для нее дворец у Пречистенских ворот взамен сгоревшего четыре года назад, во время «чумного бунта», в Лефортово. Меблировка комнат и прочие недоделки заняли еще два дня. За это время государыня в своих сельских скромных покоях успела принять офицеров, разгромивших самозванца, и пожаловала из собственных рук полковнику Михельсону шпагу, украшенную бриллиантами. Удостоила она своим вниманием и московских купцов. А 25-го января, после воскресной литургии в сельском храме, Екатерина въехала в древнюю столицу.

То, чего так ждала она, – уединения с любимым Гришенькой, бегства от столичного «света», который включал сотни человек, причастных на протяжении

десятилетий Двору, наконец, целительной красоты подмосковной природы, – перемены жизненные благотворно сказались на здоровье и настроении императрицы. С приходом весны она чаще выезжала в Коломенское, живя там в чудесном дворце, сохранившемся еще со времен царя Алексея Михайловича. В окружении свиты прогуливалась вдоль берега Москвы-реки, переправлялась на лодке в заречье. Там, в имении князя Кантемира, и приглядела она себе усадьбу для будущего дворца и парка. Князь, будучи всецело ей преданным, без уговоров уступил ей участок холмистого леса под названием Черная грязь. Небольшое болотце близ речного рукава там, действительно, имелось. Но все, что охватывало его окрест, было восхитительно! Дивное урочище с растущими по склонам соснами, елями и березками, широкие поляны, водная просторная гладь, тихая даже в непогоду, и – изумительный, чистейший, с бальзамическим запахом воздух!

Зачастую Екатерина уединялась в маленьком доме, а «милая милюша» навещал ее, проживал на правах фаворита по нескольку дней. Он и предложил переименовать усадьбу в Царицыно. А затем привез Баженова и вместе с Екатериной давал представления архитектору по составлению генерального плана строительства будущего дворца.

Пятая беременность давалась Екатерине относительно легко. Мария Саввишна неусыпно следила за тем, чтобы наряды для матушки-государыни, пошитые на запас, доставлялись своевременно из столицы да были они попышней и побогаче.

Но за увеселениями и маскарадами, на которые собиралось многочисленное московское общество родовитой знати, ни на день не забывала она о нуждах государственных и постоянно присутствовала на заседаниях Совета. За год пребывания с ней



рядом Потемкина преобразовался Двор настолько, что для видных сановников старшего поколения не нашлось должности, а иные сами добровольно покидали их. И при этом императрица не забывала осыпать их милостями и отпускала с Богом.

Между тем тайная борьба вокруг престола становилась тоньше и ожесточенней. Екатерина во всем советовалась с «Гришулечкой», цenia его взвешенное мнение и незамутненный взгляд человека, пришедшего из гущи внедворцовой жизни.

Помимо всего, в Польше, благодаря усилиям энергичного и дальновидного посланника Штакельберга, удалось обуздать враждующие стороны, укрепить власть короля и направить жизнь в мирное русло. Лавируя между магнатами и королем, Штакельберг утверждал политику, выгодную для России. Она состояла в одном: Польша не должна стать плацдармом для враждебных действий стран Европы, которые отнюдь не радовались мирному трактату соседней державы с Портой. Габсбурги не оставляли планов захватить, кроме полученной при разделе Речи Посполитой Галиции, Буковину, часть Валахии вдоль нижнего Дуная. Франция, пикируясь со своей вечной соперницей Англией, старалась ослабить империю Екатерины, подстрекая северные страны, Швецию и Данию. За всем этим взирал зорким оком прагматичный прусский король, готовый на любой шаг, даже на военный удар, если этого потребуют интересы его страны.

В беспрестанных заботах, в подготовке манифеста о забвении всех дел, связанных с бунтом Пугачева, который был зачитан в Сенате, в приятных хлопотах, – ее упростили быть крестной матерью своих детей графы Яков Брюс и Петр Панин, – в скандальчиках и нежных свиданиях с «сударушкой Гришенькой» март незаметно приблизился к кон-

цу. Дни распахивались все шире, весна манила обновлением и прозрачным счастьем...

Спор с сыном Павлом, Великим князем, который упрекнул ее за слишком милостивый Манифест, как бы умаляющий масштабы пугачевских злодейств, заставил ее ускорить решение вопроса по усмирению или даже ликвидации Запорожской Сечи. Несмотря на размолвку с «милюшей», Екатерина пригласила его к себе, чтобы посоветоваться.

Потемкин вошел в ее кабинет, с распахнутым окном, за которым слышалась заливиная трель скворца. Как всегда, одет он был точно с иголки: в удлиненный камзол, украшенный красными обшлагами, с вышивкой золоченой нитью, в белые кюлоты и высокие сапоги, начищенные до блеска. Снова дивясь его могущественной стати, Екатерина не сдержала улыбку:

– Вы, однако, в хорошем настроении, граф Потемкин. И то, что чувствует сердце, вас любящее, замечать не намерены.

– Я повсечасно принадлежу только вам, моя всемилостивейшая государыня! И ежесть есть в чем-то моя вина, так только в одном: я люблю вас свыше разума и душевного предела, отпущенного мне Богом, и потому в иные разы не владею собой...

– Я весьма скучала, сударушка, не видевши тебя два дня с лишком. Благополучно ли прошли именины у матушки? Довольна ли моим гостинцем Дарья Васильевна?

– Премного тронуты, и велели кланяться до земли за оказанную Вашим Императорским Величеством милость! Вы знаете, что для меня мать. И я готов за это... – Потемкин вдруг опустил на колени и преклонил голову, – и Екатерина любовно отметила его красивые, кольцеватые темно-русые волосы.



– Встань, батинька. Я и так знаю, что ты – мой. А ты ведаешь, что другого мне дружка и мужа не надобно... Садись к столу, давай дела вершить. Артикул Указа о сбавке с продажи соли, который я поручила составить вам, Григорий Александрович, состряпан прескверно. Прошу его переделать и написать порядочно.

– Незамедлительно приложу все усилия!

– Мы уже обсуждали в Совете и с вами вели речь о судьбе Сечи. И коль назначены вы генерал-губернатором Новороссии, то и должны по сему вопросу надлежащее мнение составить и вывод принять.

Потемкин сосредоточенно помолчал. И, поймав взгляд императрицы, заговорил неторопливо и таким уверенным тоном, что можно было догадаться, что он немало размышлял над этой чрезвычайно непростой проблемой, и у него готово свое обоснованное решение.

– Границы нашей империи на юге, Ваше Величество, придвинулись к Черному морю, благодаря победе над Портой. Запорожцы, прежде охранявшие их и непрестанно воевавшие с недругами нашими, сие назначение утратили. Мне пришлось командовать их полками, и могу засвидетельствовать их отвагу и боевое умение. Они даже приняли меня в Сечь, в запорожские козаки, дав прозвище Грицка Нечесы.

– Верно дали. Кудри твои не расчешешь гребнем, – добродушно заметила Екатерина. – Жалобы на притеснения запорожцев, как ведомо мне, в избии поступают от новороссийских поселян. Иначе, как разбойниками, запорожцев и назвать нельзя. Что скажешь, батинька, на сей счет?

– Совершенно так! По сведениям самым недавним, в Новороссии проживает около полуторасотен тысяч жителей. Освободившись от ратных забот,

запорожцы принялись чинить бесчинства супротив поселян, не гнушаясь ни добром их, ни землями, ни людьми. Почитай, на каждого запорожца приходится один пленный поселянин!

– Слугами, стало быть, доблестные «лыцари» обеспечились? – полувопросительно, с затаенным недовольством проговорила Екатерина Алексеевна и заключила: – Положить конец бесчисленным разбоям! Мне не надобно этого осинового гнезда, способного одурманить людей и зажечь на всю Россию новый бунт. Они стали дерзкими и недопустимо алчными, а посему следует действовать властно!

– Как главнокомандующий казачьими войсками полагаю, что такое решение весьма своевременное и полезно. Запорожский кош подлежит полному устранению.

– Тебе известно, друг мой, как я не понарошку пекусь о народе. Однако терпеть большую шайку нечестивцев, кои никому не подчиняются, а живут по своему уставу, более не стану. Зело вредно сие для всей нашей политики. Сегодня же отправлю я личную депешу малороссийскому губернатору Румянцеву. Пусть войска, возвращающиеся с Дуная, повернет на Сечь. Благо, находятся они в походном порядке и со всем оружием. А поелику запорожцы обижают донских казаков, захватывая их земли, пусть не преминет взять в дело и донцов. У меня на них особая надежда!

– Осмелюсь доложить, команда с Дона для праздничного конвоя уже прибыла.

– Вот и славно. Хороши ли собою конвойцы?

– Я сделал выборку. Иных заменил.

– Ты вот что, Григорий Александрович, приходи нонче пораньше. Соскучилась несказанно...

– Я бы не покидал Вас... – с замершим сердцем начал говорить «милюша».



– Румянцеву напишу, а также дам знать Секретной комиссии, – перебила его возлюбленная. – Пусть узнают агенты о настроениях верхушки Сечи. И верны ли сообщения, что принимают они посланников султана, – совершенно холодным, повелительным голосом вдруг произнесла императрица, и Потемкин с досадой подумал, что только женщинам свойственна эта мимолетная перемена в чувствах, способность столь прагматично мыслить и быстро меняться.

В тот же день Екатерина составила фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву, наместнику Малороссии, личное послание, где не утаивала наболевшего: «Запорожцы столько причинили обид и разорения жителям Новороссийской губернии, что превосходят всякое терпение. Предпишите секретно генерал-поручику князю Прозоровскому, чтобы он весьма внимал их поступкам и смотрел бы, нету ли у них каких сношений с татарами. Смирить их, конечно, должно, и я непременно то делать намерена. Для того и открываю вам мое желание, чтобы вы по возвращению полков в Россию назначили чрез их жилища марш по тому числу полков, чтоб было довольно ради обуздания сих беспутников. Имейте сие в тайне, никому не проницаемой...»

6

Только в начале марта добралась Донская конвойная команда до Москвы, отмахав по зимним путям-перепутьям тысячу верст. Вел ее боевой полковник Василий Петрович Орлов. Под началом его было пять офицеров, в их числе Леонтий Ремезов, шестьдесят пять казаков и несколько денщиков. На каждого будущего конвойца приходилось по две лошади, итого набралось их полторы сотни. Благодаря расторопности, а зачастую и самоуправству поручика Матзянина, отвечавшего за продоволь-

ственное и кормовое обеспечение, придворная команда останавливалась вблизи придорожных трактиров, в деревнях, в помещичьих усадьбах. Казенного овса и сена, выделяемого по нормам кавалерийских полков, почти на всем пути следования не хватало. Измученные долгим переходом по глубокому снегу лошади исхудали донельзя и приняли такой жалкий вид, что Орлов неподалеку от Тулы решил на длительный постой в имении помещика Сиволапова. На счастье, высокомерный хозяин разрешил разместить лошадей в старом огромном овине, а казаков расселил по избам. Для офицеров отведен был отдельный, отапливаемый флигелек.

В первый же вечер, как только донцы расквартировались, Сиволапов пригласил офицеров к себе на ужин. К столу были поданы жареные утки в особом соусе, зайчатина, осетринка, а к сему выставлена и бутылочная батарея. Наголодавшиеся гости о соблюдении приличия особо не заботились и принялись за трапезу с превеликим рвением. Сам хозяин, породистый усатый великан, с тяжелым и дерзким взглядом, взявший манеру держаться с соседями и с заезжими людьми запанибрата, наблюдал за донцами с усмешкой и движением головы давал знак лакеям расторопно наполнять чарки крепким мадьярским хересом. А гостечки, по всему, этому были весьма рады и не чинились, пили с нескрываемым удовольствием. Между тем с каждым тостом языки у пирующих развязывались все заметней. И Константин Игнатьевич Сиволапов, предпочитавший поить других, а сам отхлебывающий из бокала вишневый компот, стал допускать в разговоре вольности, желая слегка подурочить постояльцев и вызвать этих неотесанных вояк на откровенность.

– Почто же вы, донские казаки, не поддержали своего земляка, Емельку Пугача? – вдруг спросил по-



веселевший помещик. – Он, подлец, намеревался всех нас, и дворян, и военных, и прочие сословия перекрестить в казаки. То-то бы для вас волюшка была! – глядя на Орлова, вел крамольную речь бывший капитан-артиллерист. – Я с вашим братом, донцом, многожды в баталиях участвовал. В Семилетнюю войну вместе Берлин брали! И повсюду ухарству вашему дивился, а пуще того – буйству! А вы не токмо бунтаря не поддержали, но сами же его и сцапали!

– Ты, барин хороший, непонятное гутаришь, – с недоумением отвечивал есаул Баранов, первый помощник командира отряда. – Мы матушке царице присягали и свои душеньки за дела ее кладем. А Емельку я на войне с пруссаками встречал было, вор он и шельма ишо та! Ничтожная шкура! Как же с ним в кумпании состоять? Нет уж, разлюбезный наш хозяин, с клятвоотступником нам водиться не пристало. Воля волей, а ум не теряй!

– Самозванец, как в Манифесте государыни сказано, безвинных людей казнил, имения жег да грабил. Аль мы похожи на таких? – с укоризной продолжил Орлов, статный красавец, с проседью в бороде и волнистых волосах. – Знать, и вызвали нас в Москву из-за особого Ея Императорского Величества к донцам уважения.

Сиволапов хитровато улыбнулся, возразил:

– Вашего брата в один артикул не уложишь! Одним словом, – вольные люди, казаки. А у казака в чистом поле – три воли... Ну, да бес с ним. Есть у меня в припасе хохлячья горилка, полтавский купчишка на днях заезжал, целую бутылку оставил. Есть желание отведать?

Казачьи офицеры одобрительно закивали.

Леонтий в застолье отмалчивался, внимательно прислушивался к другим и никак не мог отрешиться от своих грустных думок. По дороге дважды намери-

вался он сбежать из конвойной команды, чтобы отправиться в кавказскую сторону на поиски Мерджан. Поделился он в простоте душевной как-то с урядником Бубенцовым своей бедой, а тот только ухмыльнулся: дескать, ты с ней не венчан, пред богом она тебе не жена, а девок заглядистых на Дону ясно, как звезд в морозную ночь. Эка потеря! Найдешь кралю еще лучше... Леонтий оборвал его и затаился. Самовольство и шалости конвойцев Орлов строго пресекал. А у Ремезова и так грехов за год набралось немало, тут и заступничество Платова уж точно бы не помогло...

Горилка разогрела и одурманила донцов. И Сиволапов, охотник поглумиться, убедившись, что гости размякли и одолеваемы сладостной дремой, вдруг громко произнес:

– Я, господа донцы, почему поминул в начале нашего разговора Емельку Пугача... Имел удовольствие лицезреть казнь одного злодея, находился от эшафота так близко, что слышал даже его шепот. Зрелище, милостивые государи, презабавное и незабываемое!

Лица казачьих офицеров тронула тень, все повернулись к хозяину.

– Я представлял его добрым молодцем, вроде вас, полковник Орлов. А оказался он низкорослым замухрышкой, с рожей полового из трактира. И как стали читать Манифест государыни, пал на колени и от ужаса челюстью затряс... Герой пред беззащитными помещиками и бабами, а пред палачом рассопливился, стал у всех прощения просить...

Гости насторожили и нахмурились.

– И как только изволили Манифест дочитать, кто-то из толпы крикнул: «А ну, поглядим, какая у него кровь, алая иль голубая, дворянская! Руби его скорей!» В ответ – смех толпы и гам-тарарам. Палач подождал, пока с вора зипун сдернули и голову ко плахе пригнули, размахнулся и – хрясь по шее! Так



башка Емельки и отлетела! И кровища фонтаном... А это, господа хорошие, нарушение государственного закона. Пугача должны были четвертовать, а не так легко умертвить. Палач, подлец, вместо того, чтобы руки и ноги рубить, пожалел сего душегубца...

– Замолчь, ирод! Замолчь! – вскочил, с остекленевшими от пьяного гнева глазами, сотник Алабин. – Не измывайся над сродником нашим! Нехай он и душегубец, а раскаялся и христианином помер...

– Эт-то что за выходки?! – взорвался хозяин, давно уже готовый к такому повороту застолья. – Хам! Вон из моего дома! И вы, господа, не злоупотребляйте гостеприимством... Завтра же покинуть мою усадьбу!

– Господа офицеры, свяжите этого осквернителя Указа императрицы, – жестко приказал Орлов.

Сиволапов грозно встал, но поручик Матзянин и Баранов, сидевшие к нему ближе других, схватившись с бывшим артиллеристом, заломили ему руки назад. Со связанными руками барина-дуролома отвели и заперли в чулане, к ужасу камердинера и лакеев. Тут же двое казаков взяли арестанта под караул. Узнав о произошедшем, жена Константина Игнатьевича, тихая, забитая женщина, упала в обморок. Впрочем, скоро она пришла в себя и, приняв лаврово-вишневых капель, в сопровождении прислуги явилась ко двери, за которой был заточен супруг. Узник дал распоряжение немедленно отправить управляющего в волость, сообщить о казачьем разбое и потребовать для усмирения донцов стражей порядка и войска. Он громоподобно метал угрозы и донцам, и лакеям, не вступившимся за него, ссылаясь на дружбу с опальным генералом и графом Петром Паниным, предрекал своим насильникам пожизненную ссылку в Сибирь.

А казачьи офицеры, заставив лакеев обновить в канделябрах оплывшие свечи, продолжали тра-



пезничать, позабыв о хозяине. Лишь под утро, отведя души песнями, они подустали и разбрелись по отведенным во флигельке комнатам. Утро вечера мудренее...

Леонтий, слыша могучий храп есаула Баранова, долго ворочался. Он всегда относился к людям ученым и бывалым с почтением, стараясь набраться от них знаний. Вот и Сиволапов сперва показался ему особой серьезной, а вышло наоборот, и открылся отставной капитан с самой неблагоприятной стороны. Богат, сыт, волен в своих поступках, к чему бы бузить и самодурничать? То упрекал донцов, что не якшались с Пугачом и не выступили супротив царицы, то стал с издевкой рассказывать, как казнили самозванца. Почто ему это? Беса потешить решил?

Запах дыма поднял Леонтия с кровати. Сквозь щель в разошедшейся двери ветер доносил отчетливый гаревой душок, знакомый с детства. Где-то неподалеку жгли камыш. Но почему ночью? Заливистое ржание лошадей вмиг осенило догадкой! Он затряс есаула за плечо, крикнул, что горит овин. Баранов вскочил, сонно хлопая глазами, и вслед за Леонтием бросился на двор. И только на крыльце, ощутив босыми ногами лед, вспомнил, что сапоги остались у камина.

Подворье озарялось высоким пламенем, пляшущим с задней стороны риги. Караульный казак, с окровавленной головой, лежал у ворот. Широкий вход сарая был наглухо загражден бревнами. Лошади, сбившиеся здесь, в страхе ломились наружу.

– Давай раскидывать завал! – приказал есаул, хватаясь за бревно. – Да живей!

Оно оказалось дубовым, очевидно, предназначенным для изготовления паркета. И, судя по тому, что сооружена была целая баррикада, учинила это злодейство немалая артель мужичков. Надрываясь, они поднимали длинные ошкуренные заготовки, ко-



торые и для четверых были бы тяжеловаты, и вкат бросали под стену флигеля. Ни холода, ни окоченевших ног Леонтий не замечал, слышал только, как у самого горла бешено стучит сердце. Вскоре прибежали два казака, а за ними остальные. В несколько рук разбросали камышовую стену и сделали второй выход, куда, напирая друг на друга, и устремились дончаки. С тревожным ржанием метались они по усадьбе, иные скрылись за деревенскими избами. Вся команда собралась на пожарище. Денщик принес есаулу и Леонтию сапоги лишь тогда, когда пустая рига уже догорала, смешивая свет тлеющих головешек с первыми утренними лучами...

Орлов и Матзянин лично расследовали происшествие. Выяснилось, что Сиволапов потребовал чернила и бумагу якобы для того, чтобы написать заявление командиру конвойцев. Караульные позволили жене сделать это. Будучи безграмотными, они не могли знать, что адресовано письмишко вовсе не полковнику Орлову, а помещицкому старосте. Оный злоумышленник скрылся, и выяснить, что там приказывал барин, уже было невозможно. Поголовный допрос мужиков тоже не дал толку. Все слезно уверяли, что не выходили, дескать, в этакую стужу из изб, и ничего слыхом не слыхивали. На офицерском совете было принято единогласное решение: всех мужиков деревни, особенно Сиволапова, примерно выпороть; последнего наказать на глазах дворни и крепостных, а буде отставной капитан жаловаться на казаков властям, направить графу Потемкину подробный рапорт о том, как двусмысленно намекал злоумышленник о бунте Пугачева. И в тот же день публичная порка была отменно исполнена!

Как ни странно, но этот случай на дороге никаких последствий для казаков не имел. Вероятно, придавать огласке то, как был порот донскими ка-

заками, помещик Сиволапов поостерегся. Понимал, что перегнул палку.

Первоначально донской конвойный отряд разместили в кавалерийских казармах, утеснив драгун. А с потеплением, по просьбе Орлова, перевели в село Коломенское, где донцы стали лагерем под открытым небом. Григорий Александрович Потемкин в ясный апрельский денек удостоил донцов чести, придирчиво осмотрев конвойную команду. Увы, рожками иные не вышли, ростом не добрали, правой не были достойны того, чтобы предстать пред взором самодержицы. По его распоряжению двадцать три казака были заменены. И к маю месяцу новобранцы поспешно явились в Москву, отобранные на сей раз новым войсковым атаманом Алексеем Ивановичем Иловайским, пожалованным такой должностью лично Потемкиным не только за заслуги в поимке злодея Емельяна Пугачева, но и за исполнительность и твердость характера, подобающую войсковому «батяшке».

Ежедневная однообразная муштра, проезды в строю, джигитовка и свободное время, предоставленное с избытком, тяготили казаков, в том числе и Леонтия. Нередко он уезжал верхом на запасной лошади за село, на лесной берег Москвы-реки и подолгу сидел в одиночестве, думая о Мерджан и о родимом Доне. Полгода уже минуло, как исчезла из его жизни любимая. Он даже не допускал мысли, что она могла поступить так вероломно и, ничего не сказав, расстаться. Не осталось сомнений, что ее похитили. Но кто? И с чьей помощью?

Великое празднество победы над турками, как знал Леонтий, было намечено на июль. А после него, возможно, донцов отправят домой. И Леонтий намерился, всё бросив, искать Мерджан. объехать те края, где повстречал ее, где скитались ее соплеменники и дальше, Кубань, немилую чужбину...



Легенда о самостийности, вольности и неподкупности запорожских козаков остается легендой. Возникшее в средние века это поднепровское «товариство», окруженное со всех сторон странами-гигантами, Речью Посполитой, Крымским ханством, российской и оттоманской империями, было обречено, закалачивая «дружество» с одними, выступать против других, не гнушаясь ни разбоями, ни убийствами, ни разорением жилищ. Верно служили запорожцы «ляхам», наперегонки записываясь в их реестровые войска, легко переметнулись к шведскому королю Карлу XII и выступили против петровских полков, за что и были жестоко наказаны. Сечь была испепелена, а тысячи козаков, даже безвинных, не пошедших к предателю гетману Мазепе, подверглись наказанию. С того, 1709 года, преклонились запорожцы под турецкого султана, позволившего им вновь создать Сечь в устье Дуная. Четверть века служили они иноверцам, но когда на зрела война османов с братьями-славянами, вновь попросились под крыло русской императрицы. И Анна Иоанновна, 7-го сентября 1734 года, при посредстве генерал-майора Вейсбаха, помиловала запорожское козачество и дозволила возвратиться на родные пепелища.

В последнюю русско-турецкую войну в армии Румянцева воевало против турок более десяти тысяч запорожцев. И Екатерина Великая даже наградила их кошевого атамана Калнышевского орденом, осыпанным бриллиантами. С окончанием войны владения запорожцев разметнулись еще шире: с одной стороны они увеличились вдоль моря, по левому берегу Днепра, большим участком побережья против

крепости Кинбури¹, а с другой стороны, по правому берегу Днепра, тем углом земли, который замыкался между устьями Буга, Каменки и Ташлыка. Соединение вод Днепра и Буга делало живую границу между владениями запорожскими и татаро-турецкими.

Замирение с Портой запорожцы сразу же использовали для укрепления своего владычества на землях Новороссии. Ничтоже сумняшеся, обложили они переселенцев и однодворцев, жителей слобод денежной повинностью за право ловить рыбу и пользоваться земельными угодьями. Запорожские владения были разбиты на участки, паланки, каждой из которых распоряжался ставленник кошевого. Особенно своевольничал один из них, полковник Гараджа, не гнушаясь ни поборами с поселян, ни пленением их. Больше всего страдали беженцы из Порты, сербы и черногорцы. Издавна бытовала среди козаков поговорка: «Татарина не убить, ляха не пограбить, так и не жить». Жалобы на притеснения запорожцев нескончаемо шли в Петербург.

Российский агент Зодич, скрывающийся под именем французского барона и путешественника Клода Вердена, находился в Варшаве, стараясь найти возможность сближения с магнатами, противостоящими партии короля. Уже больше двух лет продолжались заседания сейма, то прерываясь, то возобновляясь вновь, а улаживания проблем, связанных с разделом Речи Посполитой, не предвиделось. Раздел этот формально должен быть одобрен сеймом и особым Советом. Но споры о границах, о диссидентстве, о конфедератах, о пошлинной торговле, о гражданских правах не унимались.

Отто Магнус Штакельберг, русский посланник при короле, принял путешественника Вердена в

¹ Кинбури – «Кылбурун (татар.) – мыс тонкий, как волос.



своей резиденции, фасадом открывающейся на набережную Вислы. О том, что он конфидент Панина, посланник знал. Познакомились они еще в бытность Штакельберга русским представителем в Испании, и были расположены друг к другу.

– Прошу прощения, мсье Верден, что не имел возможности видеть вас раньше. Наши усилия, благодаря богу, начали приносить плоды. Надеюсь, что на днях сейм примет все важные решения и будет закрыт. – Хозяин, статный, вежливый, длинноносый лифляндец указал рукой на массивные венские кресла, инкрустированные позолотой. – Ни дня, ни ночи покоя не ведал. Скажите, как вы устроились? Не нужна ли помощь?

Барон говорил с немецким акцентом, но довольно правильно строил речь. Эту особенность Зодич заметил еще в Мадриде.

– Признателен за беспокойство, ваше сиятельство, но завтра уезжаю. Срочной депешей направлен в Малороссию, в Сечь. Так что мое путешествие обещает быть долгим.

– А что там есть? Назревает смута? – выразительно взглянул Штакельберг и взял в руки серебряную табакерку, выложенную драгоценными камнями. – Здесь об этом не слышно.

– Постараюсь выяснить, каковы у запорожцев намерения.

– Бог в помощь! Мне известно, что вы предотвратили покушение на графа Орлова.

Зодич иронично усмехнулся и махнул рукой.

– Это уже забылось. Как же вам удалось ясновельможных панов привести к согласию?

– О, мой бог! Это было очень трудно, очень... – и посланник, ставший фактически вице-королем Польши, стал рассказывать о своей миссии, о том, с каким трудом собирался из сенаторов и выбор-

ных сейм. Выборные, или, как их называли, послы, были все подкуплены, получая за молчание до 300 червонцев, а те, кто ораторствовал, и того более. Многие из них, взявши деньги, вообще не появлялись на сейме. Так что из трехсот человек на заседаниях присутствовало около тридцати сенаторов и менее ста выборных. Сеймовый маршал, Адам Понинский, получая три тысячи червонцев в месяц, всячески уговаривал шляхту и прочих сеймовиков пойти на уступки, поскольку невозможно противостоять могуществу трех держав. Литовский маршал сейма Карл Радзвилл, напротив, держался стороны противников Станислава-Августа. После нескольких месяцев заседаний сейм, выбрав делегацию по решению возникших проблем, был на время распущен. И так, переливая из пустого в порожнее, сторонники короля и их противники из конфедератов, более двух лет вели дискуссию об устройстве государственной жизни, которая, в сущности, никак не изменилась, хотя и были передвинуты границы.

– Вы помните, мсье Верден, что польские дела осложнились в самый трудный период войны с Портой. Австрия втайне заключила договор с Турцией, получив от нее 22 миллиона гульденов, часть Валахии и льготы для торговли. Союз Австрии с Францией был скреплен семейными узами. Таким образом, против нашей императрицы сразу бы выступили две страны, имеющие армии в несколько сотен солдат. Мы были вынуждены ускорить раздел Польши!

– Эта идея, если не ошибаюсь, принадлежит королю прусскому Фридриху. В сентябре тысяча семьсот семидесятого года я гостил в Нейштадте, где этот король встречался с австрийским императором Иосифом. По моим сведениям, монархи говорили о том, как ослабить Россию. И вскоре Фридрих своевольно захватил приграничное Вармийское епископство, а



его австрийский приятель – 500 польских сел и богатые соляные копи.

– Да, наша самодержица была вынуждена подписать договор о разделе Речи Посполитой, несмотря на то, что условия эти в угоду союзникам. Самый лакомый кусок получила Австрия, присоединив Галицию, в полтора тысяч квадратных миль территорией и с населением в два с половиной миллиона. Король Фридрих вытребовал себе Восточную Пруссию, пусть площадь ему досталась в два раза меньше и жителей там девятьсот тысяч. Зато вся местность там освоена и хозяйствование налажено сполна.

– А мы получили одну Белоруссию, с ее дремучими лесами и болотами.

– В данном случае, важнее не новые земли, а проживающий на них народ. Полтора миллиона православных освобождены нашей государыней от притеснения католиков. И здесь мы также оговорили все права «диссидентов», то есть православных, живущих в Польше.

За ужином речь пошла о текущих делах. Штакельберг с негодованием рассказывал о событиях, связанных с уничтожением иезуитского ордена папой Климентом XIV. Богатые имения этого ордена в Польше и Литве обращались в фонд, предназначенный для воспитания юношества. Но фондом этим и доходами распорядилась делегация, выбранная сеймом, в связи с приостановкой его заседаний. Сеймовый маршал Понинский и канцлер Млодзеевский, возглавлявшие эту временную комиссию, учинили люстрацию. Была проведена оценка имений, и путем занижения их стоимости (с полутора миллионов золотых до трехсот тысяч) иезуитские земли весьма выгодно распределили между самими делегатами. Не забыли и о короле, отрядив ему лично четыре казенных поместья, и еще пять для раздачи. Штакель-

берг похвалил короля за то, что пожаловал двумя из них Ксаверия Бранецкого, сменившего фамилию на Браницкого. Во-первых, потому что боролся тот с барскими конфедератами в составе русских войск, заслужив благосклонность Екатерины, а, во-вторых, в знак почтения к Григорию Александровичу Потемкину, на чьей племяннице был женат Ксаверий. Остальные три староства король польский, ничтоже сумняшеся, отдал родным племянникам.

– Ко всему этому, сеймовый маршал и канцлер Млодзеевский варварски захватили иезуитские богатства, золотую и серебряную утварь, иное движимое имущество. И, представьте, назначили себе пенсии.

– Мне сложно представить, как вам удается примирять магнатов с королем, – отхлебнув вина из саксонского хрустального бокала, снова подчеркнул Зодич. – Думается, Станислав-Август видит свое первостепенное назначение в том, чтобы образовывать народ и расширить его воспитание.

– Разумеется. Но Речь Посполитая остается с избирательным правлением, с либерум вето, то есть правом накладывать вето любому из сеймовиков. Постановлено, к тому же, что только природный поляк из рода Пястов, имеющий шляхетское достоинство и владения в этой стране, может быть избран королем. Но его дети или внуки следом за ним не имеют права избираться. Совет при короле строго наблюдает за происходящим в Польше. Воспитание юношества, находящееся в руках духовенства, наконец, поставлено под надзор государства. И многое Станислав-Август делает с ведома и благословения Ея Императорского Величества.

Зодич, знавший многое из того, о чем рассказывал барон, перевел разговор на жизнь высшего шляхетства, упомянув имена хорошеньких полек.



Штакельберг заметно оживился. И Зодич вспомнил эпизод, как три года назад (тогда Штакельберг был комендантом Кракова) французский отряд Виоменила, пробравшись в город по трубе для нечистот, захватил барона в объятиях польской любовницы. И если бы подоспевший Суворов не обложил старую польскую столицу, то быть Отто Магнусу непременно в плену у злопамятных конфедератов...

– Мне необходим опытный проводник, – обратился Зодич к посланнику в конце визита. – Мой слуга, француз, парень смелый, но излишне темпераментный. Я отправил его в Париж. А в дороге случаются непредвиденные обстоятельства.

Штакельберг пообещал подобрать из своего русского окружения подходящего человека.

– И вот еще, о чем я хотел бы узнать у вас, барон, – обмолвился Зодич. – Не приходилось ли вам встречаться с полькой по имени Ядвига Браницкая?

– О! Вы знакомы с этой красавицей?

– Да, но не очень близко.

– А жаль! Мне представили ее на бале у Чарторыйских. В Варшаве она недавно. Вдовушка. Довольно богата.

Зодич откланялся. Желание разыскать Ядвигу в польской столице не оставляло его, но поиски от случая к случаю были тщетны. И вот только в последний вечер как будто повезло. Только времени на встречу с женщиной, запавшей в душу, больше не осталось...

Приказ Орлова заставил его покинуть раненую Ядвигу. И что произошло с ней дальше, он не ведал. Служба водила его по французским и австрийским городам, снова возвращая в Париж. Срочный вызов в Варшаву его несколько не удивил, – он и раньше посещал Бар и другие городки, где гнездились конфедераты. Новое задание: прибыть в Запорожскую Сечь и, войдя в тесные взаимодействия с кошевым

атаманом и его окружением, узнать потаенные планы запорожцев, – было для него крайне неожиданным. Такова судьба конфиденнта. Гадать он не привык, а смелость города берет...

8

Ночной гонец привез из Крыма засургученную грамоту.

Владельца Мисоста Баматова, одного из самых влиятельных людей Кабарды, будить, однако, до утра не стали. Он, точно предчувствуя что-то важнее, сам проснулся еще до утреннего намаза, вышел во двор. Услышав от слуги о приезде крымца, Мисост встревожился. Несмотря на пожилой возраст, глаза его не утратили зоркости, и он легко прочел при блеске свечи адресованную ему грамоту, объявшаую радостным трепетом. Под ней стояла подпись нового крымского хана, Девлет-Гирея! А прежде всего, в послании уведомлялись владельцы Большой и Малой Кабарды, все их жители, что на заседании Дивана прежний хан Сагиб-Гирей отстранен от власти, а вместо него избран Девлет-Гирей. И, приступая к своим делам, он нерушимым словом подтверждает, что Кабарда принадлежит Крымскому ханству. Отныне и впредь ее жители берутся под покровительство Девлет-Гирея, как и они обязаны неукоснительно соблюдать все его распоряжения.

Нарочные разнесли это сообщение по городкам и аулам, вызвав в них волнения. Издавна существовало на этих землях две группировки, две партии, – Кашкатауская, тяготеющая к России, и Баксанская, в которой состояли приверженцы Порты и Крыма. Нередко взгляды их менялись, и, в зависимости от сложившейся ситуации, владельцы объединялись, выступали одним фронтом или вновь занимали враждебные позиции. Междоусобица в Кабарде не



затихала. И весть о восхождении на крымский престол ставленника Порты вынудила владельцев, каких бы взглядов они не придерживались, собраться вместе и принять общее решение.

В аул Мисоста Баматова владельцы стали съезжаться с раннего утра, творя молитвы в дороге. Роса, блестящая на черепичных крышах, и безоблачное небо сулили погожий день. По улочкам стелился сизый кизячный дым. Горьковатый запах его мешался с ароматом цветущей груши, с терпким духом раскрывшихся листьев. На широком подворье Баматова стало тесно от лошадей приехавших кабардинцев. Дом владельца, построенный по крымскому образцу, в два уровня, не смог вместить всех гостей.

Совет начался на площади, вблизи мечети.

После молитвы, проведенной муллой, участники расселись на своих бурках и на расстеленных коврах. На правах хозяина Совет кабардинских владельцев повел сам седобородый Мисост Баматов, по правую руку дав место престарелому родственнику, старейшине своего рода.

– Досточтимые владельцы и уздени! Аллах собрал нас, чтобы мы, думая о судьбе нашей страны, обсудили общие действия, выслушали друг друга и приняли мудрое решение. Все, о чем будет идти речь, пусть останется только с нами, во имя Аллаха! Ни царский пристав Таганов, ни кто другой из русских не должен быть посвящен в наши помыслы. Кабарда была и остается непокоренной. Но будущее народа зависит от того, с кем мы будем состоять в союзе, кто поможет сделать нас сильнее и богаче. Прошу вас поделиться своими мыслями. Пусть же первым скажет уважаемый Хаджи-Ахмат!

Мулла, сгорбленный, тощий старец, оглядел всех собравшихся и заговорил негромким, доверительным голосом:

– Аллаху угодно было вновь обратить внимание на нашу многострадальную землю. Сонмы народов и племен живут на Кавказе, но все они объединяются вокруг Кабарды, так как нет здесь никого сильнее нас. Аллах и пророк его Магомет связывают кавказцев одной верой. В Крыму и в Турции живут наши братья, правоверные магометане, и можем ли мы, отвергая их протянутую руку, обращать свои взоры на север, в сторону России? – Хаджи-Ахмат выразительно помолчал. – По праву возраста я хочу предупредить вас о коварстве русских и надоумить тех, кто верит их посулам... Я был еще отроком, когда от русского царя приезжал кабардинец из рода Джамбулатовых, и вел с нашими владетелями переговоры. Мой отец, также священник, рассказывал, что царь обязуется взять наш народ под свое покровительство, защищать от врагов, освободить от налогов и платить жалованье кабардинцам, находящимся у него на службе. Владетели согласились на это и приготовились воевать на стороне русских.

Мулла вскинул ладонь со скрюченным указательным пальцем и взвинул свой голос до предела:

– Но заверения неверных оказались ложью! И когда девять лет спустя в Кабарду пришло войско крымского хана, и его командующий Салих-Гирей, который молился в мечети моего отца, стал устанавливать свой порядок, русский император Петр не пришел нам на выручку. Мисостовы и Атажукины приняли присягу на верность Крыму. А хан потребовал в залог аманатов и рабов, красивых наложниц... Никому, кроме Аллаха, доверять нельзя. Мы должны объединиться с Давлет-Гиреем и вместе выступить против неверных. Нас, братья мои, навек объединила вера!

Его сменил неторопливый, с курчавой бородкой и волосами цвета вороного крыла, Хамурза Асланбе-



ков. Он поправил на поясе кинжал и в знак уважения склонил голову в сторону хозяина.

– Мудрый мулла сказал главное. Кабарду не оставляют в покое ни русские, ни крымчаки. Одни самовольно воздвигли на нашей земле крепость и разместили казаков, а другие требуют дань по ясырю.

– Но мы ее не платим! – заметил кто-то из дальних рядов.

– И не будем платить впредь! – подхватил оратор. – Мы должны заботиться, прежде всего, о своих подданных и родных. После мирного трактата, который подписали султан и русская царица, Крым утратил зависимость от Турции. Хан уже не так силен, как раньше. Есть только один выход: в союзе со всеми горцами вышвырнуть русских за Терек и разрушить их крепости. Время благоприятное. Русский генерал Медем увел свои полки в Дагестан. Об этом мне сообщил верный человек. На Тереке остались одни казаки. Промедлим – упустим эту возможность!

День перевалил на вторую половину, а выступающим не было конца. Иногда вспыхивали перепалки, сказывались прежние обиды. Хамурза Росланбеков сидел в окружении своих родственников и сторонников, с ним считались все кабардинские владельцы. Как обычно, одет он был в дорогой бешмет, выложенный серебряной нитью, на гордо поднятой голове – папаха из белоснежного курпея, а всего больше манил взгляды его кинжал в ножнах, украшенных драгоценными камнями.

– В детстве мне рассказывал аталык старинную легенду. Жил высоко в горах пастух, было у него множество овец. И повадился нападать на его отару барс. Появлялся раз в неделю, хватал барана и уносил в свое логово. Пастух решил убить барса. Сделал засаду и метким выстрелом из ружья поразил зверя. Но радость этого глупца была коротка! Туда,

где хозяйничал барс, пришли волки и шакалы. И теперь вырезали они гораздо больше овец! Ибо правит сильнейший! Покаялся пастух, да было поздно. Всю его отару уничтожили хищники... Я слушал вас, уважаемые владетели и уздени, с большим интересом. Немало было высказано умных предложений. Но стоит ли нам убивать барса? Выступить против русской царицы? Руки у нее развязались, с Турцией установлен мир. У нее не отряды, а неисчислимая армия! А крымский хан только сел на трон, но неизвестно, сколько суждено ему править. Ногайские орды волнуются, их сераскир Шагин-Гирей также претендует на ханский престол. И русские за него! – Хамурза огладил рыжеватую клиновидную бороду и прищурился. – Каждый из вас, мои правоверные братья, доказал свою отвагу в сражениях с недругами. Несколько дней назад мы отражали набег ингушей. Теперь мы должны ответить. Выступить и наказать их за разбой! А с русскими следует договариваться, требовать у них денег и провианта, возмещения убытков за присвоенные ими земли. Пусть думают, что мы готовы с ними дружить... Но когда турецкий султан снова накопит силы и объявит России войну, мы поддержим его, как подданные крымского хана. Никто не лишит нас свободы и права выбора!

Баматов лестно отозвался обо всех выступающих и подвел итог: присягнуть на верность крымскому хану, но с Россией не вступать в открытое противостояние, ограничиться лишь набегам на ее селения. Однако слова его были восприняты по-разному. Послышался ропот.

Мулла молитвенно напряг голос:

– Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Все наши распри оставим для нечестивых. Долг кабардинца отстаивать свою землю и веру, ибо сказа-



но в четвертой суре Корана: «Пусть же сражаются на пути Аллаха те, которые покупают за ближайшую жизнь будущую!»

Владельцы из отдаленных мест, не мешкая, пустились в обратный путь, стараясь преодолеть его при дневном свете. Передвигаться ночью по горным дорогам было по-прежнему опасно. А ближайшие друзья Баматова и Асланбекова пожаловали во двор хозяина, где готовился обед.

Солнце клонилось к сияющей серебряной короне Эльбруса, также хорошо были видны снежные пики Кавказского хребта, уходящие в сизую даль. И от этой величественной горной панорамы, от обилия солнечного света и аромата белопенных груш, – сердца почтенных владельцев наполнились безмятежным умиротворением.

Девушки-служанки, с закрытыми паранджой лицами, подали кумганы. После омовения рук гости расселись вдоль деревянного помоста, накрытого скатертями. На этом незамысловатом столе дымилась миска с жареной бараниной и телятиной, золотился плов, большими кусками были нарезаны пышки и пироги с сыром. Вскоре служанки разнесли в тарелках наваристый хаш. Никаких дурманящих напитков, даже бузы, на столе не оказалось.

Застолье продлилось до сумерек. Беседа владельцев шла непринужденно, с шутками и смехом, с воспоминаниями забавных приключений. Но за этой, как будто искренней веселостью и услужливостью, скрывалась тайная работа рассудка. Они понимали, что русский пристав Таганов, их единокровник, рано или поздно узнает о Совете владельцев, и каков будет ответ кафи́ров, неведомо.

А пока пусть плачет сааз в руках молодого парня, с миловидным и ясным лицом, пусть напомнят струны о женской любви и грусти разлуки, о до-

блести горского воина и его готовности умереть за пядь родной земли...

9

Нападение воровских людей было столь внезапным, что ни Зодич, задремавший на солнышке, ни его спутник Гриватько даже не шелохнулись. Точно из-под земли выросли всадники, двое из них заступили открытой карете дорогу, а трое других подъехали вплотную из-за придорожных берез, с направленными на путешественников пистолетами.

– Ото ж, прийыхалы! – белозубо засмеялся толстый, бритоголовый разбойник в полотняной рубахе с расшитым воротом. – Вы прийыхалы як раз вчасно! Добри день, хлопци! Кто вы таки? Ляхи чи москали? Грошив багато?

Его приятели, одетые кто во что горазд, в свитки, в зипунцы, в мундиры венгерских гусар, – их стеклось из леса на дорогу не менее дюжины, – загоготали. Зодич, храня внешнее спокойствие, потянулся рукой к дорожному ящику, в котором лежал заряженный пистолет, но тут же остановился. Это было бессмысленно. Гриватько, правивший каретой, по всему, совсем не испугался, а вскинул голову и смело ответил:

– Я – сын запорожского хорунжия, нахожусь на государевой службе. По приказу полковника Штакельберга сопровождаю французского купца в Сичь. Извольте освободить дорогу!

Лесовики, как называли татей, ютившихся в дремучих чащах, снова зашлись недобрым смехом.

– А ты, хлопче, бачу, дуже смилый? А ну, Панас, стрельни...

И в тот же миг пуля снесла с головы возницы остроконечную шапку. Облачко пороха зависло на дороге между плотными рядами деревьев. И снова Гриватько не обмер от страха, а, разозлившись, дал волю брани.



В течение нескольких минут, пока разбойнички куражились, советуясь между собой, как поступить с пленниками – повесить или зарезать, Зодич прислушивался к их говору и понял, что это не местные жители, а, скорее всего, южане. Они не только отличались мягким произношением, но и частым использованием в речи татарских слов.

Наконец, путников заставили вылезти из кареты, и два громилы тщательно ее обыскали, забрав сундучок, хранящий деньги и бумаги, а также дорожный сак с оружием и провиантом. Другой детинушка, с серьгой в ухе, похожий на грека или турка, обшарил карманы Зодича и его проводника. Бритоголовый, видимо, главарь шайки, выяснив, что добыча невелика, обозлился. И повелел так: пусть француз напишет письмо и попросит для выкупа две тысячи червонцев. А если Гриватько не вернется и не привезет деньги, инородца повесят на осине или на дубе, по его выбору. Побледневший проводник с трудом перевел это на французский. Изъятые из сундучка чернильница, перо и лист бумаги вызвали всеобщий интерес. Зодич, опасаясь какого-то подвоха, действительно обратился к Штакельбергу с просьбой выкупить его, а далее приписал, что деньги лучше бы всего прислать с сотней лихих гусар. Гриватько, хотя и отказывался оставлять своего подопечного, пустился в обратную дорогу. Угрозы разбойников не были пустыми обещаниями...

Становище шайки оказалось в густом лесу, за полосой бурелома. К нему вела замысловатая, петляющая тропа, столь узкая, что поместиться на ней мог лишь один всадник. Зодич ехал верхом, без седла, на выпряженной из кареты лошади, а на второй умчался его незадачливый проводник. Предположение, что они неслучайно оказались в западне, а «сын запорожского хорунжия» в сговоре с похитчиками,



крепло в сознании. Вспомнилось, что на последней почтовой станции Гриватько куда-то отлучался, и зритель был излишне беспокойным, о чем-то перешёпывался с проводником.

Два больших шалаша, сооруженных из веток и сена, да стоящая на отшибе бревенчатая избушка, оказались жилищами разбойного люда. За неимением помещения, атаман распорядился посадить пленника в медвежью берлогу.

Вечерело, когда Александра привели на вырубку. Берлога таилась под стволом обгоревшей сосны. Судя по разбросанной вокруг, свежей земле, лежище косолапого, видимо, углубили и расширили. Яма с отвесными стенками была вымерена с таким расчетом, чтобы человек не смог выбраться. По толстой веревке Зодича спустили на дно и бросили две охапки свежескошенного сена. Май был в середине, и луговые травы, благодаря жаркой погоде, успели вымахнуть выше колена. К пресному запаху суглинка примешался упоительный аромат лесных ландышей.

– Однако, скверно, – проговорил он, оставшись один и оглядевшись. – Не лучшее местечко для отдыха!

Взгляд остановился на лежащей подле ног веревке, сброшенной в яму охранником, и расчетливо скользнул вверх, где нависал над ямой закопченный ствол. Нижний сук был толст, направлен к небу, но короток. И докинуть петлю веревки до него было невозможно. Догадка осенила мгновенно! А если снять ремень, с тяжелой бронзовой бляхой, и застегнуть его хомутом?!

В первый час к берлоге постоянно наведывались хмельные лесовики. Дурачась, тыкали в пленника палками, наставляли пистолеты и пики. Александр терпел, лишь иногда что-то лепетал по-



французски И глумивцы, не дождавшись той потехи, которой ожидали, разочарованно убрались во свояси. Впрочем, скорей всего, их отогнал главарь. От такой шальной братии жди чего угодно!

В сумерки запели соловьи. Ночь легла на днепровскую долину мягкая, теплая, с легкой росистой свежестью. Сожженный грозой ствол смутно виднелся над головой, выделяясь на фоне звездного неба. Зодич озяб, и долгие усилия набросить петлю ремня на сук не только не утомили его, а прибавили бодрости. Временами, когда слышались голоса или хруст валежника под сапогами присматривающего за пленником охранника, Александр ложился на сено. Переждав, снова бросал ременную петлю на высоту ствола, где должен быть сук...

На зорьке к соловьям присоединились и другие птицы, и звучный чудесный хор наполнил поляны божественной музыкой. И только теперь, когда посветлело, Зодичу удалось набросить петлю на торчащий обломок нижней ветки. От везения сердце заколотилось, он благодарно помянул бога и, натягивая веревку, выбрался наверх, содрав на ладонях кожу. Вырубка, в понизовом туманце, была безлюдна. Тихо было и в разбойничьих хибарах. Почти рядом, подрагивая от прохладной росы, лоснящейся на крупе, паслась гнедая. Но, увы, уздечки на ней не оказалось...

Он бежал до тех пор, пока хватило сил. Метался между деревьями, миновал завалы и заболоченные низины, продираясь сквозь кустарники и еловые лапы, вброд одолевал холодные, еще напитанные внешней водой ручьи. Ориентируясь по солнцу, палившему уже по-летнему, он держал путь на восток, в ту сторону, где простирался Днепр. Это было единственным спасением, поскольку встретить доброго малоросса в дремучем лесном царстве едва

ли возможно. А вот зверья тут водилось вдосталь! Зодич старался побыстрее разминуться с пасущимся под дубом секачом, с медведем-пестуном, на время оставленным косматой мамашей, с тощей, в клочьях шерсти, волчицей, почему-то испугавшейся бегущего мимо человека...

Всю ночь, забываясь в крепком сне и просыпаясь, Александр пролежал в ветхом еловом шалаше, сооруженном, видимо, бортниками на краю леса. Голод поднял его и заставил идти дальше, не останавливаясь, прячась за деревьями. Второй день скитаний был на исходе. Но вот осинки как будто стали реже. Протяженный склон, сплошь пестрящий разнотравьем, открылся внезапно. А за ним, далеко внизу, – изогнутый, рассеченный темными скалами на рукава, батюшка Днепр. На этой же, правобережной стороне, увидел Зодич хаты и маячившие на плаву лодки.

Селение это оказалось той знаменитой Каменной, в которой испокон веку жили стяжавшие себе славу речники, из поколения в поколения передающие тайны лоцманства по Днепру. С этого места и вниз по течению, где раскинулись запорожские владения, особенность Днепра составляли так называемые заборы, острова, плавни, порчи и холуи. Но главным препятствием на этой великой реке были, конечно, пороги. Карпаты, достигающие окраину степей, пересекают своими отрогами Днепр в девяти местах на протяжении семидесяти верст от его левого притока Самары и далее вниз по течению. Это ряд понижающихся уступов из гранита, встающих по руслу в несколько рядов, или лав, на довольно большом друг от друга расстоянии, – то над водой, то вровень с ней, то уходящих в глубину. Первый порог лежит ниже Киева на полсотни верст, напротив крепости Старый Кодак. И чем далее стремится река, тем опасней становятся преграды, всечасно грозящие гибелью.



Усатый малоросс, встретивший Зодича у своей хаты, выслушал его сбивчивый рассказ о том, что вырвался из лап разбойников и проголодался, спокойно, не вынимая изо рта огромной трубки, сделанной в форме ладьи.

– Оце так, оце так, добродию, – закивал он понимающе. – Багато у нас шайтанов усяких. Потайки ховаются у лиси...

Хозяин, приказав жинке варить галушки, ушел к соседу и вскоре вернулся с коренастым и плечистым удальцом, назвавшимся Василем Десяткой. Он был уже женат и держался с достоинством, как человек, многое испытавший и знающий себе цену.

– Васыль дуже знае уси порижци и скили, и може пособыти, – заверил трубокур и стукнул по плечу черноволосого красавца.

– Куды вам треба? До Сичи? – уточнил Василь, беззастенчиво разглядывая неведомого пришельца и прицениваясь.

– Да, до Сечи. Я – французский купец, хотя долго жил в России. Я хочу торговать с запорожскими козаками. Все мои деньги и драгоценности присвоили грабители. Но я даю честное слово дворянина, что рассчитаюсь с вами, как только прибудем в Сечь, на русский кордон близ нее.

Десятка, поколебавшись, согласился. По его словам, на изготовление плота потребуются день и полночи, а на рассвете, с божьей помощью, можно будет отправляться в плаванье.

Бокастая веселая Оксана убрала стол холщовой скатертью с бахромой, выставила миски и большую чашку со сметаной, в жбанчике – узвар и тарелку с растопленным в духовке медом.

– Ласково просымо! – певуче протянула молодайка, приглашая за стол. – Як шо будэ мало, покличьте!

Александр, не чинясь, принялся за галушки с таким аппетитом, что хозяйке пришлось дважды подкладывать ему. Эти немудреные пшеничные клецки, сваренные в молоке и приправленные топленным маслом, показались ему самыми вкусными изо всех яств, что когда-либо отвеживал. стакан грушевого узвара также пришелся ему по вкусу особым духовитым запахом. Он поблагодарил хозяев и пересел на лавку подле образов. Но, заметив, что гость обмяк, и глаза его слипаются, Оксана добродушно предложила:

– Мабуть, пан хоче спаты? Лягайте у хати!

Зодич помнил смутно, как прошел в соседнюю комнатушку и, сняв сапоги, опрокинулся на лавку, устланную старым тулупом...

10

Он проспал, не шелохнувшись, около полусуток.

Плот, заранее спущенный на воду, ждал у бревенчатого причала. Александр едва успевал за быстроногим лоцманом, который, несмотря на многочасовой труд, ничем не выказывал усталости. У него за плечами была котомка с харчишками, а за поясом – топорик. Пропустив на плот четверых своих помощников-плотовщиков и француза, Василь запрыгнул на него и велел всем взяться за возвышавшийся с задней стороны руль, по-местному – стерно. Слаженными движениями, – влево-вправо, – удалось сдвинуть с места бревенчатое судно и пустить впласть.

– Я в русской армии служил, буду с вами разговлять на их языке, – обратился Василь к своему попутчику. – Зараз нас вынесет на стремнину, плот ходчей пойдет. И до жаркого часу робить нечего.

– Откуда ты родом? Местный? – поинтересовался Зодич.

– Смолоду был в Сичи, козаковал. Воевал с турками. А после раны вернулся к матери. Так с тех пор и живу в Каменке, по Днепру гуляю!



Занималась зорька. Распахнутый со всех сторон водный простор, стал матово светлеть. Знобил влажный ветерок. Крепче пахло сыростью и молодым камышом плавен. Раз и другой промчались в небе утки, с дурашливым криком кособоко пролетела чайка. Пологие берега, кудрявящиеся верболозами и ольшанником, примкнули к низинам, оглашенным кличем журавлей и лебедей, за ними – надвинулись крутояры, каменные распадки. С левобережья, с горной высоты плеснуло как будто розовой водицей, – за холмами поднималось раннее майское солнышко. Зодич с любопытством и радостным трепетом вбирал в себя несказанную красоту, поминутно меняющуюся. Небо представлялось огромной палитрой, на которую небесный художник наносил краски: пунцовую, оранжевую, желтую, алую, – смешивал их размашистыми мазками, крыл небесный свод, раздерганные тучки, верхушки нагорного бора. Вся речная гладь впереди плота и по сторонам зеркально отражала эту поднебесную и земную картину, оживляемую птичьими голосами и отдаленным серебряным отголоском православного колокола.

– Вы в первый раз на Днепре? – спросил Василь, вглядываясь в речной поворот, и, получив утвердительный ответ, признался: – Мне много раз пришлось отведать оплеух и от Кодацкого, и от Лоханского, и от Ненасытецкого порога. Но бог оберегал, и ни разу мой плот, в добрый час сказать, в худой – промолчать, не разбился. Но коли такое случится, пан, то одной рукой хватайтесь за борт, а другой – защищайтесь от камней и плывите по течению, пока не утихнет вода.

Десятка, стоящий впереди, на месте лоцмана, оглянулся на французского купца и добавил:

– А коли плот хоть наполовину уцелеет, то хватайтесь за вот эту поперечную доску, за жорость, и поворачивайтесь лицом против воды, спиной вперед.

– Спиной наперед?

– Так! В буруне самая опасность не впереди, а позади. Ежели будете глядеть вперед, не заметите, как догонит бревно и ушибет голову. А в старину еще так делали: набирали полную грудь воздуха и ныряли на дно, держались там до тех пор, пока не проплывут все бревна.

Василь оборвал речь и тревожно возвестил:

– Ну, боронь нас Бог... Братцы, скоро Кодацкий порог. Стать по местам!

Зодич застыл рядом с лоцманом, и все четверо плотовщиков крепко взялись за стерно, следя за движениями правой руки Десятки, подающей команды. Шум воды усиливался. И плот заметно разогнался, понесся с устрашающей силой. Его качнуло, вскользь ударило о выступ скалы и затянуло в бурлящую протоку между рядами камней. От гула бурлящих струй заложило уши. Плот трянуло, и раздался скрежет, – краем он чиркнул по первому уступу и понесся дальше. И еще трижды прочность бревенчатого дна испытали гранитные поверхности лав, отполированные потоком.

Кодацкий порог, длиной в три четверти версты, остался позади. Река раздалась и успокоилась, как посчитал Александр. Но снова вздыбились на сужении водной глади гранитные чурки, – на сей раз смельчаков встречал Сурский порог. И вновь за несколько минут дикая сила водоворотов играючи протасила плот по гранитным столам, едва скрытым под водою, и вновь душа замирала от необоримого страха, когда ходуном ходила шаткая твердь под ногами...

Следующие пороги, – Лоханский и Звонецкий, – миновали столь же благополучно. И Зодич решил, что самый опасный участок пройден. Солнце припекало. И мокрая от брызг одежда помогала переносить полуденную жару. Несколько раз замечали,



как вдоль побережья маршировали в сторону запорожских земель русские пехотные полки. Встретился возле излучины и бивак донских казаков, как раз купавших лошадей в Днепре. «Вот интересно, – усмехнулся Александр. – Во всех ордерах встречается слово, с разницей в одну букву. Запорожцы – козаки, а донцы – казаки. А, на самом деле, – два разных народа».

Неожиданно лоцман сказал:

– Вы, пан француз, гляжу, – не робкого десятка. Зараз дойдем мы до Дида, так называется Ненасытецкий порог. Он самый буйный и опасный. Вот коли проскочим его, так и живы останемся

– А почему он так называется? – откликнулся Александр, хмурясь от недоброго предчувствия.

– Да насытиться никак не может! Все пожирает и пожирает души людские. Как-то шла по Днепру ладья с колоколом. И лоцман был на ней не чета мне, полвека суда водил и лодки. И как налетит на камень Чекуху, что на самой середине Ненасытца, так и разнесло в щепки! А колокол до сей поры на дне где-то... Сами всё увидите!

Десятка держался хладнокровно, только снял сапоги и свитку, оставшись в одних шароварах синего сукна. А плотовщики, парубок и трое бывалых казаков, не сдерживали своего крайнего волнения. Они также стащили с ног сапоги и остались в портках. А когда издалека открылся вид этого ада, показались черные скалы и возник рев беснующейся воды, все разом упали на колени и, часто крестясь, стали молиться:

– Отче наш, що на нэби! Нэхай святытсья имя твое, нэхай прыйде Царство Твое, нэхай будэ воля Твоя, як на нэби, так и на зэмлі...

Ненасытец, чудилось, сам летел навстречу. Зодич оглох от неистового клетота, плеска, перезвона

кипящей воды, рассеченной гранитными камнями, похожими на кили кораблей. И чем сильнее шатало плот, тем истовей молились плотовщики и присоединившийся к ним лоцман.

– И просты нам довггы наши, як и мы прощаемо вынуватцям нашим. И нэ ввэди нас у выпробовуваня, але вызволы нас вид лукавого...

С полуверсты стал виден весь Дид, – не одни скалы, но и череда каменных завалов, сквозь которые вода пробивалась только ручейками, а посередине порога бурлила достаточно широкая лава, чтобы мог пройти плот.

Василь подавал команды рукой, по-прежнему стоя впереди и неотрывно глядя на реку. Минута – и они приблизились к самому опасному водовороту порога, именуемому Пеклом. И, верно, тут, в бешеном буйстве реки, когда с разных сторон, точно пуля, больно били по телу мелкие камни и брызги, когда ничего не слышишь, кроме ревучего потока, а перед глазами встает мутная пелена, каждый, пожалуй, вспомнил о Преисподней. Зодич, наблюдая за лоцманом, повторял его движения, пружинисто покачивался на ногах, готовый ко всему...

Раздался сокрушительный треск, и точно дьявольские лапы потащили плот ко дну! Он погружался медленно и тяжело, и Зодич ощутил, как ледяная вода поднялась до колен, до пояса, и ноги стали утрачивать под собой прочность...

– Прощайте, хлопци! – потеряно выкрикнул долговязый плотовщик, намертво вцепившийся в руль, как и его приятели.

– Прощай, Митро! – провизжал парубок, клацая от страха и холода зубами.

Десятка, не поворачиваясь, выкрикнул:

– Цыть! Хылы ливоруч!

Черные колоды камней мелькали с двух сторон, шапки пены залепливали лицо и плечи, но пловцам



удавалось держаться на ногах, сопротивляясь течению. Время точно замерло. Александр не спускал взгляда с лоцмана и надеялся лишь на этого мужественного человека...

Вдруг плот стал подниматься, будто бы адские духи, поигравшись, вытолкнули его из глуби, оставив невредимым. Впрочем, стерно было надломлено, и плыть дальше стало опасно. Плотовщики, обретя способность думать, загалдели, когда Ненасытец был преодолен, требуя пристать к пологому берегу с запорожской стороны.

– Цыть! – снова оборвал плотовщиков Десятка, оборотив к ним гневное лицо. – Куды чалить? Кругом ни хаты, ни людины! – и, помолчав, сказал уже Зодичу: – Дойдем до Лишнего порога, а там вас лодочки доведут, куды треба!

За час они оставили позади еще два порога, Волниловский и Будиловский, и подошли к Лишнему. Несмотря на холодную воду, Василь с плотовщиками вплавь, толкая руками, сумели подать его к мелководью. И выяснилось, откуда ветер доносил тяжелый запах. Вдоль камышей, прибитые волнами, плавали, с обезображенными лицами, погибшие на порогах. Среди утопленников мужчин заметил Зодич малыша и молодую женщину в расшитой сорочке, – и оценил только теперь всю степень опасности, которой он, по незнанию, подверг себя.

Вольный лодочник, знакомый Василя Десятки, приземистый и мускулистый грек Дионис согласился везти через Лишний порог, но запросил непомерную плату. Лоцман, сопровождающий француза до Сечи, уговорил удальца сделать ходку в долг. На обратном пути Василь пообещал передать ему деньги.

11

С той поры, когда русская императрица Анна Иоановна, простив запорожцев, позволила им вер-



нуться на родную землю, Новая Сечь обосновалась вдоль излучины реки Подпильной, напротив «Великой плавни» – широкой полосы тростника и заболоченного леса, которую с юга пересекала полноводная Старая Сысина, а с востока – речка Скарбная. «Пидпильня – мате Днипра, бо вона Сысею корме его, а Скарбною зодягае», – такая присказка часто повторялась лихими козаками.

Сечь, опоясанная плавнями и мелкими озерами, располагалась в котловине. Зодич и Василь Десятка, оставив лодочника у берега, оказались у ворот высокого земляного вала, увенчанного остроконечным бревенчатым забором. Двое постовых, бритоголовых, с длинными, растрепанными ветром оселедцами, в кунтушах, надетых на голое тело, и в непомерно широких красных шароварах, встретили неведомых людей неласково. И Десятке долго пришлось убеждать их, что французский купец прибыл к их кошевому атаману по делу, а никакой не шпион, и, к тому же, первым делом хочет встретиться с командиром русского батальона, находящегося здесь же, в Новосеченском ретраншементе. Их нехотя пропустили. Миновав прибрежные слободки, в которых жили не только козаки, но и их семьи, прибывшие вошли на территорию ретраншемента, один из охранников которого проводил Зодича к своему командиру.

Дом коменданта стоял на отшибе, и кроме самого подполковника там присутствовал только писарь. Зодич заговорил по-французски и объяснил истинную цель своего приезда. Подполковник, седобровый и щедушный старик, очевидно, выходец из низшего класса, сурово возразил:

– Объяснитесь, мусью, коли можете, по-русски.

– Тогда прикажите нас оставить наедине, – попросил Александр, подчеркнуто чисто произнося каждое слово.



Узнав, что перед ним никакой не француз, а посылный самой матушки-государыни, комендант смягчился, приветливо сказал, что зело возрадован приездом столь высокого гостя и готов всячески помочь. Зодич, во-первых, предупредил, чтобы тайна его миссии была строжайшим образом соблюдена, во-вторых, ему нужен ордер на свободное передвижение по Сечи и, наконец, попросил займы пятнадцать рублей, задолженных лоцману и греку Дионису. Старый служака, покряхтев, отпер конторку и, потребовав написать расписку, вручил confidentу деньги. Зодич тотчас вышел на крыльцо и передал их Василию, на прощанье обнявшись с бесстрашным лоцманом.

В сопровождении коменданта Александр посетил дом, где жили офицеры, и познакомился с ними, а затем оглядел военный городок, размещенный здесь же, под боком у запорожцев, сорок лет назад киевским губернатором Леонтьевым. Как и полагалось защитному укреплению, были здесь и артиллерийские склады, и казарма, и солдатская гауптвахта. А снаружи ретраншемент был обнесен дополнительным валом, за которым с северной, наиболее уязвимой стороны, вырыли окопы, волчьи ямы и ложементы, на случай нападения неприятеля.

Поместили Зодича на одной квартире с капитаном Карлом Зейером. Серьезный, образцовый вояка из пруссаков, Карл не очень дружелюбно встретил француза, как соотечественника тех, с кем так часто приходилось воевать его народу. Но уважительность мсье Вердена, проявленная к немецкому языку, на котором они общались, тронула каменное сердце Зейера. И он вызвался проводить Клода к кошевому атаману Калнышевскому, с которым также намеревался встретиться по какому-то делу.

Внутренний Кош, который был не только местом, где в тридцати восьми курнях обитали козаки, но и



средоточием войсковых учреждений и святых храмов. Главный из них, Покровский, стоял на краю площади, открытой во все стороны, вплоть до ограждающего Кош вала, вдоль которого и тянулись курени.

Зодич с капитаном, пройдя сквозь широкие ворота, очутились на базаре, запруженном телегами и всевозможным людом. Тут же ютились лавки и шинки. Зимовчане, хлебопашцы с зимовников, торговали мукой и овощами: морковью, луком, репой. Посполитые люди, беженцы из польских земель, жившие в ближних поселениях, привезли битых гусей, уток, в жбанах – степной мед. Татары, в своих зеленых бешметах и чалмах, гортанно зазывали покупателей к вязанкам вяленой рыбы и сушеных фруктов. Тут же их виночерпии разливали из бочек крымское красное вино, издающее мускатный дух. Однако, подавляющее число базарного люда были слоняющиеся от безделья козаки. Высокие и коренастые, худые и брюхатые, седые и чернобровые, – все они носили одну запорожскую одежду, выделявшую их среди любой толпы. На плечах – каптаны из синего оксамита, дорогого бархата, расшитого золотыми узорами. А отвороты на рукавах – красные, пояса из кружевных татарских шалей и персидского шелка тоже красные, с посеребренными концами. Шаровары, у кого какие, – суконные, нанковые или кожаные, однако, непременно под цвет каптана, – цвета днепровской волны в ясный день! А на головах – высокие смушковые шапки, с дном разных цветов, в зависимости от того, к какому куреню козак принадлежал. Зодич с интересом разглядывал «лыцарей», – не идущих, а, казалось, парусящих над землей, в своих широченных штанах, щегольски спадающих на красные сафьяновые чоботы!

Будинок Калнышевского, дом из рубленого дерева, стоял близ колокольни. Поодаль от нее Зодич



увидел нагромождения гранита и мрамора, начатый фундамент. Уловив его взгляд, Зейер пояснил:

– Козаки ошень хотель храм строить. Но много пить, гулять... Не иметь фремя!

Бравый хлопец, с двумя кожаными кобурами, пришитыми к шароварам, из которых торчали рукояти пистолей и с шашкой в кожаных ножнах, узнал Зейера, но не сразу отступил от двери, храня козацкое достоинство. В сенях находился еще один охранник кошевого, хорунжий Микитенько, могучий на вид детина. При появлении посетителей он, скрипнув кожаными шароварами, встал, ловко намотал на ухо чуприну и нахлобучил свою шапку, заломленную набок.

– До батьки кошевого нэможно! – пробасил он сурово.

– Пошёл к шорту! Доложить немедленно! Капитан Зейер требует!

– Ни. Отам е чоловик, – упрямо отказал хорунжий.

– Как гофорить с русским офицер! Каналья! Марш фон!

Крик немца произвел обратное действие, – Микитенько свел черные разлатые брови и положил руку на головку кривой турецкой сабли. И для пущей надежности отступил ко входу в атаманскую комнату. Зейер с возмущением посмотрел на французского купца, ища сочувствия. Но Зодич лишь пожал плечами.

Перепалку в сенях услышали в соседней комнате, из-за двери раздался недовольный старческий голос:

– До мэнэ? Хто такий? Що за дурныця?

В это время в сени вошел в дорогом бордовом жупане, расшитом золотом, длинноусый, седоватый запорожец средних лет. Он строго зыркнул на капитана и неизвестного гостя, переглянулся с

охранником и по-русски приветствовал офицера. Зейер возмущенно обратился:

– Герр Глоба, срочно доложить атаман. Фажный фесть. Ошень фажный!

Иван Глоба, ближайший сподвижник кошевого, войсковой писарь, поспешно удалился за дверь. И точно пропал! Отсутствие его становилось вызывающим. Минуло не менее получаса. Наконец, дверь распахнулась и из приемной запорожского атамана, к изумлению Зодича, вышли два сухощавых бородача в тюрбанах и куртках турецких янычар. Отводя глаза, странные посетители кошевого быстро вышли из казачьего правления. Зодич предупредил немца, что вынужден отлучиться...

На отдалении преследовал он турок до самого базара, где их ожидал с заседланными лошадьми соплеменник. Крикливый, видимо, хмельной запорожец, растелешенный до пояса, задиристо, жестами объяснялся с ним. Тот отмалчивался, и как только подошли его товарищи, передал им скакунов, а сам первым запрыгнул на поджарого араба, с места взявшего аллюр. Турки полохнули вдогонку. Козак выкрикнул им вслед ругательства и, шатаясь, пошел к шинку, где лупоглазый Давид льстиво беседовал с есаулом, cedящим из глиняной кружки горилку. Зодич поравнялся с ними и услышал обрывок разговора. Есаул, мордастый дядька с пунцовыми носом и губами, спросил: «Що ты йього лаэш?» – «Та вин у старшины полонянок купуэ! Чи кошевий турчин у друзи запысав?» – «Як Калныш захоче, так воно и буде! Пид султана вин хылыться проти москалив!»

Александр походил по рядам, ожидая, пока Зейер не выйдет из войскового будинка. К атаману Калнышевскому он, французский подданный, должен попасть без свидетелей. А вот такой встречи с турецкими посланцами здесь, в Сечи, он даже не



предвидел. Стало быть, подозрение, что кошевой атаман ведет тайные переговоры с турками, не бесосновательны. И об этом необходимо сообщить Панину в первую очередь...

Мимо базарной площади несколько запорожцев вели восточных пленниц, молоденьких девушек и женщин, одна из которых поразила Зодича своей красотой. Она несла на руках грудного ребенка, устремив на него свои большие печальные глаза. Невольная жалость тронула его сердце, и Александр последовал за ними. Полонянок пригнали к дощатому сараю, стоявшему на прибрежном склоне. Усачи-охранники с ними не церемонились, пару раз даже свистнула плетка. Бедняжки бросились в проход сарая, укрываясь от побоев.

«Своевольничают лыцари, живут по воле своей, а не по законам российским! – с негодованием подумал Зодич, возвращаясь в ретраншемент. В том, что в Сечи царил свой порядок, и жили они так же, как и их пращуров, у него сомнений не осталось. Фактически самостоятельное государство, имеющее армию и не подчиняющееся никому.

12

Кошевой атаман запорожцев Павел Иванович Калнышевский, или Калныш, принял французского купца на другой день. Выслушав, уклончиво ответил на предложение торговать днепровской рыбой и шкурами зверей. Когда же узнал от мсье Вердена, что его государство теснейшим образом сотрудничает с Портой, а торговля крепнет год от года, атаман заинтересовался и вызвал писаря, Ивана Глобу, сподвижника и советчика, которого Зодич уже видел. Условились для начала отправить партию вяленой рыбы для французских гурманов в количестве десяти возов. Заодно – и пять возов ка-



чественной соли, добытой в паланке Прогнойской, подле Кинбурнской косы, отошедшей к запорожцам после победы России над Портой.

Кошевой почему-то проникся особым вниманием к умному и вежливому французу и пригласил на обед, на котором Зодич познакомился и с третьим лицом Сечи, ее судьей Павлом Фроловичем Головатым. Как и его «друзи», вершитель козачьих судеб был немолод, много в жизни повидавшим. Держался он с откровенной надменностью, не говорил, а изрекал сентенции и несколько раз упомянул про «лукавых москалив».

Далее оставаться среди запорожцев Зодичу было незачем. Шла Троицкая неделя, в одноглавой церквушке, отличающейся богатейшей утварью, архимандрит проводил службы, собирая многочисленную паству. Козаки гулеванили, и время для решительных действий русской армии было самым подходящим.

В третий день июня Зодич уведомил коменданта, что должен покинуть Сечь, и попросил выделить верховую лошадь и сопровождающего. Но выехать на следующее утро не удалось...

Перед рассветом, когда Сечь безмятежно досматривала сны, во Внешний Кош и на ретраншемент неожиданно вступили пехотинцы Орловского полка и конница барона Розена, во главе с командующим свободным войском Текели. Поднятые по тревоге офицеры ретраншемента, комендант его и Зодич предстали перед неспроста взволнованным генерал-поручиком.

– По велению Её Императорского Величества приказано мне, с вверенным войском, атаковать Запорожской Сечи, с тем, впрочем, пожеланием, дабы не было пролито понапрасну крови, – объявил Текели, строго оглядывая офицеров. – Вам, подполковник Мисюрев, как имеющему тесные сношения



со старшиной запорожцев и знающему лично атаману Калнышевского, поручаю вызвать его с писарем и генеральным судьей ко мне, сюда.

– Слушаюсь, ваше сиятельство! – отчеканил подполковник и прищелкнул сапогами. – Офицеры ретраншемента, следуйте за мной!

Вскоре в небольшую комнату комендантского дома вошли полковники Розен и Языков, доложившие о разоружении караульных и захвате сечевой артиллерии. На улицах слобод и во Внешнем Коше расставлены русские постовые и дежурят армейские наряды. Кроме этого все лодки, каики и «дубы», стоящие у причала, заняты солдатами, отогнавшими их от берега на сто сажень.

Сожалея о том, что его экспедиция в Сечь и всё, что удалось выведать за неделю пребывания здесь, оказалось фактически ненужным, Зодич всё же обратился к генерал-поручику по-французски и попросил его выслушать тет-а-тет.

– Хотя вы, мсье Верден, и состоите в тайной службе (Зодич так и был представлен Текели), но я прошу, как командующий вооруженными силами Новороссии, написать обо всем рапорт, поелику должен отправить спешное донесение государыне и князю Прозоровскому.

С последними словами дверь отворил Мисюрев и доложил о том, что караул Внутреннего Коша, не имея распоряжения атамана, не впустил его в цитадель. Вместе с тем, курени разбужено шумят, оповещенные о приходе «москальского вийська». Делать было нечего, как дожидаться утра. Адъютант генерал-поручика, принеший походную кровать, попросил господ офицеров покинуть комендантскую...

Зодич вслед за подполковником вышел на крыльцо. Сумрак редел. И по всему побережью, по всем плавням катился соловьиный гром. Трели, точ-

но бы родниковые ключики, били то с одной стороны, то с другой. Луна, в облачной поволоке, тускнела на западном краю небосвода. Глубокая тишина окружала Сечь, взбудораженную общей тревогой. Впрочем, Зодич отметил, что и генерал-поручик и его полковники крайне напряжены, сознавая непредсказуемость действий запорожцев. Подполковник тяжело перевел дух и негромко сказал:

– Вот в такую же ночь, пять лет назад, сечевики подняли восстание против Калнышевского, Головатого и Глобы, чинивших самоуправство и изрядно потряхнувших войсковой казной. Пришлось нам усмирять бунт. Через год снова эта троица бежала отсюда, когда один из куреней решил их арестовать и переизбрать всю верхушку войска. И опять мы спасли клятвоотступников! Потом кошевой атаман командовал своими козаками в баталиях супротив османов и был обласкан Её Императорским Величеством. И что же? За десять лет, проведенных во власти, Калныш со своими товарищами обогатился в невиданных доселе масштабах! У одного писаря Глобы более пятидесяти тысяч голов скота. На зимовниках работают их данники, правят они и тайную торговлю с крымчаками и турками.

– Смею утверждать, что с Портой они не только торгуют, но и ведут переговоры о будущем Сечи, – отозвался Зодич. – Скрывают ярыжек из пугачевской шайки. И, наконец, держат пленных. чтобы как можно выгодней продать на Восток.

– Вот как? – спросил Мисюрев с удивлением. – Как же это вам удалось установить?

– От моего конфидента в Сечи. Имя его утаивать в дальнейшем нет нужды. Это войсковой старшина Савицкий.

– Вот почему вам потребовалось еще двести рублей?



– Вы догадливы, подполковник! И кстати... Ежели считаете полезным, я могу сопроводить вас к кошевому атаману.

– Почту за великую помощь! – благодарно откликнулся подполковник и, помолчав, обронил: – Соловьи бунтуют... Значит, светает.

Утром Мисюрев снова был вызван к генерал-поручику, который вручил ему письменный приказ кошевому. Предложение агента Текели одобрил. Посыльных русского генерала на этот раз караул запорожцев пропустил беспрепятственно. Лошади их легко миновали ворота и промчались сквозь толпы возбужденных козаков, сходящихся к Сечевой площади.

Калнышевский, нарядившись в малиновый жупан с вензелями, в ярко-голубых шароварах, при сабле и пистолете, встретил русских посланцев на крыльце войсковой канцелярии. Его старческое лицо, в прожилках и морщинах, блеклые глаза выражали откровенное недовольство. Мисюрев разорвал засургученный свиток бумаги и внушительным тоном объявил приказ генерал-поручика: именем государыни Екатерины Сечь Запорожская, как гнездо сумасбродства и наглости, подлежит разорению, всё её движимое и недвижимое имущество передается государству, а старшине и козакам даруется право выбора, куренные атаманы, войсковые офицеры получают аттестаты, уравнивающие их с дворянством. Кошевой же атаман, генеральный судья Головатый и писарь Глоба должны немедленно явиться к командующему сводным войском Текели. Далее сообщалось, что Сечь окружена полками кавалерийскими, пикинерскими, гусарскими, донскими и пехотными, численностью в двадцать пять тысяч человек. Из них создано пять отрядов, которыми командуют генерал-майоры Райзен, Чорба, де Бальмен, Лопухин

и бригадир Зверев. Артиллерия оных отрядов заняла боевые позиции.

– Бачимо, бачимо, – раздраженно бросил Калнышевский. – Як шпаки на бугри чорниють! Ну, гайда, панове, на майдан! Як вирішують козаки, так воно и будэ!

Подполковник, вспотевший от волнения, переглянулся с Зодичем. И хотя участвовать в Раде было рискованно, они пошли на Соборную площадь, оставив лошадей под присмотром ординарца атамана. Троицкое солнце палило нещадно. Мисюрев снял армейскую шапку и расстегнул ворот мундира. Его, как и Александра, изводила жажда.

Войсковое командование взошло на паперть, и трехтысячное запорожское войско, как только архимандрит Сокальский возгласил первые слова молитвы, покорно опустилось на колени. Зодич и Мисюрев ощутили хлынувшую на них волну отчуждения и недоброжелательства. Затем из церкви вынесли хранившиеся там знаки атаманской власти – хоругвь и бунчук. Калнышевский взял в руки насеку и зычно обратился к примолкнувшим и подавленным сродникам.

– А що, панове козаки и атаманы, тепер будэмо робыты? Бачыте, що на бугри? Бачыте, який дарунок маты Катэрына прийслала?

Воинственные крики прокатились по всему майдану. Пестрое запорожское войско качнулось, готовое в любой миг прийти в движение. Кошевой поднял над головой насеку, и снова стало тише.

– Пивсотни палкив прыгнав сюды гэнэрал Текели. От москаль у гости нас клыче! Чи пыдэмо, чи нэ пыдэмо? Оддамо Сич москалэви, чи ни?

Сызнова оглохла площадь в криках и призывах сопротивляться. Речь взял узколицьий, высокий запорожец, вероятно, войсковой старшина или пол-



ковник, его смелое появление на паперти многие восприняли приветственно. Он выхватил из-за зеленого шелкового пояса пистоль с инкрустированной, отблескивающей на солнце рукоятью и пробасил:

– Панове запорожци и ты, батько кошевий! Не-хай цей Текелий привэдэ ще стилькы и повстилькы вийська, як оце, на буграх и кругом Сичи, то всих у пух розибьемо, як комашкив передаваемо! – грозил, потрясая пистолем, молодец. – Чи то можно Сичи и славнэ Запорожжя москалэви виддаты за спасыби? Цього, панове, покы свитыть сонце, нэ будэ!

Неистовый свист, рев отозвались ему в ответ. Множество козаков готово было идти сражаться с москалями и умереть за «вильну Сич».

Судья Головатый, то и дело оглаживая свои висячие усы, треплемые ветром, говорил долго и витиева-то, напоминая, что силы неравные и лучше смириться, избежать баталий. Нашлись среди запорожцев и такие, которые Павла Фроловича дружно поддержа-ли. Зодич, неотрывно следя за площадью, прикинул, что козаки примерно разделились поровну.

Но вот на паперть выскочил какой-то козачок, обезображенный рваными ноздрями, беглый каторжник, и возопил, что «неможно слухаты старшину», дескать, она продалась москалям, и вместо Калнышевского пора избрать нового кошевого. Тут уж не смолчал священник, Володымыр Сокальский, оборвавший этого неразумца и выступивший вперед, подняв большой золотой крест:

– Пановэ козаки! Побийтэся Бога! Що вы задумалы, нэразумни диты?! Вы хрыстыяны и пидиймаетэ руку на хрыстыян? Вы хрыстыяны и жадаетэ пролыты кров едыноутробну?

Голос архимандрита, негромкий, но звонкий и певучий, среди воцарившегося безмолвия слышался даже на краю майдана.

– Побийтэся и нэ идить на такэ, диты мои... Выдно, вже доля наша така, и мы приймаемо вид Бога достойно по дилах наших! Ось вам хрэст и розипьятый на ньому, якщо вы його нэ послушаетэ, то загинетэ враз!

Слово Сокальского остудило горячие головы. Еще слышался ропот, перемолвки, вздохи, но великое козачье сонмище непреклонно приходило к выводу, что Сечь не сохранить, а потому и не было никакого резона лишаться жизни в неравном смертельном бою...

Калнышевский, разморенный жарой, зашелся хриплым старческим кашлем и, повременив, обратился к Раде:

– Ну, що будэмо робыты, панове запорожци?

– Ты, батьку, вэлможный панэ, тепэр як хоч, так и думай зи своимы гостямы, а мы готови тэбэ слухаты: як иты, то йты! – выкрикнул стоящий перед папертью красавец-козак в светлой шапке и рубанул рукой по воздуху.

Кошевой атаман вздохнул и посмотрел в сторону русских парламентаров, еще раз вздохнул и, не вытирая мокрых глаз, срывающимся голосом заключил:

– Нэ можна, братци запорожци, нэ йты, бо цэ вжэ нэ дурныця! Цэ вже гости таки, що пийшовшы до них, навряд чи назад уси повэрнэмось? Алэ буты тому! Господы, поможы! Дай, Божэ, час добрый! Ходымо, пановэ атаманы. Що будэ, то будэ. А бильшэ будэ так, як Бог дасть!

Зодич испытал некую растерянность, увидев, что многие запорожцы от отчаянья плакали. Действительно, – вспомнились слова священника, – лица их хранили искреннее и простодушное выражение, присущее детям, а в глазах неизбывно темнела печаль. В этот час утешиться было нечем!

Несмотря на то, что запорожская делегация явилась на ретраншемент с хлебом-солью, почти вся



она, во главе с Калнышевским, Головатым и Глобой, была арестована. Войсковые правители под усиленным конвоем были отправлены в основной лагерь, расположенный в двух верстах от Сечи.

Следующим днем, 5 июня, присутствовал Зодич и на прибрежном пустыре. На виду неисчислимой армады русских полков, вышедшие из цитадели запорожцы, – от куренных атаманов до простых козаков, – выслушали соизволение Императрицы Екатерины и беспрекословно сложили на свою бывшую землю сабли, пистолы, рушницы, кинжалы и списы, козачьи копья, – свою заветную, кровью окропленную «ясну зброю»!

Русский гарнизон занял во Внутреннем Коше войсковые здания, у порохового и базового склада, у скарбницы и канцелярии обосновались усиленные караулы. Запорожцы толпились перед бывшим будинком кошевого атамана, где им за подписью Текели выдавали билеты на право вольного поселения или рыбной ловли по всему Днепру, один билет – на полсотни человек, а козачьей старшине – куренным, войсковым офицерам выписывались аттестаты, подтверждающие дворянские привилегии.

Потеря связи с секретным отделом Иностранной коллегии, Зодич был вынужден получить в Петербурге новые инструкции и, помимо своего командования, встретиться с начальником Тайной экспедиции, предоставив и ему подробный отчет о своей заграничной деятельности. Александр решил присоединиться к двум курьерам генерал-поручика, вечером также направляющимся в столицу. Жара заставила его прийти к Подпильной, где на широком плесе козаки устроили купальню. Взбодренный прохладной водичкой и обретший твердое состояние духа, Зодич поднимался к ретраншементу, когда вновь встретился со стайкой тех самых пленниц. И



опять взгляд его привлекла красавица с ребенком. Очевидно, женщины, освобожденные солдатами, спешили покинуть ненавистное место заточения. Они, как догадался Александр, были татарками или ногайками. И все, кроме молодой матери, скрывали лица под паранджой. Это показалось странным.

– Откуда ты, молодушка? – спросил Зодич у понравившейся ему женщины. – Как очутилась здесь? Ты по-русски понимаешь?

Приостановившись, она испытующе и серьезно посмотрела на неведомого господина в партикулярном платье.

– Я – жена донского сотника Ремезова. Меня выкрали из Черкаска родственники и передали бею, которому я была продана ранее. Я убежала от него. Потом меня захватили козаки и держали на зимовнике, пока не родила сыночка... Господин начальник, – со слезами в голосе запричитала красавица, – помогите мне добраться до Черкасского городка! Мне нужна только лошадь и немного червонцев...

– Жена сотника? – переспросил Зодич. – И крещеная?

– Да, наречена по-христиански Марией.

– Идемте, голубушка, со мной!

В лагере пребывало десять донских полков и одиннадцать эскадронов Сулина. На редкую удачу, один из полковых командиров, Агеев, узнал Мерджан, супружницу своего приятеля Ремезова. Тут же бедную скиталицу окружили brave донцы, предлагая хлеб и сухари, сало, сушеный чернослив.

– Клади, голубушка, всё, что дают, вот в эту суму, – поучал полковник, томливо поглядывая на красивую бабенку. – Снарядим тебе лошадку подобрей, закоштуем, – и лети ветром на Дон родимый! Вези мальчика-казачонка на показ отцу! Леонтий, небось, от тоски-горя сердце потерял. А раз ты есть ка-



зацкая жинка, мы тебя обидеть не дадим и от глупостей всех ограждать будем. А ты дюже не плачь, чтоб молоко не перегорело. Нехай питается и растет! Смена на нам будя... Запасайся всем, что дорога требует. Выбирай из складов запорожских и шали, и холсты любые. А не то замест халата и штанов своих татарских надевай справу их, – удобней в седле сидеть!

И Мерджан, к потехе озорников, послушалась совета полковника. Шелковый каптан, шаровары она нашла себе по размеру, выбрала и смушковую остроконечную шапку, и сафьяновые зеленые сапожки, и несколько шалей, чтобы пеленать младенца. Он, на радость матери, родился здоровеньким и спокойным. Брал грудь охотно, а поскольку молока у Мерджан хватало с избытком, не докучал плачем, а подолгу спал.

Агеев примерно позаботился о жене сотника: выделил ей две лошади, недельный запас армейского провианта с лишком, дал на дорогу пять рублей и письмо к своей семье. Однако Мерджан, одетая запорожским козаком, потребовала у него оружие. И полковник приказал снабдить пистолетом, порохом и пулями. Затем разрешил ей на оружейном складе в Сечи выбрать кинжал из сданного запорожцами арсенала. Один кинжал Мерджан присмотрела себе, а другой – для Леонтия, в подарок.

– Ну, ты и жога! – улыбнулся полковой командир, наблюдая за смелой женщиной. – Не пропадешь! Або и какого бусурманина в полон залучишь, домой пригонишь. Иде ж тебя Леонтий такую отыскал?

– В чистом поле, – ответно засмеялась Мерджан.

– Ну, нехай Бог тебя хранит чи Аллах, – всё едино. Коней меняй и скачи на них попеременки. И держись шляха да хуторов. Правь прямо на солнце. Утром гляди, иде оно. Туда и скачи.

– Меня сердце поведет, – вздохнув, смущенно отозвалась Мерджан, торопливо шагая к лагерю донцов,

где под присмотром бывалых казаков был оставлен ее маленький Дамир, ненаглядный сыночек...

13

Судьба не переставала проверять Мерджан на прочность, посылая новые и новые испытания. Год назад казалось, – ничто не предвещало беды. Всё как будто в жизни устоялось и текло, как велела душа. Что ей еще было надо? Желаемое, думалось тогда, она обрела уже сполна. Добрый казацкий дом, в котором к ней исподволь переходили обязанности хозяйки, любимый и любящий муж, самый дорогой человек на свете, душевная подружка – его сестра, Марфуша, сродницы чиберки. Но прежняя жизнь в кочевьях, кровные узы, право старшего в роду распоряжаться ею, как собственностью, – всё это лихомерно догнало ее, точно ураган в открытой степи, которого не ожидаешь...

За два дня до Николы зимнего к ней пришла Зухра, некрасивая, плосколицая соплеменница, жившая в городке издавна и присвоившая себе титул старшей среди здешних женщин-тумок. Пришла эта посетительница заказывать халат, но, улучив момент, когда они остались одни, отрывисто бросила:

– Тебя хочет видать твой отец и брат Муса.

– Кто? Они здесь? – с обмершим сердцем переспросила Мерджан, веря и не веря услышанному.

– Да, неподалеку, в калмыцком улусе. Приедут, когда дам знать. Им сказал кто-то про тебя. На Николу, когда казаки будут пить водку и славить своего святого, мои хозяева уезжают к сватам в Семикаракорскую станицу. Я найду тебя и приведу к твоим родственникам.

И до самого праздничного утра Мерджан старалась ничем не выдать своей встревоженности, оставаясь улыбчивой и спокойной. Но свекровь, очевид-



но, заметила некую в ней перемену и спросила об этом. Мерджан отшутилась, что будущий ребеночек отзывается чаще, чем прежде...

Зухра подобралась к ней в разгар кулачного боя и оповестила, что Муса ждет у палатки персидского купца. Мерджан колебалась: идти или нет? Сообщить о приезде родственника мужу или не тревожить его? И, возможно, отец прибыл с добрыми намерениями, просто повидаться с ней и узнать, как живет? Оставив Леонтия у общего казачьего стола, Мерджан на прощанье улыбнулась ему и как будто отправилась домой. Но не успела пройти ста шагов, как брат, неузнаваемо заросший окладистой рыжей бородой, в бешмете и косматой шапке, возник точно из-под земли.

– Следуй за мной, – бросил он неприветливо. И Мерджан поняла, что ее ожидает суровый разговор.

– Ты далеко скрылась от нас, но Аллах так решил, чтобы ты понесла достойное наказание... – начал Бек-Мурза, отец её, едва Мерджан вошла в тесную комнату гостевого дома. – Я должен убить тебя, обесчестившую род наш, или вернуть мужу. Выбери!

– Убей, – леденя, ответила своевольница.

Длиннобородый, пахнувший бараньим салом и тем особым степным духом, который присущ скотоводам, отец выдернул из ножен кинжал, но тут же снова убрал его.

– Нет! Убить отступницу, предавшую Аллаха и весь наш род, рука моя не дрогнет. Но выплачивать кубанскому бею калым за тебя, неблагодарная, мне непосильно. Ты поедешь с нами!

– Нет. Я не брошу своего настоящего мужа, – возразила Мерджан, охваченная гневом. – Нам больше не о чем разговаривать.

...И больше она ничего не помнила до азовских лиманов, оглушенная неожиданным ударом брата. После Муса хвастал, что её так ловко вывезли из



Черкаска, завернув в персидский ковер. Благо, караульные казаки были навеселе в честь праздничка и выпускали из городка всех подряд без задержки.

Через неделю Мерджан была привезена в кочевье едисанцев и передана в семью бея, купившего ее полгода назад у Хан-бека. Увидев, что бегличка беременна, хозяин ее бросил несколько презрительных слов и велел поселиться не в тэрмэ для жен, а в камышовом шалаше. Ее поднимали и днем, и среди ночи, заставляя убирать навоз, задавать корм овцам и коровам, доить верблюдиц, таскать сапетками сено и курай для топки. Горестная тоска жгла ей душу, она бы наложила на себя руки, если бы не ждала ребенка. Только эта мысль, что в ней живет кровинушка Леонтия, отрезвляла. Когда же одна из жен бея проболталась, что хозяин их так зол на Мерджан, что как только она разрешится родами, завезет младенца в степи, а ее продаст туркам, Мерджан решила на побег.

К нему готовилась скрытно и основательно. Мартовской вьюжной ночью, взяв с собой запас просяных пышек и бараньего сала, она запрягла лучшего скакуна хозяина, увязала к седлу тюк с сеном, спрятала скарб в переметную суму и неслышно выехала из кочевья, ориентируясь на Царь-звезду, как ногайцы называли Полярную. Снега было немного, он уже стаивал несколько раз, а пурга моментально сглаживала следы копыт. И Мерджан, опасаясь погони, отмахала за сутки немало верст, пока не встретился ей у азовского берега лагерь запорожцев. Лед на море был крепок, и козаки-разбойнички препроводили ногайку в сечевой зимовник. В нем жили сербы и греки, бежавшие из турецких земель. С одной из переселенческих семей и была поселена Мерджан, которой были даны обязанности ухаживать за скотом. То, что она жена донского сотника, на пузатого



есаула, большого любителя горилки и галушек, не произвело никакого впечатления...

Мерджан проснулась оттого, что малыш заворочался, и ей показалось, что он просит грудь. Но чадунюшка лишь зачмокал губами и снова забылся. Минуту подождав, Мерджан накрыла его жупаном и встала, зорко огляделась. При блеске месяца далеко открывалась холмистая новороссийская земля. На светлой стороне пологих склонов тускло блестели росные травушки. Тут и там яростно били перепела. Во влажном воздухе ощущался густой до головокружения, сладковатый аромат разнотравья. Мерджан несколько раз глубоко вдохнула эту упительную свежесть, любимую с детства. И от восхищения этой предрассветной степной красотой, от воскресшей надежды на встречу с Леонтием, от радости материнства, – от сонма взбудораженных чувств – заплакала. И так, стоя с распущенными волосами, молодая и сильная, жаждущая в жизни счастья, она молилась сразу двум Богам – Христу и Аллаху, глядя на восходящее солнце.

– О, Всемогущие! Пошлите на мою землю мир и покой, образуйте безумных и алчных людей, разоряющих дома и убивающих братьев. Все мы хотим быть счастливыми, так дарите благо тем, кто его заслуживает добрыми делами, а не обманом, не огнем. Пребудьте всегда с нами, грешными и смертными, укрепляя в нас милосердие и мудрость сердца. Не шлите лишений и горя тем, кто чист сердцем и свободен от корысти. Обратите свои взоры на моих любимых людей, живущих по Вашим заповедям. С именами Вашими пусть мир земной изменится и станет лучезарным, как это летнее утро!

Вкрадчивое ржание гнедой лошади, особенно полюбившейся ей, степнячке, спугнуло заревую тишь. Догадавшись, что гривастая подруга хочет



пить, Мерджан сняла с её передних ног треногу и поощряюще хлопнула ладонью по крупу. Лошадка легко понеслась по спуску к речке, зеркально отражавшей радужное небо. Зайдя по колени в воду, она грациозно опустила голову, коснулась губами речной глади столь осторожно, что та даже не качнулась. Гнедая пила долго, – то ли томила жажда, то ли засмотрелась в воду, опрокинувшую небесный свод и похожую на цветущий луг...

Меняя лошадей, Мерджан держала путь на юго-восток, как научил ее полковник Агеев. Несколько раз встречались становища ногайцев, которые она объезжала, не раздумывая. Затем, выехав на шлях, встретила она обоз чумаков. Они подтвердили, что эта большая дорога наезжена к Таганскому рогу, откуда рукой подать до крепости Дмитрия Ростовского. Один из чумаков, сердобольный дед, с удивлением поинтересовался:

– А що ты, хлопче, с дытыной? Чи нэнька погынула?

Мерджан не придавала значения тому, что подслеповатый малоросс принял ее за козак. Это ее даже развеселило. Пусть думают, что она козак, меньше будут мужчины зариться!

Дамирчика покоила она в кочевой колыбельке, связав шаль углами таким образом, что узел висел на шее, а ребенок помещался впереди. Это было удобно и потому, что позволяло постоянно следить за дорогой...

Петля аркана неожиданно пролетела над головой, и гортанные крики объяли душу страхом! Она обернулась. С холма стекало четверо всадников, чернобровых горцев. Один из них на ходу пальнул из пистолета. Пуля прожужжала в стороне. Мерджан безотчетно, точно руководимая кем-то свыше, выхватила кинжал и, изловчившись, перереза-



ла ременную тягу, которой была привязана к седлу запасная лошадь. И, отбросив оружие, ногами ударила гнедую, рванула повод:

– Айда! Айда!

Лошадь взяла с места рысью, но, испугавшись выстрела, сразу перешла на галоп. Слитный грохот копыт по окаменевшей под горячим солнцем дороге катился следом. Снова пуля осой прогудела мимо. И лошадка еще прибавила ходу, заставив Мерджан удерживать повод одной рукой, а второй – обхватить плачущего сына. Запасная лошадь, почуяв свободу, некоторое время скакала рядом. Но, приблизясь, удалцы ее заарканили. Мерджан уловила возбужденные возгласы.

– Алип! Атшы!

– Щта, йсгуапхадзит!¹

Она догадалась, что это закубанцы, черкесы или абазины. И то, что они добрались сюда, одолев сотни верст, рискуя жизнью, было невероятно. В степи границы нет...

Пусть добыча и не велика, – но отличная лошадь, отбитая у запорожского козака, побудила джигитов поостеречься. Чем черт не шутит, могли они нарваться и на армейский отряд!

Погоня оборвалась. Но Мерджан не сдерживала лошадь до тех пор, пока она сама не сбавила ход, выбившись из сил. Рядом виднелись камышовые крыши какого-то хуторка и паслись буренки. На бугре торчала смотровая вышка. По всему, это был казачий пикет. Мерджан остановила гнедую возле речки. Привычно придерживая колыбельку, прыгнула на землю. Малыш захлебывался плачем, сучил ножками. Положив ребенка на траву, Мерджан стала пеленать его в сухой платок, вынутый из пере-

¹ – Али! Лошадь!

– Да, мне очень нравится! (абазин.)

метной сумы. И как скоро сделала это, ощутила постепенно нарастающую в теле дрожь. Она была ее все сильней и мучительней, заставляя изгибаться и стучать зубами. Пытка эта продолжалась уже полчаса или больше, но Мерджан утратила способность владеть собой. «Видимо, страх выходит, – решила она. – Думала, убьют...»

Но судороги, становясь реже, сменились головной болью, жаром и невероятной слабостью. И лишь тогда догадалась она, что так не ко времени заболела лихорадкой. Слыша под палящим солнцем плач сыночка, Мерджан находила в себе силы и трижды поднималась кормить его. Умная лошадь, остыв, стригла сочную траву в балке. Но, словно понимая, что ее хозяйке плохо, зашла и стала так, что тень ее прикрыла Мерджан и ее малыша...

Их нашли перед закатом казачата. И, стоя в стороне, с недоумением рассматривали запорожца, «дюже похожего на бабу». Столь удивительное открытие было тотчас передано командиру пикета Денисову. Урядник приехал на телеге и убедился, что сорванцы не вдали. Нерусская женщина, наряженная сечевиком, бредила, просила пить. Младенец орал, должно, проголодавшись. Вспомнил казак о своем маленьком «дите», – и всколыхнулась в душе жалость. Не раздумывая, привез скитальцев в свой неказистый курень...

Чужие люди, многодетный урядник и его супружница, выхаживали Мерджан целых две недели, пока подняли на ноги. А сынок ее за это время подрастал, питаемый грудью донской казачки, и даже научился самостоятельно ползать по обласканной солнцем, отчей земле...

Празднование годовщины победы над Портой Екатерина замыслила как триумф России, ее ар-



мии и – свой собственный. В течение нескольких месяцев подготовкой к нему были заняты тысячи людей: придворные и военные, чиновники и строители, архитекторы и живописцы, знатные вельможи и пиротехники, пииты и купцы, а прежде всего лейб-гвардейские полки.

Донская команда ежедневно занималась строевой выездкой, вольтожировкой, перестроением на скаку и джигитовкой, изучением воинского устава и закона Божия. Вместо забракованных Потемкиным казаков явилось пополнение числом двадцать три – ухари как на подбор! На сей раз утверждал их новый наказной донской атаман Алексей Иванович Иловайский. И при повторном осмотре команды и проверке ее навыков Григорий Александрович Потемкин не поспешил на похвалу!

В конце июня в Москву устремился со всех сторон российский люд, среди которого были особы приглашенные и просто ротозеи, возжелавшие побывать на зрелище доселе невиданном. Молва разнесла по губерниям подробности о том, что строится на окраине Первопрестольной, на Ходынке, целый городок, наподобие сказочного; устройством он напоминает как бы географическую карту, на которой обозначены полуостров Крым и турецкие крепости. А посередине будто бы воздвигается павильон, напоминающий замок, а рядом с ним театр и торговые палатки, всевозможные сооружения для потех и развлечений.

Екатерина, находясь на последнем месяце беременности, прихварывала и нервничала чаще, чем обычно. Её раздражала неразбериха в международных делах, козни хитроумной Марии-Терезии, которая, желая как будто всем добра и сокрушаясь о разделе Польши, в конце концов, приобрела Галицию.

Против дальновидных замыслов Екатерины Алексеевны шли дела и в Крыму. Возведение Дива-

ном на ханский трон Девлет-Гирея никак не входило в планы российских политиков. Стало быть, влияние османов в татарской среде столь велико, что помогло ставленнику Абдул-Гамида взять власть в свои руки. И, судя по его неугомонности, – в довольно крепкие руки, что потребует от России лишь новых усилий и расходов, чтобы сменить его Шагин-Гиреем. Вместе с тем, мирный трактат с султаном, наконец, ратифицирован, и она могла уделять больше времени подготовке реформ внутренних. Прежде всего, – губернской. Она ясно сознавала, что способ управления в существующих ныне 28-ми губерниях крайне несовершенен. Многие губернии недостаточно снабжены как правительством, так и людьми, для управления нужными. В одном и том же присутственном месте велись дела правительственные, казенные, полицейские и судные. Как в губернских, так и в уездных канцеляриях, сосредотачиваются дела разного рода и звания. Предполагалось умножить число губерний, взяв за основу население от 300 до 100 тысяч душ жителей, учредить государевых наместников или генерал-губернаторов, открыть по губерниям различные ведомства, с правами и властью коллегий.

Уже опубликованным в середине марта «Манифестом о Высочайше дарованных сословиям милостях, по случаю заключения мира с Портою Оттоманскою», она была довольна. В числе прочих милостей был и запрет наказывать без суда нижние строевые чины, служащие в сухопутных и морских войсках батожьем, кошками и плетью; повелевалось всем военным служащим прибавить круп по полугарнцу; отменены были сборы с железных и минеральных заводов, с фабричных станков и медиплавленных печей, с выплавляемого чугуна и меди, с купечества и цеховых. Также отменялись сборы кузнецы, изготовляющие серебро, мельники, бортники, квасни-



ки, красильщики, кожевенники, хозяева мыловарен и прочие работные профессии. Пожалела она также преступников и колодников, значительно смягчив им наказания. Многих купцов, чьи капиталы не превышали пятисот рублей, произвела в новое почетное сословие, – в мещане. Среди других милостей была и сбавка цены на соль. Екатерина очень хотела порадовать народ, который по-настоящему любила...

Потемкин, погруженный с головой в предпраздничные заботы, посещал ее, увы, нечасто, что также было весомой причиной ее пасмурного настроения. Избавляться от него помогали бесконечные государственные дела и семейные проблемы. Беспokoило ее слабое здоровье невестки, вспыльчивое поведение сына.

В те самые дни, когда Текели распустил Запорожскую Сечь, Екатерина Алексеевна приехала в Троице-Сергиевскую Лавру и провела там почти неделю, отметив Пятидесятницу и молясь перед иконами храма по нескольку часов. Возможно, Господь внял ее молитвам и отвел в Сечи братьев-славян от кровопролития? Тайна сия велика есть...

Невесело прошли именины великой княгини Натальи Алексеевны, захворавшей некстати, поэтому ни она, ни Павел Петрович, сыночек милый, во дворец не явились. Екатерина сама провела утром невестку, весьма тронутую оказанной ей честью. Родственные узы обязывали.

Душевное напряжение, связанное с будущим материнством, не покидало императрицу. Она постоянно жила в Коломенском, держа при себе сердечную подружку Брюшшу и Перекусихину, с кем могла быть обыкновенной женщиной, искренней и простой. А «милая милуша» теперь бывал на обедах еще реже и чинился, вел себя любезно, но неласково. И эта его непоказная черствость, признак отчужденности,



вызывала по ночам слезы. Донимали и раздумья об авантюристке, именуемой «княжной Таракановой», которую привез в Петербург капитан Грейг. Из писем фельдмаршала Голицына, допросившего эту особу в Петропавловской крепости, Екатерина поняла, что самозванка ничего бы не значила, если бы не поддерживающие ее интриганы из Польши и Франции, ненавидящие Россию и ее, императрицу. И как поступить с этой смутьянкой – она тоже пока не ведала, – наказать либо простить?

Развеял ее меланхолию смотр на коломенском лугу двух гренадерских полков, отличившихся в турецкой кампании. Командовал ими граф Воронцов, бригадир-красавец, бравостью своей тронувший сердце государыни. А она для этого воскресного парада специально надела мундирное платье, сделавшее ее, впрочем, неуклюжей. На деревянном постаменте рядом с ней был наследник с женой, Григорий Александрович Потемкин, статс-дамы и приехавшие на праздник придворные сановники.

Выстроенные в каре гренадеры являли собой элиту русской пехоты. В честь предстоящего праздника они были наряжены в новехонькие мундиры, на пошив которых ни сама императрица, ни президент Военной коллегии Потемкин не пожалели средств.

Смотр начался под громкую дробь барабанщиков, которую подхватили флейтовщики и трубачи. Услышав сигнал, разом, с правой ноги, двинулось первое каре со знаменосцами и командиром полка впереди. Екатерина поднесла к глазам лорнет, точно пристыла взглядом к марширующим. Форма этого полка оставляла отрадное впечатление. На рослых, статных усачах были зеленые мундиры с красными воротниками и обшлагами на рукавах, светлые рейтузы заправлены в высокие сапоги, головы венчали красные каски, с белым основанием. У офицеров



были такие же гренадерки, украшенные перьями, а у полковника – обшита медвежьим мехом. Екатерина, восторженно улыбаясь, смотрела на мощные, слаженные движения этих героев, победивших в баталиях и принесших своей державе великую славу!. Ее завораживал напор и то, как горделиво шли, попирали землю эти длинноногие мужчины, способные вскружить голову любой чувственной особе. Она повернулась к стоящим позади статс-дамам и, поймав взгляд Прасковьи Брюс, бросила:

– Чудо-воины! Сокрушительная сила супротив любого врага. А ка-аки-ие красавчики! Не правда ли?

– О, это истинные рыцари! Мы просмотрели все глаза... Восхитительно! – многозначительно ответила «Брюсса», большая ценительница мужчин.

Форма второго гренадерского полка была иная: синие мундиры, перехваченные белыми портупечьями, сочетались с красными рейтузами и темными касками. Как всякая женщина, императрица, прежде всего, обращала внимание на форму и внешность марширующих, а к оружию она присмотрелась после, когда из-за тучи вынырнуло солнце, и под его лучами засверкали отделанные медью ружья и примкнутые к ним штыки. И еще на боку у солдат были в ножнах шпаги.

Промаршировав, гренадеры продемонстрировали искусство перестроения на ходу в квадраты, каре, разомкнутый строй, разыграли штыковую атаку и рукопашный бой.

У Екатерины от долгого стояния затекли ноги, ломило спину и хотелось лечь. Но она, не выказав своего недомогания, дождалась окончания смотра и обратилась к Потемкину так, чтобы слышала вся свита:

– Ну, ваше сиятельство, порадовали вы нас! Гренадеры выучены отменно и заслуживают за преж-

нее геройство и строевые навыки поощрений. Такожды от имени нашего передайте мое удовлетворение бригадиру, графу Сергею Воронцову за должное командирство.

Потемкин благодарственно улыбнулся и доложил:

– Эти полки участвуют в празднике, будут охранять Кремль.

– Примите наше одобрение... – И, понизив голос, нервно обронила: – Что-то вчерась не изволили вы быть, батинька, на обеде... А я таки надеялась...

И отвернувшись, широкая и неповоротливая, поплыла к ожидающей ее карете. Настроение у нее резко переменилось. Проводив взглядом уходящих в сторону Москвы гренадеров, Екатерина приказала везти ее не в коломенскую резиденцию, а в церковь деревни Черная Грязь, в новоприобретенную усадьбу, переименованную в Царицыно. С собой взяла она только Прасковью. И, как была в тяжелом мундирном платье, покорно выдержала вечернюю литургию, со слезами слушая хор певчих... А на обратной дороге уже обдумывала, где поселить главного героя войны Петра Александровича Румянцева, не жившего со своей супругой, Екатериной Михайловной, пожалованной два года назад в статс-дамы с назначением гофмейстериней к великой княгине. И этот выбор жена сына восприняла с признательностью. Пожилая Екатерина Михайловна, будучи душевной и мягкой, отличалась материнской заботливостью. Несчастье в замужестве, как считала Екатерина, случилось только по вине фельдмаршала, который лично ей был не менее дорог, как преданный человек и великий полководец. Через три дня он приезжал в Первопрестольную, излечившись от недуга. И для встречи фельдмаршала на городской окраине, у деревеньки Котлы были выстроены, по



ее распоряжению, триумфальные ворота, а вдоль дороги расставлены пирамидки со светильниками, ежель въедет Румянцев не днем, а в темное время. В любом случае, курьер оповестит о приближении Петра Александровича к Москве, и только Потемкину она может доверить устроить ему достойное чествование. Немало славных полководцев, например, Суворов. Но характером вспыльчив, дерзок и постоянно с кем-то пикируется. Воин хорош, а доверить целую армию невозможно.

Вдруг лошади, везущие карету, шарахнулись в сторону! Прасковья Александровна, сидевшая напротив, вскрикнула и, удерживая императрицу, схватила ее за колени. Мимо промчался, догоняя зайца, донской казак. Только на мгновение промелькнуло его лицо, но Екатерина успела заметить, что был он на редкость красив, смуглолиц, с черным кольцеватым чубом. Объяввший было ее гнев, быстро сменился на милость.

– Дикарь! Но такие и готовы, ежели понадобится, умереть за меня, – убежденно сказала императрица статс-даме. – Твой брат, фельдмаршал Румянцев не примирился ли с Екатериной Михайловной? Ищу для него пристанище. Гофмаршал Орлов осмотрел дом Бибикова, но он для покоев не пригоден. Может, поселим во дворце, где жил в прошлом принц Дармштадский?

Бывалая кокетка ослепительно улыбнулась:

– Вы – наш ангел-хранитель, матушка-государыня! Вы всю семью нашу отличили... И, клянусь Богом, все мы преданы вам до последней минуты жизни.

– Петр Александрович это доказал. И будет возвеличен примерно, как лучший сын Державы!

Великое празднование годовщины победы над Портой началось вечером девятого июля, когда Ека-

терина приехала в Кремль и отстояла Всенощную в Успенском соборе. Донская команда также была размещена здесь, и Леонтий, к своему удивлению, увидев императрицу, узнал в ней одну из тех дам, которых напугал при гоньбе зайца. Русака он тогда заporол-таки нагайкой. А про важных особ и позабыл.

Полувзвод Ремезова караулил Ивановскую площадь. И в этот день, до приезда государыни, конвойцам поневоле пришлось участвовать в богоугодном деле, – в подъеме колокола на колокольню Ивана Великого.

Отлитый для этого торжества, могучий колокол доставили в Кремль и поместили на высокий колодец из бревен, напротив нижней звонницы. В широком ее проеме с овальным верхом виднелась мощная балка, к которой привязаны были канаты и цепи, спускающиеся вниз к колоколу и подъемным устройствам. Артели работного люда и строителей, служивые в форме пехотинцев были собраны на Соборной площади. Тут же неотлучно находилось четверо священников, мысленно взывающих к Господу с просьбой, чтобы сие сложное и благовидное предприятие завершилось ладом и ко всеобщей радости.

– Эгей! Натягивай вервие! – зычно командовал с колокольни какой-то дюжий артельщик, с длинными светло-русыми кудрями, перехваченными ленточкой, похожий на былинного героя. – Потягивай дюжей! Единоручней! Господу послужи-им-ка-а!

И вся эта путовень канатов и цепей, сооруженная умелым инженером или обыкновенным строителем, наделенным смекалкой, пришла в движение, напряглась, растянулась, – и заскрипели дубовые ворота, вторя натужным возгласам людей. Чугунный исполин медленно сдвинулся, качнулся туда-сюда, как бы на прочность проверяя крепление, и медленно подался в сторону колокольни.



– Донцы! Донцы! – закричал дьячок в синей рясе, подбегая к Леонтию. – Пособите, рабы божии, явите силушку!

Казаки, обленившиеся от бесцельного шатания по Кремлю, оживились. Быстро потеснили мужичков и тоже уцепились за толстые корабельные веревки.

– Эй, у-ухне-ем! Еще ра-азик, еще раз! Э-эх, братцы! Еще ра-азик...

И колокол поплыл по воздуху, как огромная темная казацкая шапка! На площадке звонницы его приняли многие руки. Престарелый чиновник, вероятно, руководивший подъемом колокола, приказал тянуть из всех сил, – и многотонный гигант, соскользнув с верхнего блока, осадисто повис на балке, громыхнув на весь Кремль. Священники, а вслед за ними и весь прочий люд, истово закрестились, кто шепча молитву, кто крича от радости. Леонтий вспомнил свои черкасские соборы, которые и внешне, и во внутреннем убранстве были куда скромней, но не менее ему дороги. Одной православной верой связаны были все россияне, и казаки, и вот эти, чудно гутарившие мужики...

Ночью Леонтий лишь ненадолго сомкнул глаза, задремав на расстеленной бурке, привезенной еще с Кавказа, и снова был поднят дежурным по команде. Его полувзводу было приказано выдвинуться с берега Москвы-реки к Покровским воротам Кремля.

Из-за небывалого столпотворения лошадей оставили с коноводами на Красной площади. А сами встали караулом, как велел распоряжающийся здесь гренадерский капитан, подле батареи вестовых пушек, установленных у колокольни.

Древняя Ивановская площадь преобразилась неузнаваемо! Амфитеатром возведенные зрительские трибуны лепились к стенам соборов. Они были переполнены именитыми гостями, военны-

ми, дворянской элитой и вельможами. Изрядно было тут лиц и московского купечества, и помещиков из родовитых семей. Праздничные наряды дам, мундиры сиятельных особ, с орденскими лентами через плечо, взволнованные голоса, – всё свидетельствовало о событии чрезвычайном. И Леонтий, командуя казаками, которые тщательно вычистили форменные зеленые кафтаны, штаны, надраили ножны шашек и ухарски заломили шапки, испытывал вначале неумное волнение сродни ожиданию какого-то чуда! Но чем больше прибывало на трибунах людей, среди которых мелькали уже простецкие физиономии трактирщиков и лавочников, торговцев, тем всё вокруг становилось привычной, с каждой минутой теряя ореол таинственности.

Солнце, обретая накал, уже поравнялось с нижней маковицей колокольни, когда откуда-то снизу, из-за кремлевских стен, донеслось многоголосое «ура», и бывшие на площади сообразили, что царский поезд от Пречистенских ворот проследовал к Грановитой палате. Народ заволновался и загомонил, купцы, люди привыкшие к точности, стали доставать часы, сверяться. Вот-вот ударит час церемонии!

От Красного крыльца Грановитой палаты до входа в Успенский собор был проложен помост, застланный ковровой дорожкой. Неведомо откуда на нее запрыгнула и уселась, запалисто дыша, рыжая востроносенькая собачонка. Стоявший поблизости гренадер шуганул ее, но та с испугу припустила по дорожке дальше, вызывая ужас у придворных дам. И только фанфары, грянувшие ровно в десять часов утра, заставили ее шмыгнуть под помост...

Неторопливо открылась высокая, отделанная золотом дверь палаты, и Екатерина Алексеевна, облаченная в пурпурную мантию, подбитую горностаем, в малой императорской короне, блистающей са-



моцветами, показалась на крыльце. Оркестр грянул марш, все военные – от генералов до солдат – встали навтыжку, трибуны огласились гулом ликующих приветствий. В пышном убранстве, горделиво печатая шаг, первыми двинулись по красно-бордовой дорожке кавалергарды почетного караула, неся в руках штандарты. Императрица, сойдя с крыльца, стала под пурпурный же балдахин, который поддерживали двенадцать высших офицеров в парадных мундирах, – восемь генерал-майоров и четверо генерал-поручиков. По левую руку, рядом с государыней, пристроился фельдмаршал Румянцев, а справа – генерал-адъютант Потемкин. С началом шествия солдаты с сумками через плечо приблизились к трибунам и стали забрасывать их серебряными и золотыми монетами, что, впрочем, не вызвало большого ажиотажа. Шлейф императрицы, приближавшейся к собору, несли также кавалергарды. Леонтий подивился богатству их красно-золотых мундиров и серебряных шлемов, украшенных страусовыми перьями. За ними следовала свита. Сквозь буханье большого колокола Леонтий слышал перемолвку:

– Узнаёте, князь, гетмана Разумовского?

– Как не признать такого великана! А это кто с ним, братья Панины?

– Да, они.

Трезвон колоколов нарастал поминутно. От него закладывало уши, и Леонтий, возбужденный происходящим вокруг, точно окаменел. Сама земля, как казалось, содрогалась от слитного гула голосов и звона, и не было предела восторгу собравшихся при виде самодержицы! А тем временем у входа в Успенский собор, сияя золотом и парчой, матушку-царицу встречал клир, с преосвященным Гавриилом во главе. Они расстались лишь несколько часов назад, после Всенощной, и Екатерина с улыбкой преклонила

голову навстречу священнику, который мудро и неизменно опекал ее, начиная с первого дня восшествия на русский престол.

Из храма доносились возгласы дьякона и пение хора, и Леонтий, понимая, что служба кончится не скоро, с любопытством осматривал зрителей на трибунах. «Вот супротив кого Пугач выступал, уничтожать хотел, – размышлял он с непонятной самому себе иронией. – Вон сколько их! Разве сломишь такую кумпанию с казацким умом? Да и войска у них гораздо более, чем у нас... Ну, ежели б и победил Емелька, и на престол залез. С кем бы управлял государством? С атаманами и мужиками, анчутками косорылыми? До всего надо доучиться и устройство познать, а не дуроломить, кровя пуцать! И матушка государыня правильно учинила манифест. Заблудших простила, а вершителей бед наказала. Я так бы не поступил. За отца отомстил бы безжалостно! Потому как без прикороу нас, казаков, не сдержать...»

После молебна, при первом возглашении императрице «Многая лета», грянул залп вестовых пушек. Его троекратным беглым огнем поддержали солдатские ружья. На паперти появилась Екатерина Алексеевна, и кремлевский перезвон подхватили все колокола Москвы, разнося благую весть. Капитан-гренадер, кому Ремезов подчинялся в этот час церемонии, приказал донцам уплотнить строй, дабы избежать всевозможных казусов. И Леонтий, подступив к помосту, увидел проходящую государыню в двух сажнях от себя. Богиня в пурпурном одеянии проплыла мимо него, простого казака, и как показалось, милостиво глянула в сторону почетного конвоя из армейских частей. Так, затаив дыхание, и стоял ошеломленный Леонтий, пока хвост праздничного шествия не скрылся в глубине Грановитой палаты.



Зазывалы тут же стали приглашать честной народ к столам, накрытым яствами и веселящими напитками разных видов, от заморских вин до сивухи. Не удержались и донцы, и, хватив по бокалу выдержанного рейнвейна, пустились в пляс, под бойкую музыку гуслеяра и свирельщика, специально приглашенных сюда. И все прочие гости находились в необыкновенно ликующем настроении!

Леонтий, глядя на пьяные, раскрасневшиеся в жару физиономии, на хохочущих пузатых сановников и их жеманных супружниц, вспомнил отчего-то бой на Калалы, Платова и Ларионова, односумов. И тех казаков, что не вернулись с кубанской стороны и Кавказа. И не перезвон стал звучать в его ушах, а тревожный и протяжный набат, похожий на тот, что поднимал на смертельную схватку жителей Наургородка. И этот кавказский набат вытеснил прежнее приподнятое ощущение праздника. «Вас бы туда, где братушки-донцы полегли да терцы с гребенцами, – с негаданной обидой размышлял он, проведя свой полувзвод через толпу пьющих, орущих дармоедов, которые и пороха никогда не нюхали. И таким чуждым показалось всё здесь, нелюбым. Скорей бы домой, в курень родной. Там и воздух иной, и душе легче!..

Екатерина, несмотря на недомогание и крайнюю раздражительность, мужественно выдержала весь этикет и порядок великого торжества. Когда же царский поезд, выехав из Кремля, остановился у Пречистенских ворот, начались схватки, которые, к счастью, прошли, когда она с помощью «Гришулички» вылезла из кареты и пошла ко дворцу. Кружилась голова, но она по знаку церемониймейстера приостановилась, чтобы в знак всеподданства и преклонения четверо фельдмаршалов – Румянцев, Разумовский, Чернышев и Петр Панин – подхватили и понесли шлейф ее царственного наряда. И как ни была она густо напудрена, Потемкин, сопровождав-



ший ее карету на коне, а теперь шествующий рядом, с тревогой шепнул: «Тебе, матушка, нездоровится?» – «Рассуждать невозможно. Бог милостив», – едва шевельнула она обескровленными губами и – поощрительно улыбнулась иностранным посланникам, выстроившимся у дворцового входа.

В ночь на двенадцатое июля императрица благополучно разрешилась дочкой. О начавшихся родах Григорий Александрович узнал одним из первых и лично поставил у покоев государыни караул из гренадеров. Он был чрезвычайно взволнован. И в то же время благодарил Господа, что молебствие и праздничный прием минули, а всенародное гуляние на Ходынском поле подождет

Потемкин надеялся, что «милая Катюшка» подарит ему сына. Он мечтал о нем, которого непременно бы определил в полк, чтобы пошел по стопам батюшки... Но и знал, что мечте этой не суждено было сбыться...

С ведома и согласия Екатерины, новорожденную отъяли от нее и увезли из дворца. Отныне она передавалась на воспитание в дом племянника Григория Александровича, камер-юнкера и управляющего делами Императорского совета. Он, Александр, молод и смышлен и наверняка в тайне сохранил, кто отец и мать грудной Елизаветы, ибо сие есть государственная тайна...

А на Ходынском поле, ровно через неделю, императрицу встретили пушечной пальбой! И здесь была она еще благожелательней, чем в Кремле, хотя и выглядела бледной и заметно похудевшей. Сказывали, с матушкой Екатериной расстройство живота приключилось.

Специально выстроенные павильоны и строения, поименованные в честь отвоеванных турецких крепостей, были битком набиты людом. Рекой текло вино, подавались угощения. А вечером московское



небо озарилось высокими огнями фейерверков! На самом поле дивили ротозеев множество вертящихся огненных колес, селитровые свечки, брызжущие искрами, и фитильные щиты с разноцветными огнями. Поднебесное это зрелище царица, окруженная свитой, наблюдала с холма, где был главный павильон, размерами не уступающий иному дворцу.

Развеселые крики доносились снизу, с обширной низины, облюбованной простолюдными, которая поминутно озарялась фейерверками и иллюминированными щитами. Даже поздним вечером не унимались песни, водились хороводы и поскрипывали качели, – гулянью не было конца! В дальнем конце Ходынки, получившем название Барабинская степь, заиграли рожочки. Их чудесные переливчатые мелодии заставили Екатерину прислушаться. Постояв несколько минут неподвижно, она обратилась к приближенным:

– Сегодня я ходила по полю, среди простого люда. И заметила в глазах нескрываемую радость. Не для потехи нашей, а для народа сотворен праздник сей. Пусть знает и дворянство, и чернь, что нет для нас заботы выше, чем счастье и процветание государства Российского. И грандиозность празднества в честь нашей виктории заключает в себе смысл всем понятный: она под стать бескрайнему героизму сынов Отечества нашего! А прославление патриотов России дороже любых затрат, мило сердцу нашему и зело полезно на поучение молодых людей.

– Слава матушке Ее Императорскому Величеству Екатерине Алексеевне! – выкрикнул фельдмаршал Румянцев, растроганный словами императрицы.

Но она искренне поспешно возразила:

– Слава, друзья мои, может принадлежать только Державе. А сколь заслужена она, – зависит от каждого. Наши же помыслы и жизнь посвящены России!

Величья нашего зоря

Глава из романа

...Секретарь посольства Соединённых штатов Америки в Москве, он же спецпредставитель ЦРУ Лерой Лютенс оделся обычно для не слишком *о себе понимающего* москвича во втором, пожалуй, поколении. Выглядел он как раз на *среднестатистический зазор* между тридцатью пятью и сорока годами. Внешность, войдя в образ, имел самую нейтральную, то есть «русского вообще», без привязки к конкретному региону. И выговор не пойми какой, типичный для мест с неоднократно менявшимся за последнюю сотню лет классовым и этническим составом населения. Курской, например, области, или Новосибирской.

Образ был Лютенсом подобран и *обкатан* давно, вполне успешно – именно такие типажи, при всей их внешней колоритности, на самом деле привлекают очень мало внимания. И так всё понятно – оттянул рабочий человек смену, принял свою четвертинку и отправился в центр посмотреть, что здесь творится на самом деле. По телевизору всё равно ничего толком не скажут, а с наро-



**ВАСИЛИЙ
ЗВЯГИНЦЕВ**

Проза





дом потолкаешься, лучше всего – в пивной, и всё тебе разъяснят в лучшем виде.

С собой взял хорошо сделанный российский паспорт и, на крайний случай, настоящий, дипломатический. Не на своё, конечно, имя, а на то, под которым он въехал в Россию и засветиться ещё не должен был. Разве что в последние дни кто-то из контактов доложил, где следует, его словесный портрет, а то и фотографии представил. Тогда, если он действительно уже попал в какие-то проскрипционные списки (что, впрочем, очень маловероятно), могут быть серьёзные неприятности.

Что ещё нужно человеку, чтобы спокойно чувствовать себя на улицах российской столицы в любой ситуации? Правильно – деньги. В давно отработанном порядке разложил, чтобы невзначай не перепутать, по карманам рубашки и джинсов несколько пятидесятирублевых купюр, штук двадцать тысячных и некоторое количество мелочи – по пятьдесят, сто и пятьсот рублей. Само собой – пачечку сто долларовых в непрощупываемый при поверхностном обыске карман под поясным ремнём.

Всё же в городе кое в чём удобнее работать, чем «в поле». Не нужно таскать с собой рюкзак с множеством необходимых припасов, оружие и патроны. Даже пистолета Лютенс не имел, только совсем безобидный карманный «универсальный инструмент», обычный для любого мастерового мужика, только сделанный по спецзаказу и имевший в несколько раз больше весьма неожиданных функций, чем у тех, что продаются в магазинах.

И два телефона при себе было. Один – действительно телефон, хотя и сильно навороченный, а другой – классический шпионский аппарат. Это простым гражданам упорно внушают, что в наши дни шпионы ничем похожим на инструментальное оснащение

условного Джеймс Бонда середины прошлого века не пользуются. Им, мол, теперь обычного интернета и для добывания информации, и для тайных контактов с коллегами (на чём раньше их контрразведчики и ловили) вполне хватает. А если кого вдруг и ловят со всякими «камнями-контейнерами», так это официально никак не комментируется, зато вся свора либеральных журналистов поднимает согласованный вой об очередной провокации «кровавой гэбни».

Иногда даже жалко становится, что ребятам из этого «пула» едва ли доведётся лично познакомиться с методикой работы простых бесхитростных абакумовских ребят году этак в сорок девятом...

На блок-универсал «телефон» Лютенса не тянул, но всяких электронных премудростей, истинных вершин современной «суммы технологий» в него было напихано сверх меры. Только американцы в очередной раз сели в лужу, примерно, как с шариковой ручкой для письма в невесомости. Делали-делали её, ещё в конце шестидесятых, в расчёте на длительные космические полёты. Потратили несколько миллионов долларов на своё чудо техники, а потом на «Аполлон-Союзе» увидели, что хотя их «спейспенсил», заправленная спецпастой и снабжённая специальным компрессором для её подачи и работает, эти непостижимые русские, опять бросив вызов цивилизованному миру, легко обходятся копеечным «простым» карандашом. Это тоже к вопросу о стилях и способах мышления.

Если прикинуть практически, то в *обычной* обстановке функции всех тех гаджетов, что были спрятаны в «телефоне», легко и с *большим* эффектом исполняют отдельные специализированные приборы. А в ситуации *необычной*, то есть фактически для разведчика провальнoй, воспользоваться устройством не получится тем более: аппаратик просто отберут при



задержании. Случаев же, когда агент ЦРУ совершенно внезапно попадает в неведомые земли или, как «Янки при дворе...» в раннее средневековье, в анналах не зафиксированы. Но считалось, что такой прибор в принципе крайне полезен. Близкая к правительству фирма очень и очень хорошо на нём заработала.

Примерно так было в детстве резидента. Лютенс увидел в магазине «Вулворт» перочинный ножик с полусотней лезвий и иных приспособлений и страстно возмечтал стать его обладателем, но стоил он больших по тем временам денег, а отец субсидировать покупку отказался, объяснив, почему именно. Всеми правдами и неправдами Лерой предмет своей мечты всё же приобрёл и немедленно понял, что отец был прав – более бессмысленного и нефункционального предмета, чем этот нож, он в жизни не видел. И, кажется, до тех пор, пока он не затерялся бесследно, ни разу не воспользовался им по назначению, если оно вообще было.

По коридорам и внутренним лестницам посольского здания на Новинском бульваре Лютенс прошёл на первый этаж, занимаемый консульским отделом, и вскоре, через довольно захламленный участок коридора возле туалетов попал в вестибюль перед залом, где даже и сегодня томились в очереди сотни людей, чающих получить въездную американскую визу. Юдоль скорби, выражаясь библейским языком. Многие страдалцы добирались сюда даже и из-за Урала, чтобы после двухминутного собеседования через окошко, похожее на кассу провинциального кинотеатра, получить от злобной даже на вид, но прекрасно говорящей по-русски дамы отказ. Трагизма обстановке добавляли развешанные по стенам и над окошками таблички: – «Причины отказа в визе не объясняются, апелляции не принимаются. Повторное обращение рассматривается по истече-



ние года». Сколько же ругани, рыданий, тихих слёз и громогласных проклятий слышали эти стены! А казалось бы – хрена ли в той Америке? Не пустили – и слава богу. Можно в России подыскать занятие даже и поинтереснее, за те же деньги.

Кроме общего впечатления от реакции москвичей на провал очередной попытки «демократизации» (то есть свержения действующей власти, убийства Президента и установления непонятно чьей диктатуры) неприспособленного к этому общества, Лютенс хотел собрать личную, по-настоящему достоверную информацию, подтверждающую или исключающую слухи о вводе в Москву для подавления мятежа войск из некоей «другой России». Сама эта мысль казалась бредовой, но слишком многие, в том числе и сотрудники посольства утверждали, что почва под такими слухами имеется. Кто-то сам видел солдат в незнакомой форме, кто-то даже демонстрировал золотую монету, очень похожую на российские дореволюционные (точнее – до четырнадцатого года), но с новыми датами и профилем отнюдь не Николая второго.

Конечно, такой артефакт (или – попросту подделка), не есть доказательство потрясения основ мироздания, но тем не менее. Слухи множились, обрастая совсем невероятными деталями, официальные ТВ и пресса ничего не сообщали, а «жёлтую» переполняли материалы, в большинстве откровенно заказные и провокационные.

Неожиданности, не виданные в Москве с дней ГКЧП и «хасбулатовского путча» 1993 года и знакомые Лерою только по кинохроникам, начались сразу, как только он перешёл через подземный переход и вышел на Новый Арбат. Ведь это впервые с момента, когда стало известно о провале мятежа, разведчик осмелился выйти из посольства. Намёк посла о воз-



возможности его ареста он принял абсолютно всерьёз. Знал и возможности российских спецслужб, и подлую беспринципность соотечественников. Но из окон посольства обзор был минимальный, а телевизионщики репортажами с улиц отчего-то не увлекались, предпочитая транслировать официальные заявления, материалы зарубежных корреспондентов и новости «с мест», долженствующие уверить зрителей, что в стране есть куда более важные дела, чем нечто, напоминающее хулиганский налёт на президентскую дачу не вполне нормальных «отморозков».

Зато очень много времени уделялось скрупулёзнейшему разъяснению сути, смысла и исторической подоплёки теперешних антироссийских демаршей Запада, в особенности США.

Прежде всего, он увидел два военных блокпоста, размещённые один на Новом Арбате перед пересечением с Новинским бульваром со стороны центра, второй – на Садовом кольце, обращённый фасом к Смоленской площади. Они контролировали всю эту стратегическую развязку, явно имея в виду большое количество находящихся поблизости важных объектов.

Выложенные из больших, килограмм по сто мешков с песком, люнеты в рост человека, возле бойниц не только пулемёты «ПКМ» на треногах, но и АГС «Пламя». Четыре бронетранспортёра, установленные по осевым линиям проспектов, «валетом» – направив стволы тяжёлых башенных пулемётов в противоположные стороны. Грамотно поставлены – с тротуара не подбежишь и гранату не кинешь, движущиеся сплошным потоком, без интервалов машины помешают, а сам автомобильный поток сокращён до одной правой полосы в каждую сторону. Из машин рискнёт стрелять по постам только самоубийца – по всей ширине улиц демонстративно разложены широкие ленты с остры-

ми двадцатисантиметровыми шипами, из ряда не выскочишь, и пешком никуда убежать не успеешь. В поле зрения Лютенс сходу насчитал целых шесть парных патрулей с автоматами наизготовку. Видимо, порядок таким образом поддерживается как минимум по периметру Садового кольца. И мосты через Москву-реку наверняка ещё надёжнее блокированы.

Осадное положение в чистом виде, и в то же время особо в глаза не бросается, комендантский час, кажется, тоже не вводился. Одним словом, как русские выражаются – «повышенные меры безопасности». Лютенс подумал, что в Штатах в подобном случае меры безопасности выглядели бы, как лучше сказать – *истеричнее*, что ли, поскольку в каждом *тревожном случае* американские власти, полиция и даже армия начинают защищать, прежде всего, самих себя, не считаясь с законами и нравственными нормами. Всех прочих – только по остаточному принципу. Закон – полицейский и солдат имеют право стрелять на поражение в любом случае и по кому угодно, если сочтут, что **им** угрожает опасность.

Автомобильное движение, отметил разведчик, само по себе в несколько раз меньше, чем обычно. Люди, интуитивно оценивая обстановку, сами решились без нужды не рисковать, мало ли что: и машину под предлогом «особого положения» или чего-то ещё отнять могут, а то в заварушку какую влезешь... Пешком – оно надёжнее, или уж на общественном транспорте подъехать, куда нужно.

Прямо напротив поста Лютенс и остановился, благо, там же кучковалось ещё с десяток человек, все мужики, естественно, женщины сборищ с милитаризованным оттенком избегают, если не имеют непосредственного повода. А здесь для них повода не было. Мужчины, судя по всему – сплошь *отслужившие*, кто



солдатом, а кто и офицером, в возрасте от тридцати до шестидесяти и, что интересно, совсем никого там Лютенс не заметил из «креативного класса. Он тоже достал сигарету, присоединился к народу.

На самом деле жизнь агентурного разведчика, ориентированного на эффективную работу в тылу врага, весьма и весьма нелегка. Учиться и *поддерживать форму* нужно фактически круглосуточно. Мало знать язык, даже и в абсолютном совершенстве, на уровне хорошо образованного «носителя». Нужно прочесть *все* книги, пересмотреть *все* фильмы, которые должен был читать и видеть изображаемый персонаж в «стране пребывания». Поскольку сельских алкашей с тремя классами шпионы обычно не имитируют, приходится помнить анекдоты, имевшие хождение «от Ромула до наших дней», мгновенно и правильно реагировать даже и на намёки, на произвольно выдранные из контекста, зачастую искажённые цитаты. И по нескольким ремёслам и профессиям, свойственным человеку с конкретной легендой, уметь поддержать разговор на достойном уровне. И ещё владеть всей повседневной бытовой информацией, вплоть до слухов и баек годичной, месячной и недельной давности.

Поэтому Юлиан Семёнов и придумал своему Штирлицу довольно специфическую биографию, а «зафронтной» разведчик вроде книжного, а не настоящего Николая Кузнецова был бы разоблачён в ближайший час общения с любым немецким солдатом или офицером. И никакого гестапо или СД не надо – не среагировал мгновенно и правильно на какую-нибудь жаргонную фразу, не понял всем известной идиомы – и «вот всё об этом человеке». Диверсанты Скорцени, переодетые в американскую форму в сорок пятом в Арденнах, хорошо знающие «бытовой английский», палились, когда на заправках требовали «петроль», а не «ГЭС



Лютенс в этом смысле был из лучших. Он действительно прочитывал (или хотя бы просматривал) по несколько русских книг и журналов ежедневно (вроде Сталина, если верить тому, что пишет о нём в своих мемуарах К. Симонов). Несколько лет жил в столицах бывших советских республик, не пытаясь выдавать себя за русского из России, просто за иностранца, хорошо знающего язык и стремящегося его усовершенствовать.

Самое интересное – его нынешняя должность совсем не требовала такого «глубокого погружения». Обычному агенту под посольской «крышей» умения понимать язык на слух и без грубых ошибок на нём изъясняться было вполне достаточно. Так что Лерой Лютенс занимался как бы «искусством для искусства», или – своеобразным экстремальным спортом. Кому из нормальных людей действительно нужно забираться на Эверест или пересекать на вёсельной шлюпке Тихий океан? А ведь делают это тысячи людей, и постоянно.

Зато теперь Лютенс был уверен, что, как выражаются русские, «в случае чего» он спокойно может натурализоваться в этой стране, даже – занять достаточно высокий пост в организации или фирме, не слишком интересующейся всей подноготной своих сотрудников. Кто его знает – а вдруг и пригодится...

Мужчины рядом с ним говорили все сразу и о разном. Но тем и полезно участвовать в подобных стихийных сборищах, что невзначай можно услышать совершенно неожиданные вещи. Вот как сейчас...

– ГРУ это, зуб даю. Мы с грушниками в первую чеченскую плотно взаимодействовали, я их, где хочешь, отличу...

– Да чё ты гонишь, чё гонишь? Никаким краем не ГРУ, те совсем по-другому держатся. Это, похоже, из кавказских горных бригад контрактники,



видишь, какие береты... Этих бригад всего две, их совсем недавно сформировали...

Береты и вправду были необычные, светло-шоколадного цвета, с круглой кокардой спереди и трёхцветным шевроном справа. Такие же шевроны и на рукавах. Жалко, далеко от тротуара до середины проспекта, подробно не разглядишь.

– Чего зря языком молоть, – ни к кому специально не обращаясь, сказал плотный мужик лет сорока, подстать Лютенсу, только не рыжий с бледным веснушчатым лицом, как разведчик, а загорелый шатен. Заметно было, что он не совсем из гражданских – то ли недавний отставник, уровня прапорщик-мичман, то ли работает в каких-то полувоенных структурах. Очень характерны эти особого рода подтянутость, экономно-координированные движения и спокойно-уверенный взгляд.

С такими людьми хорошо дружить, по этой же причине они вызывали у цэрэушника естественное опасение и настороженность. Из-за того, что с ними нельзя расслабляться. Народ наблюдательный и себе на уме. Скажешь или сделаешь что-то не то – сразу заметят, а как среагируют – бог весть.

– Никаких таких штатных войск у нас до прошлой недели точно не было. Это я гарантирую, – уверенным, не предполагающим возражений голосом говорил мужик, дымя чем-то без фильтра, но не «Примой». Скорее «Лаки страйк» или «Кэмельом». – Или где-то очень хорошо прятались, или заново сформированы. Я слышал, будто на юге, в Ставрополе совсем новую армию по штатам военного времени разворачивают, может, оттуда. Из казаков преимущественно, с прежними правами и казачьими воинскими званиями.

Слова мужика Лютенса заинтересовали – появление в Москве неизвестных военных частей всегда заслуживает внимания, сейчас – в особенности.

Это только недалёкие люди, судящие по американским, насквозь пропагандистским (куда там советским), фильмам, где русских военных и милицмейских одевают в уродливую, ни на что не похожую форму с карикатурными знаками различия, думают, что за океаном действительно не представляют, что носит и чем вооружён «вероятный противник». Кому нужно знают, и назубок, до последней пряжки и значка классности. Лютенс тоже разбирался и не мог не согласиться со «знатоком».

Сейчас вмешаться в разговор – вполне мотивированно будет, и интереса маскировать не нужно, и эрудицией блеснуть можно, чтобы собеседников *раскрутить*... Очень удобная вещь – безадресный трёп в толпе, главное – палку не перегибать, не ошибиться в господствующем общественном настроении. Не стоит восхвалять «русский империализм» на Болотной площади и необходимость немедленной «демократизации по-американски» на Поклонной горе.

– Чего ты рассказываешь-то, чего рассказываешь? – повернулся к «знатоку» Лютенс. – Ну, формируют, сорок девятая армия называется, в газетах писали, так она чисто общевойсковая, только две отдельные горно-стрелковые бригады туда передали. И с чего бы это им форму меняли? Там только одна ДШБ «казачьей» называется. Чего-чего, а этого добра и старого хватает, знакомые ребята говорили, что ещё «сталинской суконной» на складах полно...

– Суконку давно моль поела, – скупое усмехнулся мужик. – А ты, видать, только газеты и читаешь, причём неизвестно какие...

Вот тут он в самую точку попал. Правильно Лерой таких, как он, опасается.

– Сейчас комдиву, а командарму тем более ничего не стоит позвонить кому следует, не говоря, чтоб в баньку сходить, а на Кавказе люди в этом толк по-



нимают, и завтра хоть цвет берета меняй на свой вкус, хоть знаки различия. Про значки, нарукавные эмблемы и кресты всякие самодельные я не говорю. Что, не обратил внимания – последнее время безо всякого приказа снова вместо штампованных «птичек», как у америкосов, сержанты начали старые наши лычки носить? Кто красные, а кто и галунные. Или эти, новые из Следственного департамента, на повседневную форму золотые погоны нацепили, как при царе... Сейчас по форме не суди, – с полной авторитетностью продолжал вещать мужик.

– Не об том базарите, парни, – вмешался ещё один «знаток и ценитель», помоложе, но тоже с глазами очень и очень неглупыми. И – цепкими. Что и напрягает здесь Лютенса постоянно. В Штатах всё просто и понятно – как в муравейнике, где каждая особь обладает интеллектом и манерами, соответствующими врожденной функции.

– Слышь, ребят, а может, просто кино снимают? Фантастическое, вроде «Обитаемого острова», – предложил вариант парень немного за двадцать.

– Хорошая мысль, только кинокамер не вижу, – ответил «прапорщик».

– То есть логически непротиворечивого ответа не просматривается, – заключил недавно подошедший немолодой мужчина преподавательского вида. Вообще толпа любопытствующих как-то сама по себе стала увеличиваться, как всегда бывает, когда в городском пространстве образуется своеобразная *ретенционная точка*.

– Естественно. Если б сейчас начали собирать народное ополчение – тогда любое оружие оправданно, какое под руками есть. А так...

– Вы не совсем правы, – возразил «интеллигент». – Я сторонник сократической логики. Мы с вами наблюдаем очевидность. Значит, нужно найти

ей непротиворечивое, причём простое и осмысленное объяснение...

– Ну-ну... – подзадорил кто-то из толпы.

– Интересно бы, – согласился «прапорщик». – Что невоенный человек придумать может.

– Я, к вашему сведению, капитан запаса, – вдруг обиделся «интеллигент», – «двухгодичником» честно *оттянул* командиром первого огневого взвода, то есть – старшим офицером гаубичной батареи под Хабаровском.

– Уважаю, – сказал «прапорщик». – Так что скажете, товарищ капитан?

– Кто-то вдруг решил, что для городских дел в нынешних обстоятельствах АК и его производные избыточно мощны и опасны. Шальная пуля и за километр панельную стену пробить может, особо если утяжелённая. А пистолет-пулемёт – совсем другое дело... Жильцы верхних этажей на той стороне проспекта могут быть спокойны...

– Не лишено, – согласился бывший морпех-разведчик.

– Только не верю я, что в нынешних обстоятельствах, при всей панике и суматохе кто-то такой ерундой заморачиваться стал бы. У нас проще – по площадям из чего придётся, – сказал «прапорщик».

– Вот чего-чего, а как раз паники и суматохи я ни сейчас, ни с самого утра не наблюдаю. Даже странно, – сказал бывший артиллерист. – Есть, правда, ещё одно объяснение, но слишком уж оно... Против Оккама.

– Кого против? – спросил «разведчик».

– Был такой монах средневековый, учил, что лишней херни придумывать не нужно, когда и имеющейся достаточно, – не задумываясь пояснил «прапорщик», чем вызвал удивлённое «хм?» «артиллериста-интеллигента».

– Да вы говорите, чего уж, нам сейчас и без всякого Оккама...



Что именно, «прапорщик» не пояснил.

– Говорят некоторые, что вообще не наши это люди. Из «параллельной России» к нам прибыли. Порядок наводить...

– Какой-токой «параллельной»? – с агрессивным интересом выкрикнул кто-то из толпы, постепенно всё разрастающейся.

– Ну, такой же, как наша, только рядом существующая, где ни революции, ни войн наших не было, «красных» сразу побили и царь там до сих пор правит. Вот, каким-то образом нашёлся проход оттуда сюда, они и двинулись...

– Да что ты там несёшь? Не бывает такого!

– Отчего же? До Колумба про Америку никто не знал, а когда открыл – разве кто-то удивился? Теперь представь, что там уже не каменный век, а вполне развитой капитализм. Только по морям плавать не умеют. Отчего-то. Отчего-то в Америке и лошадей, и колеса не было. А когда их «открыли» – собрались и двинулись, «новый» для себя свет открывать – вроде как с некоторой издёвочкой, но вполне серьёзно разъяснил «интеллигент».

Просто так взяли и двинулись?

– Значит, не просто, раньше уже было обговорено. Да ты сам посмотри, похожи они на наших?

– А давайте подойдём да спросим, – вдруг предложил Лютенс. – Чего нам? Сразу всё понятно будет. Если и не из «другой России», так всё равно ещё чего узнаем...

Американца мысль о «параллельной России» совсем даже не напрягала. Во-первых, разведчик должен быть готов сохранить самообладание в самой невероятной, по обывательским меркам, обстановке, а во-вторых Лерой ещё в молодости читал и Пола Андерсона, и Айзека Азимова, достаточно хорошо представлял, о чём речь идёт. Фантастика то

она фантастика, но, пусть и вопреки Оккаму, способна объяснить очень многое.

– Можно и подойти. Почему и нет, народ и армия едины... – согласился «прапорщик».

Все они, затеявшие этот разговор, и ещё человек пять заинтересовавшихся, недолго думая, двинулись вперёд, не дожидаясь даже, пока на перекрёстке загорится красный для машин, идущих по Арбату. Ничего, пропустят.

Лютенс хотел было присоединиться к группе, да вдруг расхотелось что-то. А он привык доверять своим эмоциям и инстинктам. Этим-то мужикам всё равно, терять нечего, и никто им ничего не сделает, а вот если кто-то из непонятных бойцов (или – осуществляющий их оперативное сопровождение) заинтересуется Лероем, можно неслабо залететь... Может быть, он и так уже давно «под колпаком» или «на крючке». Чёрт его знает, но в этой стране всеобщего бардака и коррупции иностранные агенты, тем не менее, попадают в лапы «кровавой гэбни» с вызывающей удивление систематичностью, даже и документы имея вполне надёжные, вплоть до прикрытия думскими мандатами, и спецподготовку, для столь *расхристанной* страны даже избыточную....

Разведчик оглянулся, и на глаза ему вдруг попала девушка на мотоцикле, стоящая у бордюра, опершаяся о него длинной ногой в потёртой и застиранной джинсе и ковбойском сапоге с заклёпками и имитацией шпор. Выше – тоже всё, как надо – куртка-косуха, на руках кожаные перчатки без пальцев, шлема нет, длинные волосы собраны в тугий конский хвост. Довольно симпатичное лицо по здешним меркам, по американским – Анжелина Джоли пополам с Николь Кидман, Шерон Стоун. Или кто там сейчас у двадцатипятилетних считается недостижимым в обычной жизни идеалом? Современное американское кино Лютенс знал плохо. Русское – лучше.



Лицо у девицы, как и положено байкерше – загорелое и обветренное, выражение иронично-пренебрежительно-вызывающее, нижняя губа чуть оттопырена, глаза прищурены. Но смотрит при этом на патрульные БТР и всё происходящее вокруг с истинным интересом, не позирует, поскольку приятелей по клубу рядом нет, а мнение остальной части человечества ей безразлично.

Мотоцикл хорош, хотя и не из самых крутых. «Кавасаки – Спорт-турист ZZR 400», движок четырёхцилиндровый, полсотни лошадей. По городу спокойно можно гонять по 100-120 км./час, а больше и не надо, да днём и не получится.

То, что нужно – осенило Лютенса. Прямо сейчас подойти, познакомиться, он этому хорошо обучен, срывов практически не бывало. Девица его не интересовала, не то время, чтобы на уличные флирты размениваться, а вот как средство передвижения... И для маскировки хороша.

Сделав два щелчка своим «телефоном», в данном случае в функции фотоаппарата, вслед отправившимся разговаривать с патрулём мужикам, с трансфокатором, сняв БТР, бойцов, их форму и автоматы, Лютенс, на секунду отвернувшись и прицепив на карман куртки бейдж «Пресса. «Коммерсантъ»», подошёл к девице, боясь только одного – газанёт сейчас, не дав произнести те несколько фраз, после которых уже никуда не денется – и поминай, как звали.

– Добрый день, девушка, – сказал он, нужным образом интонируя голос, чтобы она ни в коем случае не приняла его за уличного Дон-Жуана, вообще за человека, способного заговаривать с незнакомыми девушками без крайней на то необходимости. Свои сексуальные проблемы такие люди, как он, решают куда более цивилизованными способами.

– Привет, – без всякого дружелюбия ответила девица, но всё же ответила, и это плюс не ей, а Лютенсу. – Что надо? Я подаю только по субботам.

– Хорошо сказано, – одобрил Лютенс. – И не послала впрямую, и намёк рассчитан на более-менее умного человека. Не беспокойся, я не по этой части. На «ты» можно? Не люблю лишних церемоний. Всё равно ведь перейдём, так зачем зря напрягаться? Зовут меня Владимир Алексеевич, можно и Володя, если дальше продолжим общение. Журналист, как видишь, – он кивнул на свой бейджик. – Вообще я типа в отпуске, только сегодня приехал из Абхазии, а тут такое... Вот труба и позвала...

Байкерша ещё на пару градусов оттаяла. Неужели к ней так часто пристают, что постоянно держит имидж агрессивной неприступности? Вроде бы не должно так, она всё же из команды, таких задевать избегают все хоть чуть-чуть понимающие. Разве из этих... ЛГБТ? Жаль, если так. Лютенс, к слову сказать, как многие люди из спецслужб или армии, что здесь, что в Штатах, политкорректностью не отличался, а гомофобом вообще был стопроцентным. Библейская точка зрения на эту мерзость встречала у него полное понимание.

– Гонишь, – небрежно ответила девчонка. – Журналист? – она скривила губы, – и такой пендюшкой снимаешь исторические события? Это только для фэйсбука... Что я, настоящих аппаратов не видела?

О, ещё одна тема наметилась.

– Во-первых, я не фотокор, а писака, фрилансер. А про машинку не скажи. Эта «пендюрка» имеет пикселей раза в два больше, чем «Кэнон» с такой вот трубой, – он показал руками размер объектива. – И компьютер так чётко все параметры обрабатывает, что и фотошоп потом не требуется. Хоть постеры прямо с камеры печатай...



Он вскинул «телефон» и щёлкнул девушку крупным планом, успев сдвинуть колёсико на режим «портрет».

– Смотри...– показал байкерше дисплей, классического формата 9х12.

Снимок и вправду получился хорош. Даже при таком размере видно было. И цветовой насыщенностью, и композицией. Главное – выражение лица! Вот эта чуть пренебрежительная гримаска, приоткрывшиеся губы, смотрящие прямо в зрачки зрителю глаза, прядка волос, упавшая на лоб, своенравный поворот шеи. Кто осмелится сказать, что «Владимир» – не профессионал.

– Поймалась, девушка, – сказал он шутливо, но с особой интонацией. – Теперь так и будешь на меня со стенки над столом смотреть. И всем любопытным буду говорить, что ты – моё курортное приключение...

– А ну сотри сейчас же, – резко бросила девушка, глаза сверкнули грозовым проблеском. – Сам сотри, а то...

– Да зачем, хороший же снимок. И тебе подарю. А в сеть выкладывать не буду, мамой клянусь...

– Я что сказала? Стирай, или сейчас ребятам позвоню. Они доходчивей объяснят. И куда ты не денешься, раз я твоё издательство знаю. У нас в суд не обращаются, сами бьют, больно, без следов и свидетелей...

– Да ладно, ладно, сотру, если хочешь, – не то, чтобы испугался, а сделал вид, что просто не хочет «обострять» Лютенс. – Только давай я сначала его тебе перекину, на телефон, или на флешку, ей богу, хорошей работы жалко... И я вообще к тебе не за этим подошёл. Ты заработать хочешь?

– В смысле? Блядей в другом месте ищи...

Голос у неё был приятного тембра, невзирая на лёгкую хрипотцу, вызванную естественным

для мотоциклистки поверхностным хроническим бронхитом-фарингитом и ларингитом. Да и курит, наверное.

– Зря ты это, – совершенно искренне сказал Лерой, хотя воспитание российских девиц в список его приоритетов не входило. Но чем то она его *зацепила*, невзирая на его нынешнюю работу. Но это дело такое – если проскочила искорка, так независимо от классовых, национальных и идеологических факторов. Только что вообще ничего такого не думал, и вдруг почувствовал, что девчонка ему небезразлична. Впрочем, что за беда? Лишнее знакомство, да ещё в тех, весьма далёких от обычной либеральной тусовки кругах, отнюдь не помешает.

– Не идёт тебе, не к образу, хоть ты и байкерша. Рано или поздно настоящим мужикам матерящиеся девицы надоедают, раздражать начинают...

– Поучи ещё...

– Да зачем *мне – это?* Пусть тебя папа с мамой или будущий муж учат. Я просто как профессионал говорю. Вот распечатай дома свою фотографию, что я тебе сейчас отдам, а ниже припиши, как в комиксах, какой-нибудь приличный *загиб*, без пропусков и многоточий... По утрам посматривай – соответствует форма содержанию, или как...

«Значит, – подумал Лютенс, стоило увидеть симпатичную девицу, и сразу из меня наружу полезли *христианские ценности*. Вот уж воистину верно сказано – «Бойся первых побуждений, они, как правило, бывают благородными». А так всё нормально идёт, экспромты по-прежнему выходят качественно...».

– Держи, – девица достала из нагрудного (на симпатичной такой груди) кармана рубашки флешкарту, прицепленную к длинной серебряной цепочке.

– Сбрасывай. И сразу стирай, при мне...



Вот как раз тот редкий случай, когда шпионские возможности аппарата пригодились. Лютенс вставил флешку в разъём, скачал на неё фотографию, заодно переписал в память «телефона» и содержимое флешкарты целиком (может, что интересное обнаружится, сейчас молодёжь стала такая неосторожная, хранят в компьютерах откровения, что тридцать лет назад в зашифрованных записях личным дневникам не доверяли), ну и копию фотографии, естественно.

– Готово. Теперь смотри, – он выбрал в меню функцию «Удалить», показал девушке.

– Ну? Стираю?

Девушка упрямо сжала губы, кивнула.

Лютенс нажал кнопку. По экрану пробежала волна разноцветных ромбиков – и всё. Чисто.

– Варварство, – вздохнул Лютенс. – Словно своей рукой тебя из сердца вырвал. Слушай, у меня настоящие фотографии есть, давай в натуре фотосессию заделаем, опубликуем, а то и календарь отшлёпаем, с мотоциклами и вообще... Прилично заработать можно. Ты барышня очень даже нестандартная. Без всякой порнухи, просто красивые намёки... Неужто тебе до этого ни разу не предлагали? Не поверю? Ты ведь уже совершеннолетняя?

– Я всё-таки повторю тебе те слова, что воспитанные девушки не говорят. Давай, уё.. отсюда, *Володя*...

Интересная, прямо интересная девушка, и становится всё интереснее. А он ведь действительно её хотел одноразово использовать, сейчас же кажется – есть варианты поинтереснее. В своей конторе Лютенс слыл мастером вербовки, правда, в России ему ещё не приходилось особо блистать своим искусством: в тусовках «креаклов» желающие сразу, без преамбул продаться, и не задорого, могли бы составить очередь не короче, чем в консульском отделе посольства.

– Странная ты, – очень натурально вздохнул разведчик. – Другие на собственной свадьбе готовы догола раздеться и на столе танцевать, чтобы в календарь или «Плейбой» попасть. Тысяч за пятьдесят баксов, сама понимаешь. Но я чужие принципы уважаю. И подошёл к тебе совсем не за этим, и заработок куда поскромнее имел в виду...

Всё же, чем-то Лютенс девицу тоже задел, раз она до сих пор не уехала. Грубила, но слушала. Красавцем он себя не считал, внешность имел довольно простонародную, тело крепкое, рост 185 и вес 95, но на сорок свои не выглядел, что-то вокруг тридцати пяти – тридцати семи. Нормальный мужчина, любая женщина сразу поймёт, что – *надёжный*. Потому что взгляд не блудливый, не запуганный, не бегающий и не *масляный*, не похотливый. Умные дамы такие моменты сразу просекают. Да срабатывал и журналистский бэйджик, слова он подбирал неплохо, хотя и на чужом языке. Впрочем, когда нужно, он переключался без усилий, и думал по-русски, пожалуй, лучше, чем по-английски. Не американец же он – немец, мать тоже настоящая немка, причём из остзейских немцев, а это уже почти и Россия. Поэтому русский язык к его характеру лучше подходил, не зря же с самого начала он по-русски начал говорить совершенно без акцента, если, конечно, легенда другого не требовала.

– Ну и..?

– Думал попросить, если других срочных дел у тебя нет, прокатить меня на твоей швейной машинке по Колечку и по нескольким радиусам, где проезд не закрыт. Заплачу, как правильному таксисту, два счётчика. Могу добавить ужин в кабаке Дома журналистов...

В Домжур он её вести, разумеется, не собирался, там он за своего «не проканает», и пришла ему эта идея только что, но если бы вдруг согласилась, есть



места и получше, чем забегаловка на Никитском бульваре.

Всё же выпитые двести пятьдесят так до сих пор и не выветрились.

– За пару часов управимся, посмотрим, поснимаем и я явлюсь в редакцию с готовым репортажем... Оперативность, она дорогого стоит.

– Сколько? – вот тут девица впервые отреагировала без своих обычных грубостей, наверное, сочла предложение действительно деловым и не наносящим ущерба статусу.

– Ну, как ты сама оценишь? Кольцо – 16 км. длиной, радиусы, будем считать, ещё двадцать. Ну, на круг пять тысяч нормально будет. Да и если почасово – примерно то на то выйдет. Вдвое – значит, десять.

Девица сощурила зелёные, совершенно кошачьи глаза.

– Кольцо не шестнадцать, а девятнадцать, и поперёк него неизвестно, сколько ездить придётся. Плюс форс-мажоры всякие. Знаки, патрули, придурки на четырёх колёсах. Короче – тонна баксов вперёд. На ужин согласна, кабак сама выберу, насчёт интима и не заикайся. Сошлись?

– Ну, ты даёшь, – только и ответил Лютенс.

– А ты думал – дуру нашёл? Чего ж тогда, в натуре, такси не взял? Вон, – махнула она рукой в сторону Кольца, – лови любого, езжай. Я по-другому считаю. Оперативность – раз. Со мной ты проедешь, где никакая машина не рискнёт. Безопасность – два. Это я гарантирую, раз за работу берусь. Если что – убежим от кого хочешь, от вояк, от ментов – меня в Москве я и не знаю, кто поймать сможет. Я, между прочим, любого стритрейсера только так сделаю... Вдруг чего – могу для поддержки и эскорта десятков наших в полчаса собрать. А если ты свой репортаж сделаешь и проиллюстрируешь, штук десять можешь по-

лучить, нет? А уж если на Запад загонишь... Так что я, как соавтор, не много и прошу...

– Молодец, красавица. Ты точно и без интима на жизнь зарабатываешь. Тебя зовут-то как, представься, раз сговорились и на общее дело идём...

– Пока зови Рысь, а дальше посмотрим. Утром деньги, вечером стулья?

Лютенс засмеялся, сунул руку в карман.

– Рублями – хоть сейчас, а за баксами домой ехать надо.

– Давай рублями, по утреннему курсу. Тридцать три штуки...

Лерой поморщился, но достал из одного кармана шесть пятитысячных, из другого остальное, начал отсчитывать в руки девушки оговоренную сумму, и тут же взвыл матерно, правда – лишь внутренне. Кто ж мог рассчитывать именно на такую встречу? Хотел под «простонародье» покосить, а вышла встреча с очень неглупой девушкой, и включилась иная подпрограмма. Но дурацкие наколки на руках куда теперь денешь? Придётся мотивировать.

Или – вот так. Рысь как раз на них смотрела очень внимательно, принимая из рук «журналиста» весьма немаленькую сумму. Ну и он на неё посмотрел... Мол, я тебя за романтическую барышню принял, а ты – шкуродёрка и жлобка, можно сказать, штуку баксов рвёшь за «покататься по Москве».

Рысь этот посыл поняла и тоже ответила без слов, одними глазами.

«Другой ты бы те же деньги заплатил за куда более короткое удовольствие в постели. Думаешь, тяжёлую машину с придурком за спиной легче по городу гонять, чем ножки раздвинуть и смотреть в потолок, пока ты сопишь и хрюкаешь? А это – нормальная работа».

Что-то американцу подсказывало, что девушка живёт не сильно богато, а на его деньги теперь



легко месяц протянет, или «Кавасаки» столько же заправлять сможет

Рысь хорошо взяла с места, чтобы сразу показать свой класс.

– Слушай, ты это... Я тебя не автородео показывать нанял. Мне надо спокойно ехать, смотреть по сторонам, снимать окружающую обстановку и составлять в голове текст, – крикнул он ей в ухо, с удовольствием прижимаясь коленями и животом к её спине и бёдрам. – Изволь полсотни, и хватит.

– Полсотни, – фыркнула девица, полуобернувшись. – Я на такой скорости и не удержусь, набок завалюсь...

– Удержишься, я вон на велосипеде вообще на месте стоять могу... Давай, работай. Клиент всегда прав.

Неизвестно, что там Рысь бормотала себе под нос, но скорость сбросила. Ничего, останется одна – компенсирует полученный моральный ущерб.

За время поездки Лютенс увидел нового и интересного даже больше, чем рассчитывал. На самом деле, действиями оставшихся верными Президенту войск руководили очень компетентные и удивительно спокойные и выдержанные люди. Складывалось такое впечатление, что все планы «контрреволюции» были составлены давным давно, запечатаны в «красные пакеты» и розданы именно тем, кто заведомо не перебежит на сторону противника и не допустит ни минуты растерянности и промедления. Вообще это выглядело, как хорошо срежиссированный спектакль. И «положительные герои» и «злодеи» руководствуются написанным драматургом текстом и указаниями режиссера – как реплики и ремарки пьесы следует воплощать в разыгрываемое на театральных подмостках подобие жизни. В какую дверь на сцену выходить и какой рукой героине за сердце хвататься.

Ни один из местных руководителей заговора, ни силовики, ни представители «гражданского сектора» заведомо не предполагали, что на стороне Президента смогут оказаться вообще хоть какие-то вооружённые силы. Милиция и ОМОН с СОБРОМ были заблаговременно парализованы, заранее подготовленных армейских частей вообще не имелось, а инициатива «случайно не охваченного» командира среднего звена должна была быть подавлена в зародыше специально на то назначенными людьми. Для этого и линии связи прослушивались, и подготовленные группы снайперов и гранатомётчиков от «Зубра» немедленно бы пресекли выдвижение к столице каких-то стихийных энтузиастов. Все подходы к Москве легко перекрываются минимальными силами, если, конечно, наступление не ведётся в масштабах немецкой операции «Тайфун» осенью сорок первого года.

Это, кстати, отлично продемонстрировали сторонники Президента. Та информация, которую успел получить Лютенс, подтверждала участие в активных действиях против заговорщиков нескольких автономных групп общей численностью всего лишь до батальона, правда – великолепно натренированных бойцов, преимущественно офицеров. Неужели господин Мятлев, неприметный замминистра, таким джокером в рукаве оказался? Вот уж воистину, в тихом болоте...

Сейчас, побывав уже на пятнадцати заставах, блокировавших в основном площади на пересечении Садового кольца с главными радиальными магистральями, Лютенс видел, что Москва контролируется крайне незначительными силами. Пока он обнаружил всего три с небольшим десятка блокпостов, на каждом – одно-два отделения на лёгкой бронетехнике, плюс пешие патрули и мотоманевренные



группы, тоже по основным магистралям. Как ни считай – от силы полк штатной численности.

Патрули и заставы были сформированы из бойцов самых разных родов войск и служб. Лютенс фотографировал, используя трансфокатор, все попадавшие в объектив знаки различия на погонах, рукавах и петлицах, значки и эмблемы. Зачем – ему и самому было не совсем понятно, теперь то, в пустой след, но – действовал инстинкт разведчика. На одном ключевом перекрёстке, у Никитских ворот, он увидел группу морских пехотинцев, два отделения примерно, явно сверхштатно вооружённых преимущественно пулемётами, РПК и ПКМ.

«Эти-то как сюда попали? – машинально удивился Лютенс, – разве что на сборы какие приехали. Так не было сведений о проведении в Москве каких-то сборов с привлечением личного состава всяческих спецназов. Если б были – непременно такой факт отразился бы в планах и расчётах. В массе же на улицах преобладали солдаты-контрактники (судя по возрасту), в камуфляжах всех когда-либо использовавшихся в России расцветок. Попадались служащие вообще никак не идентифицируемых структур, которых объединяло только наличие оружия и сравнительно единообразной униформы.

Наверняка тут были чоповцы, эмчээсники, и вездесущие «ряженные», как среди либералов принято презрительно именовать казаков. Ряженные-то они ряженные, но воевать умеют, что показали ещё в «чужих» локальных войнах начала 90-х годов – Абхазия, Приднестровье, Чечня, даже Сербия.

Но в целом занявшее город воинство больше всего напоминало ополчение или заградотряды, что наскоро комплектовались из выходящих из окружения в сорок первом году остатков разбитых полков и дивизий. И, как в те первые дни войны, здесь свою роль эти импровизированные боевые группы сыграли.

Дело даже не в том, что пара-другая тысяч человек за несколько часов взяла под контроль гигантский мегаполис, давно и тщательно поделенный на зоны ответственности куда более организованных частей и подразделений, пообещавших заговорщикам помощь и поддержку. Лютенса поражала каким образом не объяснимая согласованность действий тех, кто выступил на стороне уже, казалось бы, списанного в тираж Президента и его «антинародного и кровавого режима».

Пожалуй, подобная информация будет иметь интерес не только для непосредственного начальства из Лэнгли, тут будет над чем задуматься и многозвёздным генералам из объединённого комитета начальников штабов. Феномен ли надличностной стихийной самоорганизации защитных сил власти (вроде биологического фагоцитиоза), или первый случай практического применения нового «организационного оружия»?

И вот ещё что до крайности удивило Лютенса. Москва митинговала, так, как ни разу за последние двадцать лет. Словно пыталась выговорить сразу всё, что накопилось и о чём молчала, то ли от лени, то ли от осознаваемой бессмысленности абстрактной болтовни. А сейчас будто прорвало. Люди собирались в любом мало-мальски подходящем просторном месте, желательно – с памятником или монументом в центре, чтобы было куда залезть. В конце восьмидесятых такое *толковище* постоянно действовало только рядом с редакцией «Московских новостей» – «рупора Перестройки» – на углу улицы Горького и Страстного бульвара, напротив памятника Пушкину, возле щитов с вывешенными полосами свежих газетных номеров. Как и тогда, спорили жаростно, до крика, но в то же время как-то уважительно, что ли, не с оппонентом как таковым,



а лишь с его тезисами. По крайней мере, скандалов, оскорблений и драк на тогдашних «гайд-парках» не отмечалось, и даже милиция на эти дискуссионные клубы не обращала совершенно никакого внимания. Люди вот именно что *свободно обсуждали* недалёкое будущее, которое тогда всем представлялось по-разному, но непременно светлым и радостным.

И сейчас, *на очередном витке спирали*, повторялось почти то же самое. Власть в эти *внутринародные* диспуты не вмешивалась, явно сознательно допуская этакое стихийное *вече*. Похоже, говорить сегодня можно было о чём угодно (или – о чём попало), хотя бы о том, что Президент захотел арестовать всех нынешних воров в законе и забрать себе «все-российский общак», а те ему в ответ и «намекнули».

Лютенс был полностью уверен, что кто-то наверняка фиксирует всё происходящее и получает сейчас бесценный материал для последующего анализа, осмысления и *использования в работе*.

Рысь сама остановила мотоцикл, когда они добрались уже до Красных ворот, раньше, чем Лютенс приказал ей это сделать. Она ведь смотрела вперёд, а разведчик больше по сторонам. То, что они увидели, её особо заинтересовало, хотя до этого девушка чётко исполняла роль водителя и не больше, даже во время остановок не вступая в разговоры со своим нанимателем.

Действительно, открывшаяся им сценка была интереснее, чем всё, что они успели увидеть на улицах и площадях за предыдущий час.

На этот раз стандартный пост из двух БТР-80 с отделением бойцов на каждом был укомплектован совсем уже необычными персонажами.

На крыше и башне одного транспортёра в вольных позах расположились модельного вида девушки, ничуть не уступавшие шармом Рыси. На левых

рукавах – трёхцветные угловые шевроны, выше них – чёрные овалы с белыми черепами. Погонных хлястики на плечах у всех с офицерскими звёздочками, у кого по две, у кого по три. На алых беретах – бело-чёрно-жёлтые кокарды. Что-то весьма непонятное – в российской армии Лютенс не знал войск с такой атрибутикой.

Хороший кадр для какого-нибудь полужанрового фильма. В реальности так не бывает. Разведчик, специализирующийся на организации всяческих революций, «цветных» или «календарных», волей-неволей должен знать не только, как писал Ленин, «её движущие силы и социальную опору», но и возможности действующей власти по их предотвращению. В том числе – и вооружённой силой. То есть, знать о существовании и реальных возможностях всех без исключения вооружённых и военизированных формирований с той и другой стороны.

Лютенс считал, что владеет вопросом в совершенстве. По крайней мере – лучше, чем военный атташе американского посольства в Москве контр-адмирал Стивен Эмброуз. .

Так вот, по сведениям Лютенса, в нынешней действительности никаких вооружённых сил, способных противодействовать мятежу, у Президента не было, и уж тем более, некому было отважно и решительно командовать усмирением, если бы что-то и нашлось!

Однако – факт налицо! Неизвестно откуда взявшиеся войска – вот они, а вполне реальные ещё вчера «Зубры» и прочие – кто в могиле, кто в бега подался, кто затаился до прояснения обстановки.

Лютенс был абсолютно уверен, что женских офицерских подразделений спецназа в нынешней России просто нет. Бывало, что в боевые части принимали какое-то количество контрактниц – специа-



листок тех или иных профессий, но чтобы существовали целые строевые взводы и роты – нет. Такое было только в маоцзедуновском Китае, когда во время войны с Вьетнамом особые женские батальоны прославились зверствами, до которых было далеко всяким гитлеровским «Нахтигалям» и «Бранденбургам».

Кроме того, такого сочетания знаков различий и эмблем в российских вооружённых силах Лютенс не видел ни в одном справочнике. Разве что за несколько суток **до** попытки переворота **уже были** сформированы спецвойска с прицелом на будущее. И – никакой информации никуда не просочилось, при том, что заговорщики присутствовали в буквальном смысле **езде**, вплоть до райотделов милиции, и уж тем более – любых отделах и управлениях МГБ, территориальных и федеральных.

Опять же – девушки с погонами лейтенантов и старших лейтенантов были вооружены, кроме пистолетов в кобурах, очень похожих на те, что носили советские офицеры в Отечественную войну, уже виденными автоматами типа «ППС».

Очень, очень интересно.

Но ещё интереснее выглядели патрульные со второго бронетранспортёра. У этих незнакомым было всё вообще – расцветка униформы, не камуфляжная, а однотонная, необычного зеленовато-песочного оттенка, эмблемы и нашивки а главное – сапоги. Именно сапоги, а не шнурованные ботинки, принятые нынче в большинстве армий. Погоны такие же, как у девушек, но эмблемы и кокарды другие. Вместо черепов с костями на обоих рукавах белые металлические щитки заострённым краем вниз, окантованные чёрно-оранжевой лентой. В центре скрещенные старинные ружья, георгиевский крест и стилизованные под *полуустав* красные литеры «Ш» и «Г». А оружие – автоматы, напоминающие знаменитые «ППШ», прежде всего своими круглыми патронными дисками.

Только покороче, изящнее, с воронёными рамочными прикладами, стволы – в цилиндрических дырчатых кожухах, как на английских «Стирлингах» или немецких «Рейнметаллах». Вообще ощущается стилистика двадцатых-тридцатых годов прошлого века.

Опять та же история – элитные, по всем показателям, неизвестного происхождения и назначения части, а оружие из музеев? Или – из каких-то спецлабораторий? Возможно, и не огнестрельное даже...

Вдобавок, для полноты картины революционного города, во все времена поразительно схожей, хоть Петрограда семнадцатого года, хоть Парижа тысяча семьсот восемьдесят девятого или восемьсот семьдесят первого, перед небольшой толпой, человек с полсотни, забравшись на высокий цоколь дома, витийствовал явный *революционер*. Тоже весь такой типичный, «юноша бледный со взором горящим». Очки, само собой, длинные каштановые волосы собраны в «конский хвост», под расстёгнутой джинсовой курткой грязноватая белая майка с плохо читаемым издали длинным, похоже, не на русском, лозунгом.

Простирая руку в сторону заставы, кричит срывающимся голосом. До Лютенса с Рысью доносятся только обрывки пламенной речи: – «Кровавые сапраны! Не допустим, не потерпим чужаков! Оккупация! Пусть лучше приходят войска ООН, даже НАТО! Свобода! Демократия! Люди вы или бараны?!...».

Последние слова кого-то, наконец, задела, парня дёрнули за ногу и он неуклюже свалился со своего постаменты. Расшибиться, упав плашмя или вниз головой, ему всё же не дали, поддержали в несколько рук и он продолжил свою филиппику на тротуаре, прижавшись спиной к стене и размахивая уже двумя руками.

Непонятные бойцы на броне смотрели в сторону происходящего с интересом, но никакого намерения вмешаться не демонстрировали. Словно бы даже не понимали языка, на котором парень кричит.



А Лютенсу сразу вспомнились слова «интеллигента» с Арбата. Насчёт «параллельной России». Если это так, то все вопросы снимаются, всё становится на свои места. И с формой понятно, и с оружием, даже с тем, как всё у Президента ловко получилось. На самом деле – имея в своём распоряжении подобный «Иностраннный легион», ничего не стоит за сутки провести свою контроперацию. Только как в это поверить? В единый миг принять как данность, что мир изменился кардинально и навсегда, что теперь начнут действовать совсем другие законы и расклады. И не в Москве только, с Москвы лишь начинается. Всё, всё ложится в пазл – и разгром мятежа, и «Обращение» русского Президента, и эти красавицы на броне, каждая из которых без труда получит миллионный контракт в Голливуде. Только у них, наверное, есть свой «Голливуд», и какие же *дивы* снимаются там, если *такие* – в пехоте служат?

– Ты что-нибудь понимаешь, Рысь? – неожиданно для себя спросил Лютенс, как бы забыв, что этим вопросом почти что расшифровал себя. Какой это русский мужик его возраста, да ещё репортёр, спросит у молодой девушки такое в предложенных обстоятельствах?

– Понимаю, – так же неожиданно ответила та, смерив разведчика взглядом явного превосходства. Или – сочувствия. – Они все *не отсюда*. Сам ведь уже понял, ещё там, на Арбате. Нет?

– Что за ерунда? В каком смысле *не отсюда*? А откуда? С Марса?

– Долго в Абхазии был? – неожиданно спросила байкерша.

– Две недели, – машинально ответил Лютенс.

– Отстал, ясное дело. Ну, раз репортёр, можешь их самих спросить. Девочки такому симпатичному кавалеру не откажут... – довольно двусмысленно



прищурилась, чуть скривила уголок рта. Где-то разведчик именно такую мимическую формулу уже видел. Но где? Вспомнить это показалось вдруг очень важным.

– Напрямую ты их спросишь, или *из-за угла* – другой вопрос, продолжала Рысь. – Ты ведь, *Володя*, имей в виду – я почти кандидат нейрпсихологии. Зимой защищаться должна. А катаюсь – мозги проветрить, или женишка, вроде тебя, подхватить...

Последние слова Лероу вдруг резко не понравились.

– Для меня человеческая этология – открытая книга. Да вот хоть на взгляды их пристально посмотреть. Ты наших туристов, впервые в Таиланд или Камбоджу попавших – видел? Вот и эти так же по сторонам смотрят. Не знаю, в «таёжном тупике» они до вчерашнего дня жили, или в Парагвае – но Москву и людей рассматривают, как храмы Ангкора... Неужели ты – сам не видишь? В их годы, с их внешностью – так на вполне заурядный уголок Москвы не смотрят.

– Да чёрт его знает! Просто под таким углом, как ты – не задумался. И словам того мужика значения не придавал, пропустил мимо ушей и внимания. Я привык с другой точки всё рассматривать. Любое происходящее событие – кому-то выгодно, кем-то организовано, стало результатом чьей то глупости или халатности. «Что, где, когда?» одним словом. А мистика у нас по разряду других изданий проходит. То, что сейчас в Москве – оно происходит безусловно и самоочевидно...

А сам подумал – «Вот тебе и институт паранормальных явлений!». Хотя при чём тут этот институт – по-прежнему не представлял.

Заодно он успел удивиться, что его новая знакомая, действительно по виду типичная байкерша – почти кандидат, по западному – «доктор философии». Там психология, как и многие другие,



«общественные» науки скопом числятся по разряду «философии». И пометка «доктор философии» на визитке или в личном деле котируется значительно выше, чем, скажем, «физики» или «биологии». Наверное потому, что у американцев с «общим интеллектом», на уровне нации как таковой – не очень, вот и кажется им самая заумная из наук (да и наука ли вообще?) вершиной человеческого разумения. И «оклады жалования» эти самые «философы», в отличие от России, научились себе выколачивать повыше, чем у медиков даже. В любой корпорации «Dr. ph.» с руками оторвут, на любую, считая должность, кроме юридической, конечно. Сам Лютенс, кстати, такую приставку к фамилии в визитке тоже имел.

Но вот Рысь – «доктор философии»?! Это уж никак не вязалось. Он снова подумал о разнице менталитетов. В Штатах женщина-пилот боевого истребителя или командир крейсера никого не удивляет, удивляло бы другое (и послужило поводом к долгому судебному разбирательству), если бы девицу не приняли в военно-морское училище и потом из-за «половой принадлежности» тормозили в продвижении по службе. Но при этом никому в голову не придёт повторить про американку (современную американку), что она «коня на скаку остановит и т.д.». Вот засудить за «харасмент» – любого засудит.

Потому и девицу-байкершу совместить с почтенной дамой-философией никак не получалось, разноплановые это явления. Но не для России.

– И как же «наука о наиболее общих законах бытия и мышления» нам данную гипотезу растолкует? – несколько ёрническим тоном, чтобы замаскировать свой прокол, спросил Лютенс.

– Никак, – спокойно ответила девушка, – слезай. На месте выяснять будем. Мне тоже интересно. Что за *новые русские люди* появились в моём привычном русском мире.

Эффектным движением гимнастки, пронеся правую ногу над баком и рулём (Лютенс такого никогда не видел, наверное, фирменный стиль в её банде, или – личное «ноу-хау»), соскочила на асфальт, пару раз полуприсела, разминая затёкшие мышцы.

– Подойдём да спросим, чего проще. Всегда надо идти навстречу проблеме, а не рабски следовать за ней, – назидательно сообщила Рысь, возможно, что и тезис из своей диссертации.

Лютенс всё это знал очень хорошо, сам в таких акциях участвовал, потому и шевелился у него в глубине души вполне естественный вопрос: – А что будет, если русские на самом деле станут такими, как о них пишут в «цивилизованном мире»? Вспомнят свой древний анекдот: – «А хай клеветают», и – плюнут на свою «всесветную отзывчивость». Становилось страшно-вато, вспоминалась весна сорок пятого года в русской оккупационной зоне Германии (как её освещает не тогдашняя – нынешняя американо-европейская пресса и наиболее оголтелые из российских либералов).

В данной же ситуации всё, чего можно ждать от этих вполне мирно настроенных, хотя и держащихся настороженно людей – пошлют по популярным в России адресам, в худшем случае – проверят документы, чего Лютенс совершенно не боялся. Он ещё не встречался с ситуацией, чтобы русские офицеры, солдаты и иные должностные лица с журналистами, даже в разгар реальных боевых действий, как, скажем, на русско-румынской войне девятого года в Приднестровье, обходились без должного уважения. В крови у них это: – «Нас не трогай, мы не тронем, а затронешь – спуску не дадим».

– Ну, давай подойдём, – согласился он. – Я спрошу у девушек, откуда они прибыли и предложу сфотографироваться для первых полос самых популярных газет. А ты с мужиками пококетничай, спроси,



что это за автоматы у них такие необычные. Ты мол, сама КМС по стрельбе, а таких никогда не видела... И вообще, как им Москва показалась, ну, будто ты заведомо знаешь, что они здесь в командировке. В Чечню ведь и ОМОНЫ, и армейские группы со всех концов России гоняли, и никто из этого тайн не делал. Сам, помню...

– Ну, кокетничать у меня вряд ли получится, а спросить – спрошу. Только тогда я уже в качестве соавтора буду. Так и напишешь – репортаж такого-то и такой-то. Ву компрене?

– Же компран бьен. Пошли. Но только теперь я тебя на законном основании везде первыми планами снимать буду. Гонорар и за сессию пополам, – кивнул Лютенс, а сам подумал, до чего же меркантильная девка. По-русски подумал и тут же внутренне рассмеялся. Если бы он думал по-английски и на месте этой Рыси была американка – всё было бы правильно, за каждую сделанную или обещанную работу нужно запросить всё, что можно, и добиваться этого, «не жалея ни матери ни отца». Вся разница, что в цитированной поговорке речь шла о «красном словце», а не о чёрно-зелёных долларах. И когда думаешь по-русски о русской девушке, красивой к тому же вельми, мысль о том, что она тоже хочет урвать свою долю, причём в валюте, а не в виде чего-то возвышенно-эфемерного, кажется странной. Неправильной.

А Рысь ещё подбавила, в своём неизъяснимом байкерском стиле: – «Только фотошопом меня не раздевай и на фотку глядя, не онанируй...».

Лютенс натурально окончательно обалдел, но остатками своих «цээрुшных» сил сохранил видимость выдержки. У нас, у русских, мол, уверенная в себе баба и не то может сказать чуть ли не любому мужику.

Он показал «цветнику на броне» (а что, хороший мог бы быть заголовок для статьи, вздумай он её на

самом деле писать), журналистскую карточку и тут же обратился к старшей по званию из присутствующих, изумительно красивой (даже рядом со своими однополчанками) девушке в сильно сдвинутом на правую бровь берете, с тремя звёздочками на погонах: – Товарищ старший лейтенант, моим читателям будет очень интересно узнать, каким образом такие восхитительные барышни оказываются в рядах наших защитниц. Даже я о «женских батальонах смерти» с времён Керенского не слышал. Вы могли бы украсить любой подиум, демонстрируя летящие наряды из прозрачного шёлка, а вместо этого стоите на броне в центре Москвы и, наверное, цитируете про себя Маяковского: – «Сдайся, враг, замри и ляг...». Вы дадите мне хотя бы совсем кратенькое интервью? Совсем-совсем. В сопровождении броских фотографий оно завтра сделает вас и ваших подруг знаменитыми на всю страну и далее...

– Трепач, – сказала другая девица, с пышными, несмотря на короткую стрижку, золотистыми волосами и беретом, засунутым под погон с двумя звёздочками. Она сидела, опираясь о ствол КПВТ и свесив ноги вдоль наклонного броневоего листа в зелёно-рыжих камуфляжных пятнах.

– Нехорошо так выражаться, – зацепился за первое же сказанное в ответ слово Лютенс. Неважно какое, главное, что диалог начался. Остальное – дело техники. Он тут же сделал два снимка – один первой девушки, второй – этой. Заодно и бортовой номер транспортёра прихватив. – Я значительно старше вас, нахожусь на работе и сказал только истинную правду. А вы, товарищ лейтенант, – это уже непосредственно златовласке, – не согласны с тем, что ваш портрет способен украсить стену над любой солдатской койкой в казарме? Сам служил, знаю.

Ответом ему был дружный смех всего девичьего отделения. Очевидно, он невзначай затронул какую-



то деликатную тему, имеющую непосредственное отношение к этой «товарищ лейтенанту».

– И о чём же вы нас собираетесь интервьюировать? – без запинки выговорила сложное слово «старшая лейтенант», явно здесь главная, тоже присаживаясь на край броневого свеса, чтобы было удобнее слушать и отвечать.

– Да о чём угодно, в пределах дозволенного военной тайной. Кто вы, как зовут, откуда... Ваши впечатления от происходящего... Не участвовали вы в интересных боевых эпизодах в «горячих точках»? То же самое касается любой из ваших подчинённых. Всем же интересно, что чувствуют такие прелестницы, как вы, если их посылают на неожиданное и весьма опасное задание. Читательницам будет очень интересна такая вот *оппозиция* – пока они посещают фитнес-клубы и модные рестораны, вы – ничем им не уступающие, а во многом и превосходящие, с автоматами в руках патрулируете Москву, не боясь испортить свой маникюр. Кстати, а что у вас за автоматы? Я на своей службе таких не видел. И эмблемы у вас интересные... – и снова щёлкнул камерой, беря самым крупным планом девушку с лежащим поперёк коленей «ППС»...

– А это мы сейчас объясним, в деталях и с подробностями, – услышал за спиной неожиданный мужской голос Лютенс. Он как-то не ожидал, что с прикрытого Рысью направления к нему подойдут так бесшумно. И ведь на лицах девиц-офицерш, которые сверху всё видели, не дрогнула ни одна чёрточка. Специалистки, мать их...

– Объясните? Я с удовольствием, – не теряя куража, обернулся разведчик. Перед ним стоял офицер, в той же форме, что и у парней с соседнего БТР, с четырьмя зелеными звёздочками на погонах. Этот самый загадочный «ШГ». Пистолетная кобура, подвешен-



ная у поясу по-немецки, слева, была расстёгнута, из неё виднелась довольно массивная рукоятка с желтоватыми костяными, а не пластиковыми щёчками.

– Большого удовольствия не гарантирую, – без улыбки или иной эмоции ответил капитан, в глазах которого, теперь Лютенс сам отчётливо это видел, плескалось что-то настолько *нездешнее*... Это трудно объяснить, но так оно и было – офицер носил русские погоны, говорил по-русски без акцента, но был страшно далёк отсюда. В его взгляде словно бы отражалась совсем другая жизнь и другая история. Лютенс не мог объяснить, как он почувствовал это, но ему не раз и не десять приходилось видеть нечто подобное. Например, разговаривая с очень прилично владевшим английским вождём банды очередных сепаратистов на юге Африки. У того тоже был взгляд посетителя террариума, если смотреть на него *с той стороны* стекла. Так тот хоть был чёрным...

– Документы ваши предъявите...

Лютенс нашёл глазами Рысь. Байкерша стояла у второго БТРа, и о чём-то оживлённо говорила с офицерами на броне. Обострённым чувством он отметил и ещё одну странность – этих двадцати пяти – тридцатилетних парней словно бы совсем не интересовали красотки с соседней машины, а вот мотоциклистка вызвала у них неприкрытую тягу «распускать хвост». Объяснить это можно было только одним – лейтенантки на БТР номер 87 были «свои», а эта – нет. Чем всегда и везде интересна женщина чужого племени? Да тем, что соответствующие структуры подсознания сразу распознают в ней наличие «чужого генотипа», и все органы, для того предназначенные, пытаются выяснить – полезным или вредным он будет для продолжения рода? Есть какой-то механизм, почти безошибочно вызывающий к «чужачке» симпатию или антипатию вплоть до острой ксенофобии.



Рысь, похоже, оказалась этим непонятным солдатом вполне «комплементарна».

– А в чём, собственно, проблема? – как можно спокойнее, чтобы не провоцировать скрытые комплексы и синдромы непонятого офицера, если они есть, спросил Лютенс, снова вытаскивая корреспондентскую карточку. Приходилось такое видеть – на вид вполне нормальный человек, но, услышав некие слова, имеющие для него значение «спускового крючка», превращается... Да бог его знает, во что он может превратиться...

– Я, кажется, ничего не нарушаю. Занимаюсь своей работой. Закон о свободе информации разрешает сотрудникам СМИ получать её любым законным способом. А у вас тут нигде не написано, что запрещается приближаться и задавать вопросы. Напишите: – «Стой! Запретная зона. Из-за нехватки патронов предупредительный выстрел не производится». А иначе – простите. И представьтесь, пожалуйста...

В подобных случаях чем увереннее держишься и сразу начинаешь «качать права», тем лучше. Неплохо ссылаться на всяческие нормативные документы и акты, с датами и номерами, независимо, существуют ли они на самом деле. Вроде того солдата из армейской побасенки: – «В Уставе, товарищ генерал, сказано – на мосту честь отдавать не положено».

Похоже – шутка с нехваткой патронов офицеру понравилась. Будто впервые услышанная. Он широко улыбнулся и тут же снова посерьёзnel.

– Представлюсь – с удовольствием. Штабс-капитан Колосов, командир роты отдельного батальона штурмгвардии. А вы кем будете? – спросил офицер, не делая даже попытки заглянуть в удостоверение, которое держал в руке. Оно, похоже, его совсем не интересовало.



На стандартно-некультурный вопрос имеется в запасе безукоризненно-грамотный ответ: « Да тем, наверное, кем и до этого, таким-то и таким-то...».

Только ещё в уме, перед тем, как соскочить на язык, фраза увяла.

Стоп-стоп, что этот офицер только что сказал? Штабс-капитан, штурмгвардия? С какого это края такое..?

– Ещё раз прошу прощения, товарищ... или – господин... штабс-капитан? Не поясните ли? Я, может, за последнее время от жизни отстал? В отпуске был, прозевал что-то? Министра обороны за подрыв боеготовности вроде бы даже расстреляли, это я вчера слышал, а чтобы тут же и воинские звания поменяли... И – штурмгвардия. Первый раз слышу. Не поясните?

– Только к этому и стремлюсь. Прошу вас...

Колосов показал рукой и Лютенс увидел, что позади БТРа уже стоит синий минивэн с гостеприимно сдвинутой широкой боковой дверью. И Рысь делает приглашающий жест, и одна из девчонок на броне, сверкая голливудской улыбкой, машет раскрытой ладонью. «До скорого, мол...».

Он сел на заднее широкое сидение салона, отделённого от водительского отсека непрозрачной переборкой, Рысь, которой Колосов передал документ «журналиста» – в кресло рядом. Дверь автоматичеки задвинулась, штабс-капитан, оставшись снаружи, отдал честь, совершенно так же, как это делают здешние офицеры, может быть – несколько резче и чётче. У американских и европейских офицеров, кроме немцев, конечно, этот жест выглядит довольно карикатурно, или просто неуклюже. Как и строевой шаг, впрочем.

«Интересно, – подумал Лютенс, – на арест не слишком похоже, ни конвоя, ни обязательного обы-



ска. А если у меня пистолет, или хотя бы нож в рукаве? Девчонка, хоть и крепенькая, мне ничего сделать не успеет...».

– А толку-то тебя обыскивать? – немедленно ответила на произнесённый вопрос Рысь. Всё-таки – паранормальные явления имеют место быть?

– Не с дураком же имеем дело. Пока, обрати внимание, ситуация остаётся в статике. В реальности ничего не меняется, пока причина не получает зафиксированного следствия...

– Интересная формулировка. Вроде того, что быстро поднятое считается не упавшим? – постарался попасть в тон Лютенс, а про себя подумал, что так оно и есть. Если, не выходя из машины, байкерша сумеет добиться от него желаемого, хотя бы подписки о сотрудничестве, в его повседневной жизни ничего не изменится. Вернее – уже изменилось так, что пора думать, как в новой жизни устроиваться. И очень может быть, что напротив, ничего плохого ему не сделают, а положение (Лютенс) в своей служебной иерархии только упрочится. Уж наверное, раз местное МГБ или какая там организация обратили внимание на сотрудника ЦРУ и американского посольства, то не преминут поспособствовать свежезавербованному агенту в продолжении карьеры. Есть у них, наверняка, «агенты влияния» в Вашингтоне на самом верху...

Но пока, действительно, не произошло ровным счётом ничего «необратимого». Нужно только слушать и соображать, как бы не просчитаться. Он ещё не решил, как себя выгоднее повести. Будет зависеть от того, что произойдёт между ним и этой *суперзвездой* в ближайшие полчаса. Но как же она так сумела его *вычислить*? И что на улице в этот самый момент выйдет, и что к блок-посту подойдёт, и к ней обратится?

– Именно так, – немедленно отозвалась девушка будто действительно читала его мысли. – И в



гораздо большей мере не является шуткой, чем ты способен это вообразить. Так что, согласен разговаривать по делу?

Разведчик неоднократно сталкивался с людьми, умевшими думать «за собеседника» и в нужный момент отвечать на произнесённые слова, да и сам таковыми способностями обладал на примитивном уровне. Но эта Рысь! Психолог высшего разряда, прямо тебе Каабланка или Моцарт, от рождения умевшие то, чему другие не могли обучиться за долгие годы...

Машина в это время вывернула не на Черногрязскую, как ожидал Лютенс, а свернула в проезд, ведущий в сторону Мясницкой и начала крутить по бесконечной и непостижимой для постороннего человека паутине переулков самой что ни на есть исконной Москвы, где почти и не ощущались последствия пятнадцатилетней архитектурной шизофрении вереницы московских градоначальников и их подручных. Машин только многовато, сплошными рядами припаркованных почти вплоты к стенам домов с обеих сторон. Ехать почти невозможно.

Рысь опять угадала его мысль, перехватив направление взгляда.

– Ничего, с этим мы скоро разберёмся. Город должен быть для людей, а не для машин...

– А куда денете людей, для которых смысл жизни в обладании машинами? – неожиданно для себя спросил Лютенс, будто оставаясь в образе журналиста, пишущего на социальные темы, хотя ему следовало бы думать о совсем других вещах. – Многие ведь не для того всё это железо на последние гроши покупали, чтобы по-прежнему на метро ездить. Для них это единственный символ «успеха».

– Ты мне ещё расскажи о праве личности «на свободу и стремление к счастью». И о том, что ни-



когда не бывал за границей. Там ведь принимается решение о запрещении парковок и даже вообще движения по тем или иным улицам, и никто не страдает по поводу ущемления прав тех, кто непременно желает ехать и стоять именно здесь, а не где-то в другом месте. Моя б воля, я внутри Садового кольца позволила бы ездить только общественному и технологическому транспорту. Но тебя, правда, это сейчас волнует? – на своём безупречно правильном и безоговорочно красивом без всякого макияжа лице Рысь изобразила искреннее удивление.

– Меня ещё вот что волнует – деньги-то ты с меня взяла, а условие, кажется, не в полном объёме выполнила. Это правильно?

– С чего ты взял, что не выполнила? – приподняла бровь Рысь.

– Ну как же? Я так понимаю, арест, или *задержание*, по какой там статье проводить будете, не знаю, автоматически ведёт к прекращению предыдущих правоотношений, поскольку статусы сторон коренным образом меняются...

– Беда с этими американцами, с рождения все контужены своей *юриспруденцией*. Проще нужно на жизнь смотреть, как в *этой* стране принято. И кто тебе сказал вообще, что наши *правоотношения* изменились?

– Ну, как же... – начал Лютенс и прикусил язык. Чуть не проболтался окончательно, впрочем, чего уж там, проболтался – не проболтался, разве в этом дело. Просто он сразу начал себя вести с девушкой именно как задержанный американский разведчик, а не оскорблённый произволом отечественный журналист, да ещё и оппозиционных изданий, разговаривающий с обычной, никакого статуса не имеющей байкершей.

«Штабс-капитана» вполне можно оставить за скобками, или начать разговор именно о нём... Толку в продолжении игры никакого, но политес должен соблюдаться... Пусть обыскивают, доказывают что-то, а он уже потом, если потребуется, начнёт качать свои дипломатические права.

– Да-да, я как раз об этом. Легко ты *поплыл*, Владимир, или как там тебя... Лерой, что ли? Оно с одной стороны всё верно, деваться тебе и так и так некуда, но всё ж таки... Если б меня насиловать собрались, я б сопротивлялась до последнего, и неизвестно, получил бы кто-то в конце концов «удовольствие» или лишился бы чего-нибудь важного навсегда... Но не будем о грустном. Пока что мы сели в мою машину... ну, перекурить, что ли, – девушка достала из кармана удивительно шикарный и, наверное, жутко дорогой золотой портсигар, инкрустированный натурально драгоценными камнями под цвет глаз. Щёлкнула кнопкой, взяла даже на расстоянии ароматную сигарету светло-шоколадного цвета с длинным фильтром, протянула портсигар Лютенсу.

– Хочешь выпить – бар в спинке переднего сидения. Не стесняйся. Так вот, мы покатались, мне захотелось перекурить. Выпить тоже могу за компанию, у нас здесь сейчас чрезвычайное положение, *промилле* никто проверять не будет... Итак, я тебя больше часа катала, ты фотографировал, собирал информацию. Захочешь – ещё покатаемся, в Москве много осталось интересных для тебя мест. Все объехать – доплачивать придётся. Ну, а не договоримся – полученную от тебя сумму приобщим к вещественным доказательствам. Себе не оставлю, у меня муж хорошо зарабатывает...

– Ты замужем? – непонятно чему удивился Лютенс. Как-то так странно Рысь всё обставила, что его мысли постоянно соскакивали на вещи, кото-



рые его должны были бы волновать в самую последнюю очередь.

– А что удивительного? Возраст подходящий, собой недурна, что ж в старых девах пропадать?

– Да, действительно, – согласился Лютенс. Просто ему подсознательно показалось, что несправедливо, если такая красавица принадлежит одному мужчине, как если бы снять известную картину со стены в музее и запереть в сейф неизвестного коллекционера. И интересным показалось, что за муж у неё должен быть, и как выглядит её семейная жизнь. Неужели так же скучно и банально, как у всех?

– Ладно, с этим, допустим выяснили, – Лютенс не стал чиниться, выпил стопочку настоящего армянского «Двина», явно не подделки. Хорошо живут господа российские контрразведчики. Едва ли специально для него бар загружали. Затянулся пару раз сигаретой, тоже весьма нерядового качества.

– Вводная первая – я официально заявляю, что являюсь секретарём посольства США и по непонятной для меня причине незаконно задержан во время прогулки по городу. По-любому, вы меня должны отпустить просто так, или пригласить для моего опознания и подписания необходимых документов официальное лицо, вплоть до посла, мистера Крейга...

– Допустим. Мы обычаи знаем. Уж на что к гитлеровцам после двадцать второго июня негативно относились, а с полным комфортом их дипломатов из Москвы отправили. Как и они наших – Восточным экспрессом Берлин-Стамбул. Как у Агаты Кристи... Кстати, мы приехали...

Минивэн успел свернуть в глухой, но весьма обихожённый дворик, со всех сторон окружённый стенами трёхэтажного строения, возведённого не позже середины девятнадцатого века.

– Выходите, господин секретарь. Я своё дело сделала, теперь с более компетентными товарищами говорить будете.

Лютенс, успевший окончательно восстановить душевное равновесие, сейчас пытался понять – в чём, с профессиональной точки зрения, был смысл участия «Рыси» во всей операции? Задержать его можно было прямо там, где он её увидел, без всяких ухищрений, ничего из сказанного и сделанного им никаким образом не влияет на его дальнейшую судьбу. Ни поводов для шантажа, вообще ничего. И всё, о чём они с ней говорили, ни к какому делу не подошьешь. Информативно – ноль, психологический и деловой его портрет у них и так должен быть давно составлен. Непонятно. И зачем ему явно специально демонстрировали тех странных девиц, штурмгвардейского штабс-капитана... Ерунда какая-то. Правда, удовольствие от прогулки на мотоцикле с красивой девушкой-водителем он получил. Просто так, по-человечески.

– Скажи, как ты могла знать, что я предложу тебе покататься? Ты ведь меня там ждала?

– А ведь не ко мне вопрос, мистер Лютенс. Восстановите последовательность событий. Вы вышли из посольства, когда захотели. Пошли, куда ноги понесли. Стояли, с мужчинами разговаривали. Я в вашу сторону даже не смотрела. У вас это обычная манера – приставать на улицах к незнакомым девушкам? А если нет – подумайте, что вас подтолкнуло к нестандартному шагу? Кстати, там совсем неподалёку от меня тоже очень миленькая девушка стояла, в юбочке на ладонь ниже пояса. Чего к ней не обратились?

«Водка, – чуть не ответил Лютенс. – В ней всё дело. После четвертинки без закуски и не такие эскапады могут в голову прийти...

А девчонку в короткой юбочке он, убей бог, не видел. А если б и да – зачем она ему?



Лютенс себя чувствовал, как бы это лучше выразиться – странно. По всем параметрам. И это никак не объяснялось тем, что случилось с ним и вокруг, начиная с момента, когда до него дошла первая информация о полном провале дела, стоившего нескольких лет жизни и многих душевных терзаний. Да, звучит необычно, но и для человека, посвятившего себя игрищам «плаща и кинжала» есть такие константы, выход за пределы которых нарушают «постоянство внутренней среды личности».

Да, дело провалено, и даже при самом оптимальном для разведчика исходе ни на что приличное в смысле дальнейшей карьеры он может не рассчитывать. Слишком значительно дело и масштабна теперь цена поражения. Если начать перечислять по пунктам, прямо страшно становится.

Очень даже может быть, что уволят его «с позором», а это катастрофа для человека, жизнь посвятившего государственной службе. После такого увольнения и в солидную частную структуру не возьмут на хлебную и спокойную должность. Придётся пускаться «на вольные хлеба». В детективы податься, вроде Ниро Вульфа или Перри Мейсона. Судя по книжкам, и в этом качестве люди живут, а то и благоденствуют, не подчиняясь никому и не завися от гримас мировой политики. Ну, ещё можно попробовать себя на поприще «белого наёмника» при правителе какой-нибудь дикой страны. Ставки там приличные, но уж больно работа противная и опасная.

Варианты третий и четвёртый категорически неприемлемы. То, что посол намекнул на возможную выдачу Лютенса русским – полная, разумеется, ерунда. Любому понятно, что в отместку за такую подлость он молчать не будет и без всяких душевных терзаний сдаст русским разведке и контрразведке

всё и всех, что и кого знает, а также и многое сверх того. Поэтому речь, скорее всего, пойдёт о несчастном случае или внезапном сердечном приступе, инсульте или о чём-то ещё в этом же роде.

Фантазия у парней из «конторы игрек» не то, чтобы слишком богатая, но зато практики достаточно, и вся *цепочка* под контролем: ненужных вопросов не возникнет ни у коллег, ни у судмедэкспертов, ни даже у родственников. И никакая это не паранойя, чистый реализм, не более того. Если вдруг в Вашингтоне или в каком-то другом месте решат, что пора менять курс в отношениях с Россией, слишком много знающий специалист из «предыдущей исторической эпохи» никому не будет нужен. Скелеты рациональнее выбрасывать вместе со шкафами, а не ждать, что некто любопытный от нечего делать в старый шкаф заглянет.

Так что очень даже вовремя русские эмгэбэшники к нему свою сотрудницу подвели. Правда, если бы дождались момента, когда он сам к ним прибежит, могли бы побольше выгадать... Да и он тоже.

Из этих размышлений вытекает, что он, в полном соответствии с принципами его организации и вообще страны, в которой довелось жить и служить, уже решил, что в свете складывающихся обстоятельств предать следует первым, не дожидаясь, пока предадут тебя. Он прекрасно представлял, какой материал может на него быстренько представить «куда следует» посол Крейг и те, кого он сочтёт нужным пригласить себе в помощники. И наверняка найдёт такой канал продвижения информации, что помочь не успеют, не смогут, а потом уже и не захотят те, на покровительство которых он до последнего момента так рассчитывал.

Потому что игра, как выясняется, идёт между всем другими партнёрами, чем ему представлялось,



и на стол тут бросают не «даймы» и «квотеры», а, пожалуй, полновесные гинеи.

Причём кто, кого, как и во что играет – понять пока не получается.

Штука с «параллельной Россией» вносит в и так не простую ситуацию такой дополнительный элемент непредсказуемости, что и вправду поверишь поэту Тютчеву: – «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная статья – в Россию можно только верить».

Но подождите, если есть параллельная Россия, то и Штаты тоже есть, и в мировом раскладе в итоге ничего не меняется? Только вот как найти дорогу в те Штаты, если и про ту Россию ему пока ничего почти не известно. Значит, надо узнать, любой ценой, вот на ближайшее время цель и смысл жизни. А то вдруг окажется, что если в России победили «белые» и сохранилось самодержавие, в Штатах могли победить южане, и, значит, «янки» там делать нечего.

Рысь указала ему на неприметную (как водится, «приметные» в позапрошлом веке делались только на парадных подъездах, выходящих на улицу) дверь в левом углу двора «П-образного» здания. Тёмные окна всех трёх этажей смотрели неподвижными взглядами, и от этих взглядов, за которыми не ощущалось никакой жизни, на душе американца делалось ещё тревожнее.

На верхнем этаже Рысь предложила войти во вторую от пересечения пугающих коридоров дверь, справа. То есть, расположенное за ней помещение должно быть обращено окнами во двор, а не на улицу.

За дверью Лютенс увидел приёмную с оборудованным по самым высшим стандартам рабочим местом секретарши (или секретаря, в зависимости от вкусов руководства). Расплодилось последнее время кое-где при мужчинах-начальниках секретари-

референты с внешностью персонажей порнографических открыток начала прошлого века. Ещё там было несколько массивных, тоже старого фасона стульев для ожидающих приёма лиц и уголок с журнальным столиком, удобными креслами и большим аквариумом, возле которого, любуясь рыбками, могла бы скоротать ожидание раньше назначенного времени явившаяся VIP-персона. Сейчас здесь никого не было, ни секретарей, ни посетителей, только лениво шевелящие хвостами и плавниками макрорусы или как их там, тычущиеся глупыми мордами в толстое стекло.

Рысь нажала на столе кнопку селектора.

– Мы здесь, Вадим Петрович, – доложила она, как будто хозяин кабинета давным-давно не наблюдал за ними, с самого въезда во двор по расставленным, небось, через каждый метр видеокамерам. А то и раньше.

– Здесь – так вводите, – прозвучал из динамика молодой и, пожалуй, весёлый голос. А чего грустить человеку, дела у которого идут самым великолепным образом?

– Мне – тоже? – спросила Рысь.

– Зачем? Мы тут сами. Ты просто подежурь, отдохни, на связи побудь и чего-нито перекусить сообрази, я с утра на ногах и голодный.

Это демонстративное «чего-нито» якобы должно было обозначить в говорившем связь с «малой родиной», Владимирской, скорее всего, областью, но прозвучало резким диссонансом с остальным, явно петербургским произношением и, главное – манерой говорить.

Насчёт великорусских говоров Лютенс был большой специалист, а их изучение и знание требовало гораздо больше трудов и тщательности, чем у германиста или китаевода. Там разница в диа-



лектах разительная, отличить баварца от пруссакка или кантонца от синцзянца не сможет только с детства глухонемой, а вот костромича от тверяка и ростовчанина-на-Дону от ставропольца – тут нужно слухом Ойстраха обладать. И изучить массу трудов, начиная от сталинского «Введения в языкознание».

В не менее просторном, чем приёмная, кабинете, оформленном без всяких «хай-теков», строго в административном стиле «заката Российской Империи», 1900-1913 годов, у полуоткрытой балконной двери, с которой задувал прохладный, без всякого кондиционера освежавший помещение ветерок, стоял с сигаретой в руках молодой сравнительно, едва за тридцать, мужчина, одетый в штатский костюм так называемого «спортивного стиля».

Ляхов сделал несколько шагов вперёд, протянул руку и крепко пожал поданную в ответ Лютенсом. Отчего же не пожалеть? Коллега наверняка, а коллегам делить нечего. Застрелить при случае – это пожалуйста, а так чего же? Одно дело делаем, просто по разные стороны баррикады.

– Садитесь, Лерой. Бар вон там, внутри, – он показал на громадный средневековый глобус в медной оправе и на тёмной дубовой подставке, стоявший в двух метрах левее кресла, на которое указал хозяин. – Но в принципе можете и не затрудняться, Герта сейчас всё подаст. Я очень голодный, и выпью с удовольствием, ибо на сегодня рабочий день, считаем, закончен...

– Закончен? – не сдержал удивления Лютенс. – А как же..? – сам-то он считал, что с его задержанием всё только начинается.

– А, вы про это? Да ну, ерунда какая. Разве ж эта работа? Мы просто посидим, пообщаемся, обсудим, как нам лучше всего оформить наши будущие, надеюсь – взаимоприятные отношения...

Ляхов сел напротив, закинул ногу за ногу. Он был обут в лёгкие мокасины под цвет костюма. В отличие от американца, который, как большинство его соотечественников, обожал крепкую, несносимую обувь, и даже к костюмам от «Хьюго Босса» надевал пусть и дорогие, но способные без потерь прошагать рядом с фургоном через всю Долину смерти туфли или, точнее полуботинки. Сейчас костюм у Лютенса был попроще, очень попроще, но с туфлями он промазал. Любой русский контрразведчик сходу сообразил бы, что этот парень как-то чересчур смахивает на богатого американца своими чрезмерно дорогими даже для очень хорошо зарабатывающего москвича «шузами», да и не по погоде они. Русские зимой носят надёжную и тёплую обувь, а летом предпочитают что полегче, вплоть до сандалет на босу ногу. Азиаты, что скажешь...

– Нет, господин Ляхов, давайте уж по правилам, – сказал Лерой, беря протянутую собеседником сигарету.

– Давайте, – легко согласился тот. – Только насчёт правил просветите. Что вы собственно, имеете в виду?

– То есть как? Вот мой паспорт, – он достал из внутреннего кармана свой дипломатический, – и давайте, предъявляйте мне, что там у вас есть. Убийства вы мне никак не пришьёте, а всё остальное даже общественного порицания не заслуживает. Что ещё делать посольскому работнику, как не изучать обстановку в стране пребывания. Тем более – когда такое...

– Ну да, ну да, – согласился Ляхов. – Блажен кто посетил сей мир в его минуты роковые... Кто написал?

– Не помню. Кажется, Тютчев? Или Лермонтов, – машинально ответил разведчик, хотя совершенно не был обязан.



– Вот и мне кажется, что Тютчев, – кивнул Ляхов, пролистал паспорт и небрежно сунул в боковой карман пиджака. Будто гайшник – права нарушителя. – Его позвали всеблагие, как собеседника на пир...

– Эй, эй, подождите, вы что? – подскочил с места Лютенс.

– А что? – удивился хозяин кабинета. – Герта, ты где там? – крикнул он в сторону двери.

– Иду, иду уже... – вошла Рысь с солидно накрытым подносом и американец вновь залюбовался прелестью этой девушки, хотя какая там прелесть у грубиянки-мотоциклистки, только что заманившей его в ловушку и арестовавшей. А вот поди ж ты! Лерой, выходит, уже смирился, что прежней жизни никогда больше не будет, и на происходящее реагировал без театрального трагизма. На подсознательном уровне. Знал, куда ехал и на что шёл.

Девушка ловко, словно официантка со стажем, расставила по столу холодные, не требующие специального приготовления, но весьма изысканные и питательные закуски, стопочки, графинчики с чем-то тёмно-рыжим и понятно чем прозрачным, бутылку незнакомой Лерою минеральной воды «Нагутская № 2. Типа Боржом».

– Ну, давайте. Вы сегодня с водки начинали? Ну и продолжайте...

– А с чего вы так решили?

– По запаху, уважаемый, по запаху. Подумаешь, бином Ньютона... А что касается паспорта – предлагаю поверить мне на слово (как и всем остальным, в случае чего придётся) – не было его никогда), это вам просто померещилось. Есть люди себя наполеонами воображают, ну а вы – американским дипломатом. Кстати – хотите загадку? Почему если мужчина себя Наполеоном объявляет, его сразу в психушку везут, а если женщиной – то американский конгресс начинает принимать резолюции в

защиту его прав? Не смешно? И я так думаю: вам тут не смеяться, а плакать надо – такая христианская нация была, американцы-протестанты, я хочу сказать, к еде не приступали, пока дедушка молитву не прочтёт, Библию наизусть почти все знали, а теперь словно не для них про Содом и Гоморру там написано... Хорошо, и это оставим...

Ляхов налил себе и Лютенсу, тут же выпил, не чокаясь, начал закусывать. Лютенс тоже взял бутерброд с холодным языком. Действительно, целый день не ел, но всё равно не преминул заметить, что любой из поданных Гертой бутербродов не в пример вкуснее и полезнее какого-нибудь гам- или чизбургера. А главное – проще, минималистичнее, можно сказать. Хлеб, причём хороший, настоящий – основной ингредиент, сливочное масло, прослойкой под икру или балык, например. Ну, веточка кинзы сверху. Копчёная колбаса, сыр, отварной язык тоже одобряются.

Хозяин дожевал небольшой валованчик, вытер губы салфеткой.

– Ладно, вижу, как вам не терпится. Верно всё же говорится – «кусок в горло не лезет». Так я вот о чём – представьте себе, что нет никакого Лероя Лютенса. Был ещё сегодня днём, потом пошёл в Москву, охваченную массовыми беспорядками, им же и иницированными (доказательства есть, кстати), и пропал. Без вести. Навсегда, то есть. С концами. У нас вон сколько миллионов людей в войну без вести пропали... Когда-никогда энтузиасты-поисковики кости с медальоном или медалью с номером откопают. Тогда, значит, хоронят с почестями и имя на памятнике пишут. А так... – Ляхов тяжело вздохнул и развёл руками.

– Зато появился в нашем мире...

Он внимательно посмотрел на удостоверение журналиста.



– Гражданин Шеховцов Владимир Иванович, задержанный при попытке вооружённого нападения на военный патруль. Свидетелей достаточно, вещдоков тоже. Одного только телефон-фотоаппаратноутбука-не знаю-ещё-что со снимками воинских частей на позиции, номеров техники и прочего военно-полевому суду хватит для приговора скорого, но справедливого. Отпечатки пальцев на нём ваши, вот и достаточно. Пистолет, опять же. Ваш, ваш, не сомневайтесь. У нас есть методики... Высшая мера, заменённая при конфирмации комендантом Москвы двадцатью годами каторги. И вполне спокойно все двадцать лет кандалами и отзвените. На зонах таких «соловьёв», что утверждают, будто и они не они, и посадили их ни за что – вполне достаточно. Письма с жалобами дальше канцелярии лагеря не пойдут, а адвоката у вас нет и не предвидится. Поскольку суд всё-таки – военно-полевой. «Без участия сторон» и всё такое. Вернее – папка с вашим делом и приговором будет за лагерем числиться, а вам другое занятие найдётся. Мы тут решили, что идея сталинских «шарашек» совсем неплоха. Зачем заставлять высококвалифицированного специалиста рукавицы шить, если у него образования хватает Шекспира туда и обратно без словаря переводить? Это я к примеру говорю, насчёт Шекспира, – пояснил Ляхов, – можно и более актуальное занятие найти. Ну а второй вариант тоже прост и понятен, я на него уже намекал – провинциальная психиатрическая больница для лиц с чрезмерно девиантным поведением. Никаких надежд на выздоровление и даже никаких свиданий и передач, ввиду отсутствия как близких, так и дальних родственников...

Лютенс передёрнул плечами. Суровая перспектива, но весьма вероятная, судя по безмятежному, но отнюдь не глупому выражению глаз визави.



– Вы выпивайте, Лерой, и закусывайте, пока есть возможность. В любом из названных мной заведений пища достаточно калорийная, с голоду никто не умирает, но о вкусовых качествах лучше не вспоминать. Хотя, если «Один день Ивана Денисовича» вспомнить, так там и каша из магары за деликатес шла. Даже во сне о *ней* мечтали, а не о столике в «Арагви».

Лютенс выпил, сообразив – правильное всего действительно сегодня напиток в стельку, а что там завтра случится...

– Неужели вы, после случившегося *эксцесса*, на самом деле готовы ввести у себя в стране такие *правовые нормы*, которыми меня пугаете? Это ведь самый натуральный сталинизм, уже без всяких деликатных оговорок. Цивилизованный мир не поймёт...

– Ах, ах! – картинно поднял глаза к потолку Ляхов. – Вот только не надо именно *здесь* «ля-ля» про *цивилизованный мир*. И бомбёжки Белграда он легко принял, и Гуантанамо, и тюрьму Абу-Грейб, и самые дикие законы, ваши или саудовские. Когда у вас приказывали «независимым журналистам» писать, что чеченские террористы убивают русских потому, что русские ничего другого не заслуживают, ваши «демократические граждане» охотно в это верили, и сейчас верят. Согласен, едва ли «общественное мнение» готово принять российскую точку зрения, но нам на это наплевать. С высокой колокольни. Американским сепаратистам у вас высшую меру с реальным приведением в исполнение легко припаяют, если какие-то ребята пойдут с оружием в руках Техас и Калифорнию от «белых ублюдков» освободить!

Поэтому наш Президент правильно сказал: – «Отношение к России в США и в странах-сателлитах Америки никаким образом не зависит от реального поведения России на мировой арене, поэтому нам



нет никакого смысла пытаться заслужить от «мировой общественности» похвалу или снисхождение».

Что эти слова на самом деле сказал не Президент, а он сам, легко симитировав его голос, Вадим уточнять не стал. Смысл и правильность высказывания не зависит от того, кто его произнёс.

– Вы просто попробуйте, Лерой (пока я называю вас так), поставить себя на моё место. И меня – на своё. Если вам потребуется нарушить все божеские и человеческие законы по приказу начальства, ради «высокой идеи», «американской мечты» или собственных шкурных интересов – разве вы хоть на секунду испытаете дурацкие «гуманные» колебания?

– Наша служба, в отличие от вашей, всегда исполняла и исполняет американские законы, – несколько напыщенно заявил Лютенс. От третьей рюмки «на старые дрожжи» его опять понемногу начало развозить. – А если иногда что-то такое и случалось, виновные строго наказывались. Вы вот упомянули про Абу-Грейб...

– Достаточно, Лерой. Я даже не буду говорить, что история вашей организации сразу началась с самого обычного предательства. Это когда ваш Даллес и Донован начали за спиной русского союзника договариваться с гитлеровцами о сепаратном мире и дальнейшей совместной борьбе против коммунизма...

– А я-то причём?

– Да, в сорок пятом вас ещё не было. Согласен. Даллес на том свете сам отвечает за себя. А что вы скажете на это?

Фёст бросил на стол целую пачку снабжённых всеми необходимыми грифами и реквизитами самых секретных документов, стопроцентно доказательно свидетельствующих о десятке операций ЦРУ, в которых лично Лютенс принимал участие.

Причём назывался и своей подлинной фамилией и действовавшими в каждом отдельном случае оперативными псевдонимами. Любая из этих бумажек тянула на очень и очень солидный срок, если бы кому-то удалось привлечь цээршника и его подельников к *нормальной международной ответственности*. Не такой, как пресловутый Гаагский трибунал во главе с потрохами купленной теми же американцами бельгийской прокуроршей.

Американцы «своих сукиных сынов» даже за работу, аналогичную службе антиеврейских эйнзатцкоманд к ответственности не привлекают. Пусть весь мир был свидетелем, как американские солдаты расстреливают мирных жителей в Ираке, и не только их, но и подвернувшихся под руку иностранных журналистов. Это никого внутри США не взволнует: – «Права она, или нет – это моя Родина». В Штатах сажают на пожизненное тех, кто подобную информацию передаёт независимой прессе.

Причём документы, хотя и являлись изготовленными с помощью аггрианского Шара копиями, выглядели абсолютными подлинниками, и любая экспертиза это подтвердила бы, включая идентификацию отпечатков пальцев тех, кто их на самом деле держал в руках в Лэнгли или где-то ещё.

– Читайте, читайте, Лерой. У меня и ещё есть, – благодушно сказал Ляхов, глядя на отвалившуюся челюсть и остекленевшие глаза цээршника. Как бы его инсульт не хватил. Впрочем, он диспансеризацию регулярно проходит, с давлением и сосудами у него наверняка полный порядок.

– Неслабый скандалчик выйдет в случае публикации? И вы от своих получите «пожизненное» не за то, что совершили реально, а за то, что вольно или невольно *подставили* своих хозяев. Согласны? Заодно прошу принять во внимание, что ни я,



ни моя ассистентка Герта к любым спецслужбам России или иной страны не имеем никакого отношения. Мы – классическая некоммерческая организация, причём не занимающаяся политической деятельностью на американские деньги...

– А как же..?

– А это наше хобби. Вас разве ещё в детстве не раздражали паранормальные, вдобавок – необъяснимые явления? Меня и моих друзей – ужасно. Вот мы и занялись их *рационализацией и утилизацией*. Ваш случай – очень даже в круг наших интересов попадает. Представьте себе – взрослый, культурный, образованный человек зачем-то занимается прямо-таки непристойной подрывной деятельностью против суверенного государства, лично ему ничего плохого не сделавшего, хотя мог бы, например, изучать жизнь членистоногих на Большом Барьерном рифе или лечить обитателей Экваториальной Африки от лейшманиоза...

– Вы издеваетесь надо мной? – спросил Лютенс, не зная, что делать с бумагами, то ли бросить на стол, то порвать в знак протеста, то ли продолжить чтение.

– Нет. Это вы со своей «землёй обетованной» – над нами. И уже давно. Последние лет сто – точно, – усмехнулся Ляхов. – Какие у вас могут быть претензии, лично ко мне? В этих документах что-нибудь неправильно? Вы готовы оспорить их подлинность? Хотите призвать меня к суду за клевету и поделку? Я к вашим услугам. Кстати – способ, каким эти бумаги попали мне в руки – отдельная тема, тоже весьма интересная. Или вас беспокоит что-то другое? Тогда поделитесь. Я по первому образованию врач, и даже, как говорили – неплохой.

На это Лютенсу ответить было в буквальном смысле нечего. Опять Фёст сыграл по методике, которую он изучал в «иезуитской», если использовать

распространённое в прошлом значение этого слова, школе Александра Ивановича Шульгина. Никогда не нужно пытаться загнать противника в тупик, если он в состоянии успешно сделать это сам.

Разведчик уронил руки на колени, листки рассыпались по паркету. Он ощущал глубокую опустошённость и страх. Не рациональный – мистический, потому что на самом деле ему бояться было нечего. Человек его профессии, даже пойманный в очень неприятную ловушку – психологическую, моральную, финансовую – был приучен с первых служебных шагов сохранять невозмутимость и одновременно выкручиваться, искать выхода и способа обратить временное преимущество противника в свою победу. Иначе зачем вообще оставаться в должности? Можно найти сколько угодно не менее заработных видов деятельности, не требующих постоянного противопоставления человеческого естества некоей абстракции. Тут Ляхов правильно сказал насчёт «членистоногих». В широком смысле.

Другое дело, последние лет пятнадцать Лютенсу уже не приходилось хоть чем-то рисковать всерьёз. Работа под дипломатическим прикрытием грозила в самом худшем случае выговором от вышестоящего руководителя. Да если даже и с предложением добровольной отставки... Риск попасть под колёса автомобиля на московском или вашингтонском перекрёстках был гораздо выше того, что принято связывать с профессией «кинематографического шпиона».

Но сейчас он столкнулся с совершенно иной ситуацией. Образования, жизненного опыта и обычного здравомыслия хватало, чтобы понять – происходит то, что на самом деле происходить не может. И последствия для него будут не «оговоренные контрактом», а вполне трагические. Что-то вроде пресловутого тазика с цементом, с которым гангстеры



отправляли своих недругов «искупаться в Гудзоне». Для него, само собой, приготовлены другие варианты. Некоторые из них этот русский уже назвал. Что придумают дома – узнать ещё предстоит.

Если не допустить, конечно, что он каким-то образом и без всякой внешней причины сошёл с ума. И всё происходящее – тягостный бред.

Нет, едва ли. Это слишком оптимистический вариант, а потому и нереальный. Генетической предрасположенности у него к душевным болезням не было. И до белой горячки, учитывая объёмы употребляемого алкоголя, тоже ещё очень и очень далеко. Кроме того, сумасшедшие в последнюю очередь испытывают сомнения в достоверности своих галлюцинаций.

Пора брать себя в руки, что Лютенс и сделал, дополнительно прикрыв своё смятение и процесс выхода из него ещё одной рюмкой и нервно прикуренной сигаретой.

– Судиться? – издевательское предложение Ляхова он автоматически принял всерьёз, для американца упоминание о суде – как звонок для лабораторной собаки Павлова. – Судиться конечно глупо, особенно учитывая, что только упоминание об этих документах само по себе повлечёт весьма суровые санкции, я даже не исключаю, что на определённом уровне может быть принято решение о физической ликвидации всех причастных...

– Вот видите. Оказывается, ваше положение даже хуже, чем показали мне звёзды, – Ляхов очевидным образом *куражился*, но глаза у него были серьёзные и даже немного печальные. – Эти прошлые дела, плюс ваша теперешняя досадная неудача... Если присовокупить к имеющимся бумагам ваше собственноручное донесение резиденту ГРУ в Вашингтоне, «вашему куратору» о начале разработки такой-то операции, её участниках и вдохно-

вителях, от ... – Фёст секунду подумал и назвал дату «сообщения», переданного всего на две недели позже утверждения на Совете национальной безопасности «Предварительных соображений плана...». Лютенс хорошо её помнил. Дату реального утверждения, а не вымышленной докладной.

– Мне отчего-то кажется, после этого ближайшую сотню лет вам в пределах досягаемости американской юрисдикции лучше не показываться. Нет?

Лютенс почти машинально кивнул головой, отвечая не столько собеседнику, сколько собственным мыслям, и Ляхов рассмеялся довольно.

– Видите, как я вас легко и изящно перевербовал? Вам даже ради приличия не получилось мне что-нибудь возразить...

– А что можно возразить, когда имеешь дело со стихийными бедствиями или мистическими явлениями? Наверное, против саранчи, что Бог напустил на Египет по просьбе евреев, никакие дезинсекционные службы не помогли бы. Даже современные.

– Что вы, Лерой, ну какая же здесь мистика? Это просто как фокус в цирке. Пока вам не раскроют секрет распиливания пополам красивой девушки, большинство зрителей так и будут пребывать в тягостном недоумении. Но я свои секреты пока раскрывать не собираюсь. Нам ещё работать и работать, и не только с вами...

Ляхов нагнулся, аккуратно собрал с пола бумаги, подровнял стопочку, даже постучал её ребром по краю стола. Положил. Тоже закурил, с интересом глядя на своего визави.

– Наша беседа, конечно, пишется? – спросил Лютенс, просто чтобы не молчать, а ничего более осмысленного сразу не пришло в голову.

– А это уж думайте в меру своей испорченности, – снова улыбнулся Ляхов. – Лично мне такая записка вроде и ни к чему. Начальства надо мной нет,



отчитываться не перед кем. Разве – для семейного архива. А вас шантажировать – не вижу смысла. Отношения между серьёзными людьми должны строиться на более солидной основе чем страх. Неважно чего – смерти, разоблачения, продажи в туземный бордель... Не удивляйтесь, человеческая извращённость не знает границ. Я знаю места, где и на такого видного мужчину, как вы, найдутся и любители, и любительницы. Не совсем в тех целях, что вы вообразили, гораздо худших. Но страх – контрпродуктивен. Лучше выбирать из положительных стимулов. Вам лично что больше нравится – чисто коммерческий подход, по Марксу – «товар-деньги-товар», или с примесью высоких идеалов? Ну, помните – Ким Филби, дело Розенбергов и тому подобное. Роман Меркадёр, кстати, Троцкого ведь не за деньги ледорубом приласкал... Честно отсидел двадцать лет от звонка до звонка, никого не выдал, и только в шестидесятом году в Москве «Героя Советского Союза» получил, пенсию в ваши тогдашние триста долларов и двухкомнатную квартиру, без всяких излишеств... Идеалист!

Времени, потраченного Ляховым на якобы пустую болтовню, хватило Лютенсу, чтобы начать сообщать конструктивно. Кстати, что за дом такой интересный – время вроде как рабочее, а нигде ни одного человека, и тишина – совершенно как в склепе, а по самым скромным прикидкам в подобном строении человек пятьсот постоянных сотрудников помещаться должно. Это же не аббатство Мельк, к примеру, где в средневековых корпусах, едва ли сильно уступающих размерами Московскому Кремлю, спасают души всего тридцать два монаха. И снаружи совершенно никакой шум не доносится, будто вокруг не революционный мегаполис, а тайга в безветренный день.

Он так и спросил у Ляхова, отчего не слышно людей, не в связи ли с происходящими в городе со-



бытиями? И что здесь вообще размещается? Скрывать это бессмысленно, глаза ему не завязывали, если жив останется – и сам узнает, но интересно именно сейчас.

– Какие секреты? Здесь и находится моя организация, эта самая «Комиссия паранормальная». Особняк мой собственный, приобретён абсолютно законным образом, вопрос на уровне самого МЭРА согласовывался. – Ляхов изобразил на лице смесь почтения к названной персоне и собственной значительности. – И народу у меня работает достаточно. Достаточно для моих целей. А то, что вы никого не видите и не слышите – это тоже один из моментов «необъяснённости и, может быть, даже необъяснимости».

Очевидно, что он снова развлекался столь неподходящим к случаю способом.

– Понимаете, каким-то странным образом в пределах подтверждённых кадастровым планом границ данного *имения* время течёт... ну, не совсем линейно, скажем так для простоты. Когда я не хочу, чтобы мне мешали или отвлекали – я устраиваю себе персональную «временную нишу», этакий «двадцать пятый час суток». Для контактов с сотрудниками и посетителями я доступен в оговоренные правилами внутреннего распорядка приёмные часы. В остальное *время*... Вам приходилось видеть на дверях табличку – «Приходите завтра»? Бронзовую табличку, прикрученную двухдюймовыми винтами. Так что, уважаемый коллега, я да вы, да ещё Герта – сейчас единственные обитатели этого «дома с привидениями». И вокруг нас – почти абсолютное *ничто*. А то, что вы увидите, подойдя к окну – это как бы материализованные воспоминания кого-то из нас о том, что наверняка будет присутствовать здесь и завтра и послезавтра. Дома вот, если их не взорвут, вон та



старая «Волга» со спущенными шинами. Ну и вечерний свет. Романтично, правда?

Лерой чувствовал, что недавние предчувствия его не обманули и граница между вменяемостью и безумием становится уж больно зыбкой. Как многократно стиранная кисея.

– Я одного только не понимаю, – сказал он, буд-то всё остальное уже понял, – зачем вам я вообще нужен, при таких-то возможностях? Всё, что вы проделали со мной, вы, наверное, можете проделать с кем угодно. С послом, с госсекретарём США, с самим Президентом. Или я ошибаюсь? В любом случае – зачем вам Лерой Лютенс?

– Опасные вопросы задаёте. Вдруг да и я над тем же самым задумаюсь – а действительно, зачем? А если незачем... Ну, сами понимаете. На ваше счастье, раньше задумался, раньше и решение принял. И от вас его скрывать не буду – вы мне нужны даже не как агент влияния, а просто как канал связи. Мы ведь должны делать вид, что мир по-прежнему незыблемо-рационален. И, соответственно, соблюдать принятые в нём правила. Человек вы авторитетный, проверенный. Если я попрошу вас что-то кому-то передать в устной форме, или в виде записочки – вам скорее всего поверят. Вот и будете продолжать делать свою обычную работу, докладывать домой то, что от вас служба требует, именно служба, если вы к ней всерьёз относитесь, а не конъюнктура. Плюс всё, что я сочту нужным впредь доводить до вашего руководства. Оттуда сюда мне информация не нужна, и так знаю всё, что требуется. А вот в ту сторону – как я собственные мысли и желания транслировать смогу? Мне что же, как Бене Крику записочки клиенту писать: «Мосье Эйхбаум, положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17, – двадцать тысяч рублей»? Ну, и так

далее – читайте «Одесские рассказы». Не получится: президент Соединённых Штатов и даже простой директор ЦРУ, или там АНБ, я знаю, никогда мне не ответит, как принято было в той же самой Одессе между порядочными людьми. «Так мол и так, Вадик, если б ты был идиот, я бы написал тебе, как идиоту! Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать...». Не ответят, и совершат ту же ошибку, что многие до них совершали...

Лерой Лютенс много чего читал на русском языке, но вот как раз Бабель пролетел мимо него. Было слишком много книг поактуальнее, а понастоящему насладиться этим автором можно было только в конце 60-х годов прошлого века, когда он только-только стал доступен. Ну, или на второй волне, в конце восьмидесятых, когда Исаака Эммануиловича уже не столько читали, как дискутировали на страницах либеральных изданий о его печальной судьбе и дотошно выясняли, был он любовником жены Ежова, или интересовался ею исключительно как бытописатель. А сейчас нужно какое-то особое стечение обстоятельств, чтобы человек старше тридцати ни с того ни с сего решил вдруг обратиться к этому тонкому, но давно утратившему актуальность стилисту.

Поэтому Лютенс не понял всего смысла слов Ляхова и заложенных в его тираде сюжетных ходов, хотя общую идею уловил.

– То есть получается, что в случае чего мне и обвинения в предательстве предъявить не смогут?

– Совершенно в точку. Вы делаете свою работу, встречаетесь с людьми, собираете информацию, как пчёлка нектар. И вдруг попадаете среди навоза – жемчужное зерно. Куда ж с ним? По принадлежности. Единственное, на чём вы сможете подзалететь, так только на нарушении субординации. Некоторые



начальники не любят, когда подчинённые действуют через их голову. Но с этим вы уж как-нибудь разберётесь. Выпьем ещё по чуток?

Лютенс молча кивнул, слова партнёра его одновременно задели и заинтересовали. Вдобавок он понимал, что лишь любезно предлагаемая хозяином высококлассная выпивка позволяет ему сохранять некое подобие выдержки.

Нервный срыв у него уже произошёл, сразу, как только стало известно, что план, которому он посвятил больше года напряжённой работы, провалился. Причём провалился без каких-либо объективных обоснований и оправданий, вроде внезапно для Наполеона и Гитлера наступившей зимы или «странного» нежелания Александра Первого подписывать (а с какой, собственно, радости?), мир на условиях Бонапарта, сидящего в Кремле, но не имеющего ни малейшей возможности столь же отчаянным рейдом взять ещё и Петербург. Кстати, за двести лет историки так и не разобрались, а отчего французы сразу не пошли на настоящую, а не «духовную» столицу вражеского государства.

Лютенсу и всем заинтересованным лицам ссылаться было не на что, поскольку отсутствовали хоть какие-то видимые факты и факторы, принесшие русскому Президенту победу а им – поражение. Просто сорвалось дело, «и только», как выражался Нестор Махно в кинофильме «Пархоменко». Так срывается неизвестно почему со спиннинга рыба, уже схватившая блесну.

И всё, что разведчик делал последние, чрезмерно затянувшиеся дни было явно патологическим поведением, в какой-то мере купировавшимся почти инстинктивно принимаемым алкоголем. Так больная кошка, не зная фармакологии, находит нужную ей лечебную травку. То виски, то водка позволяли Лютенсу балансировать на достаточно



тонкой грани, отделявшей просто тяжёлый стресс от чего-то вроде реактивного психоза со всеми вытекающими последствиями.

Это может показаться странным – всё ж таки в разведке должны работать люди с гораздо более устойчивой психикой, позволяющей выносить вещи похуже – например, арест, пытки, суд, длительное тюремное заключение, иногда и в камере смертников – примеров этому масса. Но натуры, как известно, у всех разные, некоторые люди разоряются не по одному разу, бывает, опускаются на самое дно жизни, и всё же продолжают жить и находить в этой жизни какие-то радости. А другие кончают с собой из-за совершеннейшего пустяка, вроде обвала курса акций на бирже или жены, пойманной с любовником в кульминационный момент в собственной супружеской постели...

Самое главное, он почти правильно понимал происходящее с ним и ухитрялся сохранять даже достаточно спокойные интонации, отчётливо при этом зная, что на самом деле самое бы лучшее – немедленно отправиться в отдалённый санаторий в заросшими сосновым лесом горах, под присмотр минимум двух психоаналитиков и надёжной вооружённой охраны. И чтоб на сотню миль вокруг нельзя было достать ни капли спиртного.

– Да к тому я это рассказал, что готовый для вас сценарий поведения на ближайшие несколько месяцев. Завтра или послезавтра вы сядете в самолёт и отправитесь в Вашингтон. Для посла – по вызову начальства, для начальства – для конфиденциальной встречи с ним же, заранее не согласованной по причине полного недоверия ко всему вашему окружению, включая посла, и всей здешней агентуре всех разведок мира. Чем круче паранойя – тем достовернее. Они там в Лэнгли и вокруг давно все параноики, так что вы никого не удивите.



Заодно напишете письма – на имя президента, кого-то вам лично в конгрессе или сенате известного, можно и во всякоразные газеты, как запасной вариант, с изложением вашей истинно патриотической позиции во всей этой московской, крайне сомнительной истории. Но это, разумеется, лишь на тот случай, если что-то вдруг не так пойдёт, по законам Мэрфи и Паркинсона. Прикрыть от бессмысленного гнева недалёкого (в умственном смысле) начальства я и сам вас сумею, жалованье вам положу неслабое, а идейную сторону «смены флага» вы уж как-нибудь сами себе обоснуйте....

А, знаете, Лерой, что-то плоховато вы выглядите, – вдруг с неприкрытой тревогой в голосе сказал Ляхов. – Внезапного головокружения, загрудинной боли, одышки, страха смерти не ощущаете? – он резко поднялся со своего места, начал щупать пульс разведчика, заглядывать ему в зрачки. Лютенсу на самом деле захотелось погрузиться в мягкую пучину беспамятства.

– Я бы немедленно занялся вашим здоровьем, – словно через вату услышал Лерой. – Я всё же врач по первой специальности. Вы сможете перед своими замотивировать, если сегодня придётся ночевать не дома? А то я и здесь помогу...

– Не надо. Я за своё поведение не отчитываюсь, вообще могу неделю в посольстве не появляться...

– Неделя ни к чему, а вот до завтра вам бы стоило побыть под наблюдением. Знаете, есть такой диагноз – «Недоперепитие». Это когда выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел. С вами то же самое, на фоне сердечной недостаточности. Герта, бегом ко мне...

Это всё, что услышал Лютенс, перед тем как полноценно отключиться. Даже не успел подумать, не отравил ли его «вербовщик».

Родословная

Мой дед – кубанский хлебороб.
И бабушка моя – жница...
По сторонам моих дорог
Всегда росла пшеница.

Когда шумели зеленя
И наливался колос –
Светлело сердце у меня
И пробивался голос.

А если колос этот чах,
А тучи где – неведомо...
Плыла тоска в моих очах
И бабушкина, и дедова.

И не уйти от той тоски,
От радости, тревоги...
Я собираю колоски
Вдоль всей моей дороги.

Облака

Плывут облака
Над хлебами пахнущими.
Плывут над селами
яблоневыми.
Плывут они над стогами,
пашнями
И над моими ямбами.

Плывут облака белее белости.
Уносят мечты и годы...



**ВАЛЕНТИНА
СЛЯДНЕВА**

Поэзия



Только не трогайте мою верность –
Шиповника красную голову.

Только не трогайте песню жаворонка
Мои позывные летние.
Горький и сладкий полынный запах
Не уносите, лебеди!

Не уносите мамины песни
И уцелевшую папину руку..
Кажется мне – и сама я слеплена
Из облаков – с любовью и мукой.

Утро в селе Надежда

На горный шпиль, будто на таган,
Бог солнце вновь посадил с утра,
А в Чекменёвом пруду сазан
Кафтан полощет из серебра.

Из бочки с водой вытащил чоп
Пастух, одетый в тряпье, как франт.
На рог надел молодой бычок
Из лопуха причудливый бант,

Поднялся подсолнух во весь свой рост,
За солнцем будет следить весь день.
И распустил, как павлиний хвост,
Камыш, султанов качая тень.

Пелагея Мироновна сбилась с ног,
Ругается...Бог простит грехи...
Иван Михайлович, дав зарок,
Свой портвейн тащит из-под стрехи.

Наковальню кузнечик вновь достал,
Куёт минуты – аж – клубом дым!
Чтоб день этот сроду бы не пропал
С мамой живой, с отцом молодым.

* * *

Тучи скрылись за горой,
Унесли тревогу,
День веселый, молодой,
Вышел на дорогу.

Дождь стряхнул он, а грозу,
Видно, спрятал в сумке!
Дай его я подвезу
К нашей Легокумке.

Пусть гроза грохочет там,
Радуюсь с народом,
Дождь пусть ходит по кустам
И по огородам.

Чтоб зеленым стал плетень,
Уродилось жито...
Ну, какой весенний день
Без дождя, скажите!?



Но почему так сердце неспокойно?

Колосья пляшут у меня перед глазами,
Над ними блин румяный – солнца круг.
А за базами, санными возами –
Акации-невесты встали в круг.

Речную воду ивы пьют и кони,
С горы сбежала девочкою тень...
Но почему так сердце неспокойно
За хрупкий мир, за этот светлый день?

И за кусты, что водят хороводы,
И за людей, что, пот смахнув с лица,
Вдруг вспоминают прожитые годы,
И нежность обжигает их сердца.

Сибирь мне снится

Невысказанная, близкая
Сибирь мне снится
И птица синяя и лица, лица...
И руки крепкие лесорубов,
И тропок пряжа, и твои губы.

Мне не хватает таёжных ливней,
Кедровых шишек литых и липких,
Мне не хватает таежной скрипки
И тихой улыбки. Твоей улыбки...

Там каждый камень замшелый пелся,
И каждый кустик был юн и весел.

И я не знаю, куда ты делись
Из моей жизни, из моей песни.

Не знаю, чем теперь мне гордиться,
Сибирь – красавица, так не годится!
Кому теперь мне одной смеяться?
Как в путь далёкий мне отправляться
Без синей птицы? Без синей птицы –
Живой водицы.

* * *

Как хорошо посередине лета
В кустах, в лугах услышать певчих птах,
Когда травинка каждая согрета,
Когда ещё звенит пчела в цветах!

Как хорошо, не занедужив скукой,
Бежать с холма навстречу роднику,
И откликаться на живые звуки,
И помнить всё, что было на веку!

* * *

Я всегда любила Бога.
Над столом среди родни

Он сидел... Но от порога
Увела меня дорога.
И попробуй – догони.

Появляюсь в кои веки.
Бог сидит под рушником.



Матушка вареник лепит
Вытирает глаз платком.

Ничего не забывает..
Хоть бьёт боль её под дых.
На двоих стол накрывает.
Было – на десятерых.

Кто-то умер, кто – уехал,
Разошлись с былым пути..
Сколько тут летало смеха!
Где его теперь найти?

Ждут вареники на сите,
Чтобы прыгнуть в кипяток.
– Не оставь ты нас, Спаситель,
Скажет мама, сняв платок.

Побежит опять дорога
За просёлок, за между..
Я всегда любила Бога.
Почему, теперь – скажу.

* * *

Мимо поля, стога,
Золотого дня..
Эта ли дорога
Увела меня?

Веткой клёна лето
Машет, как рукой..

Не моя ли это
Хата над рекой?

Постою минуту.
Побегу к реке,
Распугаю уток
В синем лозняке.

Пусть вода стекает
С плеч в наш огород.
Пусть всплеснёт руками
Мама у ворот.

Чтобы люди людьми оставались...

Заиграл горизонт перламутром,
Луч сверкнул, серый гребень пробив,
Снегирями засыпало утро
Стайку красно-багровых рябин.

Завтра снова уйду спозаранку,
Наст ломая и пористый лёд.
Не польщусь я на камень-обманку:
Может, платины сколок сверкнёт.

От породы пустой я отмою
И слова золотые средь строк...

Зря ль ходила я в гости зимою
К снегирам, взяв лосиный следок.

Зря ль от грохота лесоповалов
До сих пор я ещё устаю



Зря ли красное солнце вставало
В том ковыльном пшеничном раю.

Мне оттуда хорошие вести
Шлют большая родня и друзья...
Как хочу, хоть одной своей песней
В звонких росах остаться там я!

Чтобы гроздьями звёзды качались.
И пришпоривал ветер коня,
Чтобы люди людьми оставались
На Земле, где не будет меня.



Слава России!

Не из выдуманного рая,
 А из нашего вольного края
 К нам идёт, словно мать,
 обнимая,
 Вера в Русь – наша Вера Святая!

Через память свою, через вены,
 Информацию пьем сквозь
 антенны,
 Мы – частицы великой
 Вселенной
 Вечной, радостной,
 благословенной.

Нас учить ли чужому упырю?
 На Валдае, в Приморье,
 в Сибири
 Столько свежести русской
 и шири:
 Русь – лежит в океанах
 Всемирья!

Переносчики западной моды,
 Эх, на что же мы тратили годы?
 Святость Рода и мудрость
 Природы –
 Вот гармония русской породы!

Нас слепили чужие эстрады.
 Мы искали страну Эльдорадо.
 Не нашли. И не надо. Мы рады
 Жить по Совести да по Ладу.

Ну не надо нам вашего ада
 И обряда – подобья парада,



**ВЛАДИМИР
 ЯКОВЛЕВ**

Поэзия





И звезды, и ползучего гада,
Ничего нам чужого не надо.

Так не нас ли с рожденья зовёт
Голос крови и духа полёт?
Мы свободный и вольный народ –
Вот!

Поле Куликово

1. Обретение чести

Пылали города. Ползли года.
От топота копыт мутились дали.
Святой Константинополь и Орда
Русь с двух сторон железами сжимали.

Когда славянам души жгла зола,
Когда шла помиру голодная Россия,
Подонки золотили купола,
Благодаря охранным грамотам Батыя.

За то, что мы не верили в их сказ,
За то, что песни наши так печальны,
Вы двести лет язычество из нас
Вытравливали огоньком и сталью.

Когда у князя не хватало сил,
Чтоб бросить клич для славной русской брани.
Митрополит от хана получил
Ярлык, освобождающий от дани.

От веры в свои силы далеки,
Испытывая робость и волнение,
Перед под Москвой собираются полки,
Не получив на то благословенья.

Ещё юлит боярская шпана
И «подставляет щёки», и потеет.
Отчизна милая, как жизнь, у нас одна
И как-то жалко расставаться с нею.

Покуда князь славянским духом пьян,
Ни колокола над столицей, ни молитвы:
Предал анафеме Московский Киприан
Димитрия перед Великой Битвой.

2. Сергей Радонежский

Страна сирот, где всё наоборот.
Уж лучше быть разбойником и вором.
Когда князья, смирявшие народ,
Татарский бич благословляют хором.

Отшельник Сергей роет нищий грунт.
Он строит скит. Он станет жить без страха:
Бесстыдство власти породило бунт
Теперь уже среди самих монахов!

Он не вериги на себе – уже,
Венчая образ Бога и Кумира,
Он две религии носил в своей душе
Не принимая разделённость мира.

Лес прячет всех, кто от властей убёг,
Кого к позорному столбу не пригвоздили.
Радонеж, маленький монастырёк,
Ты врежешься в историю России.

Отшельник русский, был в своём дому.
Шёл к Подвигу через потери:
Христос, Сварог и Велес – вот кому
Великий поклонялся Двоеверец!



Противоречия два столетия подряд
Покорной догме лицемерных хамов,
Языческие образы горят
На тёмных стенах православных храмов.

Отшельник Сергей,
Время бросить скит!
Поднять растоптанное знамя снова!
И, если прячется митрополит,
Монах идёт на поле Куликово.

3. Сеча

Мы для битвы наподставляли щёк.
Наклонялися по татарской моде.
Но капища залесские ещё
Зовут славян к языческой свободе.

Прост Сергей.
Правда русская проста.
Отшельник, ставший князю горним светом,
Не меч сжимая – рукоять креста,
Ведёт с собой Ослябю с Пересветом.

Смелее, русичи! Пути иного нет.
Ведь только мертвые сейчас стьща не имут!
Скажи, боярин брянский Пересвет,
Зачем тебе языческое имя?

Зачем ты здесь?
Закон войны суров!
Сидел бы тихо дома, дурачина,
Жену бы слушался и был здоров...

Но мы же – русские!
И в этом вся причина.

Что, Сергей, –
Сердце тронула тоска?
Пятью полками русичи застыли.
А супротив татарские войска
Красуются, превосходя по силе.

Нас мять и гнуть привыкли, словно воск.
Насилуя, топтали наши флаги.
Но вот прикрыли фланги наших войск
Глубокие лесистые овраги.

Пусть от костров поганых в небе дым,
Пусть гемузская пехота в шляпах броских,
Пускай эмир из Золотой Орды
Для усмирения собрал большое войско,

Нарушив заповеди сильных стран,
Великий князь захватчиков поучит:
Умоет русской кровью басурман,
Но «кесарь-кесарево» – шиш получит!

Отныне русский меч тяжёл и прав.
Хоругвей выше. Сладостнее боли.
И византийский бог, и наш Триглав
За Сергия теперь на ратном поле.

Русь разгибается. Русь воет:
«Кровь – за кровь!»,
За девушку, что загубили где-то...
Над чернью басурманских шишаков
Сияет золото доспехов Пересвета.

Секира, сабля, боевой топор –
Ну, кто кого впечатает в суглинок?
Порой мне кажется, что до сих пор
Всё длится, длится этот поединок.



4. Холодная война

Мразь европейская всем прочим не в пример
Соборы лжи в эфире поднимает.
– Убейте гадину, – сказал старик Вольтер.
Но до сих пор она ещё живая.

Заплата на отсутствии идей!
Народы, вроде бы, объединяя,
Оранжевой чумой гнобит людей,
К России базы НАТО продвигая.

ОБСЕ, не надо громких слов,
Вас холят Штаты, вы сегодня в силе.
Но в сбитых боингах и
«Красных (от стыда!) Крестов»
Навряд ли отразится боль России.

Ведь побеждает только тот, кто прав.
Что нам майданы, танки и оскалы?
Припомните, владельцы балаклав,
На русских шлемах не было забрала!

Вы закрываетесь от нас стеной своей,
Вы сторонитесь и Москвы, и Минска,
А в светлом лике Родины моей
Открытая улыбка материнства.

Гляжу вокруг: мир снова подл и лжив.
Клянутся Богом, в душу лезут снова.
Но, кажется: отшельник Сергей жив.
И где-то рядом поле Куликово.

Сколько капель дождя
 На оконном стекле.
 Лето – жизнь без тебя.
 Лето – тяга к тебе.
 Лето лепит слова,
 Словно пасочки – дети –
 Неумело сперва,
 Из одних междометий,
 А потом мастерски,
 На раз-два, лучше некуда.
 Летом были близки
 Капли стеклам,
 И это-то
 Стало столь дорогим,
 Что вот так не забудется.



**ЕЛЕНА
 ГОНЧАРОВА**

Поэзия

Сумрак, дождь, огоньки,
 Вдаль плывущая улица...

Потому ли, что свит
 Этот мир из добра и печали,
 Он сегодня молчит,
 Как тогда, в безмятежном
 начале.

Состоя из травы,
 Голосов луговых перепелок,
 Он такой синевы,
 Что не высказан, влажен и
 дорог.





В нем не надо скрывать
Ни себя, ничегошеньки ровно.
В нем склоняется мать
Над ребенком – тихонько, любовно.

В нем огарок свечи
Не сгорает в ладони недвижимой.
Он огромен: шепчи
В нем молитву – и будешь услышан!

Там отчаянный бег
Не окончат часы и минуты.
Из двадцатого век
Двадцать первым окажется круто.

И, идя по пятам,
Счастье вскинет упрямо ресницы.
И гроза по садам,
Оббивая соцветья, промчится.

Там откроешь окно
И вдохнешь полной грудью – до боли.
Там такое дано
И такое случилось с тобою...

Что попробуй вернуть,
Удержать впопыхах неумело
Все, что бухало в грудь,
Что сияло, смеялось, летело.

На тропинках кругом
Миллионы следов остывают.
Жизнь упряма в одном –
Уплыва-, убега-, убывает.

Но ты смеешь поспеть,
Забегашь вперед, как мальчишка.
И фанфарная медь
За тобой громыхает вприпрыжку.

А что надо-то – миг, –
Неразменность, взаимность, сердечность.
Умножай на своих
И дели без остатка на вечность.

И живи, не дыша,
Подгоняя кораблик бумажный.
Потому что душа –
Это парус, с которым не страшно.

Потому что мелки
Неурядицы, страхи, невстречи
Для судьбы и строки,
И улыбки – простой, человеческой!..

* * *

Сердце – зерно земное,
Скоро созрело.
Поле, побудь со мною,
Будто ты – тело.

Небо, побудь со мною,
Будто ты – зреньё.
Лес обступил стеною –
Светлый, осенний.

Я отродясь не помню
Проще покровы.
И тишина – огромней –
Слово за словом...



* * *

Как ступили в белизну из дома,
В строгие деревья,
Как прошли по дворику седому,
Кружевной аллее.
Как сугробы занесли дорожку –
До неба и выше,
Как пошли – неслышно, осторожно,
Льдинок постук слыша.
Как, ведомы истиной простою,
К храму подходили,
Наполняли ледяной водою
Полые бутылки.
Как из храма в отклик на моление
Над мирским и малым
Воспарило ангельское пенье –
И теплее стало.
Как обратный путь еще искристей
Был, – совсем жемчужный,
На березках бряцали мониста
Изморози вьюжной.
Как, вернувшись, сбросили вещички,
И притихший мальчик
Окунул в священную водичку
Любопытный пальчик...

* * *

Крошево ли, месиво
Под ногой.
Поспеваю весело:
Ты другой!

Ты живешь играючи,
Без разлук.
У тебя в товарищах
Все вокруг.
Мир, тебе распахнутый,
Резв и чист.
Твои губы бархатны,
Дерзок свист.
Мне с тобой обещаны
Свет и тьма.
От тебя все женщины
Без ума.
И не надо мучиться,
Имя знать.
Все у нас получится,
Можешь врать!

* * *

Мне рады
Колышки ограды,
Их жестяные завитки,
Скамейка –
Позабыть сумей-ка,
Прогнивший ялик у реки,
Заиленный пологий берег,
Корытце, гуси, трын-трава...
Всё это то, чему не верить
Грешно, пока душа жива.



* * *

Ты мне напишешь длинное письмо.
В нём будет всё, чего недоставало
Так много лет, чего нам было мало
И минувшей, и нынешней весной.
В нём будет снег, подтаявший в руке,
В нём будет жизнь, прочитанная в книге,
И смерть слезинки на моей щеке,
И в окнах марта солнечные блики.
Скорей всего, твоё письмо вместит
Подробности ландшафта, от которых
Мне станет грустно, сапожок в грязи,
Глаза соседок, шепоток их, шорох.
Возможно, ты напишешь об огне,
Разлитом в небе, и о том, что слушал
Ребячий смех и плакал обо мне,
Пока она разогревала ужин.
Ты мне напишешь, что совсем не так
Хотелось жить, что нет добра без худа,
Что живо сердце, бьющееся в такт,
Хотя весной свирепствует простуда.
Что в списке смертных отыскал восьмой
Тягчайший грех – повествовать невнятно,
Поэтому и разорвал письмо...

А мне и чистый лист читать приятно.

* * *

Тогда понимаешь, что глупо, неправильно жил,
Неправедно, страстно,
Бесплодно надеялся, непоправимо грешил
И грезил напрасно.



Пригретые, крепнут в ладонях весны лепестки,
Былинки и травы,
И сизое небо, очистясь от зимней тоски,
Растёт на октаву.

По дворикам детство смеётся, и дразнит капель
Пичуг на припёке,
И март отступает, и золото моет апрель,
И кроет им щёки.

И робкое чувство становится главным в душе,
Единственно важным.
А прошлое... горький рывок на крутом вираже –
Бесцельный и страшный.

* * *

И в разогретое плечо
Уткнуться носом.
Как светит солнце горячо
Нагим и босым!

Как день расплескан широко
И беззаботно,
И можно быть каким уго...
Какой угодно.

Не отличаться от листвы
По краю алой,
Подсохшей к осени травы,
Воды канала,



Быть ласточкою над волной
Уже прохладной
И повторять «моя» ли, «мой» –
Тысячекратно.

Такое может длиться век,
А скажешь вкратце:
Дан человеку человек –
Не разлучаться...

Да святится все то...

Здравствуй, радость и боль,
 Что в душе не остыли,
 И щемящая сердце
 Любовь ко всему,

Что увидел, услышал,
 Познал в этом мире,
 Чем доньше дышу,
 Чем доньше живу.

Да святятся поля,
 Да святятся березы,
 Да святятся волшебные
 Краски Земли,
 Да святятся наивные
 Детские грезы,
 Что нетленной зарубиной
 В сердце вросли.

Да святится все то,
 Что мне силы дарило.
 Помогло не сломиться
 На трудном пути –
 Не порвать связь с землей,
 Что меня породила,
 И любовь к той земле
 Через жизнь пронести.

Да святится все то,
 Что прекрасно на свете, –
 Доброта, теплота,
 Бескорыстность людей,
 Пусть все это живет,
 Пусть останется в детях,
 Повторится во внуках
 И внуках детей.



**КОНСТАНТИН
 ХОДУНКОВ**

Поэзия





Искра жизни

Держу в ладони зернышко пшеницы,
Дивлюсь на эту кроху чуда я,
В которой жизни искорка таится –
Вселенского живого бытия.

И хочется понять – какую силу
Хранит в себе волшебное зерно,
И что бы нынче на планете было,
Не появишь на белый свет оно?

Душа от этой мысли холодеет,
А вдруг угаснет та живая нить?
Вдруг мы не сможем, вдруг мы не сумеем
Сей дар природы нашей сохранить?

Упала в озеро луна

Упала в озеро луна,
И в серебре купается.
Ей глубь несколько не страшна,
В глубинах плавает она,
И этим наслаждается.

Но светлоокою луну,
Что любит гладь озерную.
Тревожит то, что тишину
Намереваются спугнуть
Удары грома черные.

Боль земли

Каждый день начинается с боли,
Стонов, некогда мирной семьи, –
Где-то дети расстреляны в школе,
Где-то дом престарелых сожгли.



Где-то в шахте шахтеры сгорели,
Где-то сбили в горах вертолет.
Где-то склады снарядов взлетели,
Развалился с людьми самолет.

Где-то схрон потайной уничтожен,
Прогремел, кем-то заданный взрыв,
Каждый день, все одно, все и то же,
Точно сводки военной поры.

Что же с нами сегодня случилось?
С нашей, некогда братской семьей,
Где мы дружно бок о бок трудились,
Где мы вместе боролись с бедой?

Что же разум наш вдруг помutilo?
Как та ниточка оборвалась.
Что нас связывала, что нас роднила,
Вдохновляла на подвиги нас?

Почему наша дружба остыла?
Ведь мы раньше хранили ее,
Не стреляли друг другу в затылок,
Не дрались за твое и мое.

Созидали, работали вместе,
Жили в мире село и аул,
Пели вместе прекрасные песни
Глеб, Ваню, Константин и Расул.

А теперь больно видеть и слышать,
Больно чувствовать, осознавать
Что страна страхом сдержанным дышит,
Задыхается в страхе страна.



Мне сдается порою такое,
Что огромный метеорит
В наш, разорванный злобой людскою,
В наш земной муравейник летит.

Не пора ль нам подумать об этом?
Как людские сердца отогреть,
Как сберечь и страну, и планету
Как не дать ей во злобе сгореть?

Кавказ

Здравствуй, чудо земли,
Красота без прикрас,
Богатырь-исполин,
Легендарный Кавказ.
Шли татары ордой,
Шли заморские львы,
Только ты, удалой,
Не склонил головы.
Средь утесов литых,
Средь лучей серебра
Пораскинулся ты
Самобранкой добра.
Сколько славных имен,
И грустя, и любя,
Как чарующий сон,
Воспевали тебя.
Здесь могучий Шота
Мыслью в небо взлетел,
Грибоедов мечтал,
Гордый Лермонтов пел,
Восхищались тобой
И твоей красотой
Чавчавадзе седой
И великий Толстой.

Твой задумчивый лес,
Твой загадочный лик,
Будто отблеск небес,
В мою душу проник.
Как святыня святынь.
Как бурлящий поток,
Ты и Севера синь,
И пьянящий Восток,
Ты и отблеск дождя,
И легенда средь скал.
Кто не видел тебя –
Много тот потерял.

Анютины глазки

Когда я смотрю на анютины глазки –
Тускнеет весь мир предо мной.
В них столько волшебной, загадочной ласки,
В них столько красоты неземной.

Цветы эти божьи – по-ангельски милы,
По-детски нежны, хороши,
Тепло их таинственной сдержанной силы
Доходит до самой души.

И сердце мое холодеет от мысли:
Неужто потомки мои
Не смогут увидеть красоты этой чистой –
Живую святыню Земли?

* * *

Село мое безвестное,
Гнездо мое родимое,
Мы временем и далями
Разорваны с тобой,
Но что-то есть священное,



Щемящее, незримое,
Где в чем-то воедино мы
Повязаны с тобой.
Прошли десятилетия,
Как отчий дом покинул я,
Как мною Русь измерена
И вдоль, и поперек,
Но вот мы снова встретились
И что-то в душу хлынуло
От непорочной юности,
Как чистый ветерок.
И сердце встрепенулося,
Зашлось и с ритма сбилось,
Взыграла чудо-струнами
Уставшая душа,
Как будто что-то вспомнила,
И мигом окрылилася,
И вздумала, как в юности,
Взлететь под небеса.

* * *

Глаза прикрою: и станица
 Под майским небом оживет!
 И рыжий конь по ней, как
 птица,
 За горизонт меня несет.

В дали закатной затихают
 Шум ручейков, станичный быт.
 Над пижмой бабочки порхают,
 И гуд шмеля, как звук трубы.

Любуюсь родиною тихой.
 Тут васильки, а там – полынь.
 И в сердце чувств мятежных
 вихорь,
 И песнь зовет простора синь.

Нагрянет ночь и вновь –
 отчалит,
 Рассеет луч веселый тень.
 И жизнь берет свое начало,
 И манит босоногий день!

* * *

Тыщи лет почиет мудрый
 Будда
 На горе, где крут вьетнамский
 склон
 Отрешен от мира, но как будто
 В смутные раздумья погружен.



**АНАТОЛИЙ
 ШЕВЯКИН**

Поэзия





И всего лишь, только раз в столетье
Он встает среди гранитных плит, –
Кода миром правит лихолетье, –
И – на землю с высоты глядит.

Вдоль подножья той горы священной,
Вьется лента синяя реки,
И с зарей все лотосы мгновенно,
Раскрывают руки – лепестки.

Видит Будда: все вокруг, как прежде, –
Правят миром злоба и гроши.
И, вздохнув, с печалью и надеждой
Засыпает вновь, глаза смежив...

Двойник

Я подстроюсь под его дыханье.
Жесты и повадки изучу.
И проникну вдруг в его сознание,
Если очень это захочу!

Будет он сопротивляться, знаю:
Бить по ребрам, целиться под дых.
И кричать, что я не разделяю
Глубину и ценность слов простых.

Обозленный на мое упрямство, –
Что-то в нем и в жизни изменить, –
Мой двойник обмолвится, что хамство
Как и ложь, нельзя искоренить!

Истина – коварная подруга –
Может осудить и оправдать.
И ее в конце земного круга
Будут добрым словом поминать?

Он твердил: в чести жируют воры
Правят нами деньги и обман.
Души за высокие заборы
Спрятаны, как доллары, в карман.

Ныне, необузданные страсти –
Это сбой вращения земли...
Все от нас зависит, – не от власти,
Чтобы эти напасти ушли.

И друг другу, в этом споре долгом,
Правду всю открыли про себя.
Но понять так и не смог я толком,
Где же мой двойник? А, где же я?

* * *

Меня как будто не тревожат
Уже тщеславные мечты.
И не бежит мороз по коже
При виде юной красоты.

Да только жизнь вновь подарила,
У самой бездны на краю,
Взгляд неразгаданный и милый...
Мою единственную...



* * *

Туман лихой мне застиляет путь.
Недаром сбиты на подъемах ноги.
Но я иду, подставив ветру грудь,
По краю неизведанной дороги.

Заложник то невзгоды, то игры,
Я знаю цену веку и мгновеньям,
И потому далекие миры
Созвучны моим мыслям и стремленьям.

Куда иду? И что во мгле ищу?
И распознаю ль тайну в небе синем?
Зачем у Бога я прошу, прошу
Прозренья для души и для России?

В тот миг, когда падучая звезда
Срывается, лик храма освещая,
Загадываю, чтоб в пути всегда
Костер добра нас вел, не угасая!

Иван Наумов

Война, как иногда зубной врач, «удаляет нервы», – не зубные, конечно, а обыкновенные, житейские, человеческие нервы. Вы живете на войне месяц, два, три, и вдруг, разбираясь в себе, чувствуете, что нервов уже нет, и валериановые капли из походной аптеки можно за ненадобностью галантно «преподнести» какой-нибудь беженке на питательном пункте. На днях здесь, на фронте, я получил из России письмо, в котором мне писали, что в моем родном городе один известный мне земляк – чиновник, вышедший в отставку, сделался палачом и за 200 рублей повесил четверых мужиков, осужденных за ограбление сельского банка. Вся наша «кают-компания», которой я громко прочитал эти строчки, только пять секунд помолчала, а потом кто-то сразу и громко с польским акцентом запел на популярный мотив:

– Пяне Малиновский! Ещще школянку чаю.

Смерть? Что проще смерти? После боя каждую минуту можешь видеть, как идет по грязи батюшка, за ним, накрывшись башлыком, шлепает солдат с



**ИЛЬЯ
СУРГУЧЕВ**

**Неизвестная
классика**





мокрым молитвенником и поет, не переворачивая знакомых, выученных наизусть листов.

Кресты на братских могилах? Пройдет война, и многие из них срубят, стравят, сожгут. А наскоро насыпанные могилы оседают после первого хорошего дождя.

Но все-таки и война, по-видимому, не в силах «удалить» все нервы, и я лично, зная адрес, сейчас вот написал бы письмо совершенно неизвестной мне женщине, имя которой – Ульяна, отчество – Сергеевна, фамилия – Наумова, рассказал бы ей о следующих обстоятельствах.

Недавно, возвращаясь из командировки и отыскивая свою часть, которая за время моего отсутствия перешла на другое место, я с раннего утра и до вечера, довольно позднего, просидел на станции Крейцбург. Только вечером отходил поезд в нужном мне направлении.

Прочтены все газеты. Пью мутный чай и ем булочки, про которые служанка сказала:

– Если пан полюбит булочки, то сейчас будут горячие.

Приезжее, вырвавшееся из окопов офицерство, загорелое, уже пыльное, но оживленное, шумное, звенящее шпорами, радуется, – оно снова может видеть то, что несколько часов назад было по другую сторону жизни: стеклянный пустой шкаф, с горкой «Зефира», чинно разложенные грошовые журнальчики, булочки, которые, конечно, может не полюбить человек, сию минуту приехавший из тыла, где есть и Филиппов, и Флей, и Альберт. И юный корнет, и хриплый седоусый полковник соперничают в любезности и у книжного киоска, где царит юная латышка, и у буфетной стойки, где разложены бутерброды и где приходится платить пышной и румяной польке, которая подает сдачу, игриво приподнимая мизинчик с отлакированным ногтем.



Все кругом человеческое, слишком человеческое и потому милое, немножко смешно, и самое главное, самое ценное в данную минуту – совершенно не имеющее отношения к тому, что творится там, за окнами, верст десять отсюда. Милое, немножко смешное, и, когда долго посидишь и посмотришь, немножко скучное.

Чтобы сократить тоску ожидания, иду потихоньку в местечко.

Расцветает весна. В суровую годину выпало на долю расцвести ей. Около белоснежных березок – строй блиндированных автомобилей; приветливое озеро одиноко и пустынно. Красавицей писаной – Двиной – никто не любит, и она – как девушка, сосланная в монастырь. Сидят только солдаты, записные рыболовы, страсть которых не заглушается даже ревом орудий, и ждут. Впрочем, сегодня здесь тихо, благостно. Свободно дышит весенний день.

Иду к собору, старому, построенному в александровские времена. Деревья в ограде давно уже переросли крышу его.

Богу всегда выбирают лучшее место. Хорошо здесь. Собор – на горе, внизу – река. Было стройно, все в зелени. Покой, благодать, безлюдье, замолкла на мгновенье лютая, человеческая злость.

Ясное дело, что эта соборная гора – место всех последних объяснений начинающейся любви, первых поцелуев. Белые стены все испещрены надписями: всюду расписались, как бы укрепляя себя первым венчанием Николаи и Марии, Карпы и Ольги... И вдруг среди всех этих латинских букв читаю русские, ползущие неровно вверх, корявые грамотные, трудно разбираемые строки:

«Я, Иван Наумов, сидел здесь, курил трубку и думал о своей бабе Ульяне Сергеевне. Милая Улья-



на Сергеевна, приди сюда, обними меня, кушно-
вато мне...».

Солнце высоко, до поезда далеко. Сажу на по-
рожках церкви долго, курю папиросу и думаю о
том, как даже трубка не смогла развеселить Ивана
Наумова, человека, неожиданно и необъяснимо по-
чему пришедшегося мне по душе...

Неужели навела тоску на Ивана Наумова эта
река, такая широкая и полноводная? Быть может, в
ней есть что-то неуловимо общее с Ульяной Серге-
евной? Может быть, Ульяна так хороша, так строй-
на, черноброва, что не забыть ее нигде: ни в поле,
ни в землянке?

Медленным колесом катится по земле ясный,
удачливый день. Часам к четырем среди деревьев
мелькнула желтая кожаная куртка корнета и бе-
лая кофточка вокзальной барышни. Что корнету
война? Помянув дни прежние, он – опять кавалер:
ус его лих, речь сладка, а шпоры звенят малиновым
ядовитым звоном.

Нельзя мешать людям – с неохотой встаю, иду
на вокзал и вижу, что седоусый полковник пьет, не
любя, тусклый чай, скучает в одиночестве и мыс-
ленно следит, быть может, за желтой курткой и бе-
лой кофточкой.

Приходит час поезда, но поезда нет. Проходит
еще три часа, иду за разъяснениями к чину, в веде-
нии которого состоит движение.

– Поезд сегодня немножко опаздывает, – разъяс-
нил он мне.

«Люди маленькие, подождем и еще», – подумал
я, укладываясь на деревянный диван. Скоро я опять
увидел корнета, но усы у него были уже синие и
шел он не с барышней, а с полковником, и полков-
ник был в лаптях. Чьи-то руки потрогали меня, и
какой-то странный голос говорил мне, что поезд

уготован. Сел, еду на станцию, имя которой мне назвал этапный комендант: Троппенгоф. Ждал целый день, а ехать полчаса: расстояние между Крейцбургом и Троппенгофом всего 18-16 верст. Приезжаю, и – о, радостное известие! – отряд мой был здесь и теперь ушел в неизвестном направлении.

Ну, что ж? На нет суда нет, тем более что жизнь человеческая очень несложна, даже удивляешься, как не замечал этого раньше: отыскал добрый кус хлеба, скамейку, а сон у людей, причастных к войне, всегда за спиной, как и смерть.

Наутро просыпаюсь, гляжу, сидит неподалеку от меня другой пассажир, неизвестный мне и грустный. Сейчас же возникает дружественный разговор. Оказывается – ветеринарный врач, тоже ищет свою часть вот уже пятый день.

После сна как-то сразу определился план действий: дал куда следует телеграмму, сижу, жду обратного поезда и смотрю на ветеринарного врача, грустного, молодого и беззубого. Молчим и думаем, что неплохо было бы теперь закусить. Но – увы! – станция пустынна, заброшена, ходят как тени телеграфисты, начальник и какой-то сторож...

Пороптав на судьбу, пошли и мы бродить... цветут уже вишня, черемуха, растянулась степь до самого синего неба.

У платформы, около вокзала, в квадратной загородочке, там, где в мирное время на радость пассажирам растут сирени и тюльпаны, стоят теперь четыре деревянных безымянных креста. В одну могилу, в сырую землю, у подножия креста, врыта по непонятному мне обычаю, высокая жестяная банка из-под монпансье, в другую – черепичный кувшинчик.

Подальше, у дороги, которая идет от задних дверей станции и которая, как и везде в здешних краях,



обсажена с обеих сторон прекрасными, теперь уже зацветающими березами, – еще два креста. Идем к ним. На кресте, первом от дороги, прибита дощечка, на ней химическим карандашом сделана красивым почерком надпись:

«Братская могила нижних чинов»

– Наумов Иван 7-роты.

– Калинин Демьян.

– Санитар Воронов 14-й роты.

– Неизвестный.

Какой такой Наумов Иван погребен здесь? Уж не тот ли, что курил когда-то трубку, смотрел на Западную Двину и думал о бабе своей Ульяне Сергеевне?

И еще более родным, более милым стал душе моей это безызвестный Наумов Иван, которому, вероятно, недавно даже трубка не давала отдыха от печали... Сразу почувствовалось, что не все нервы еще «удалены», и была в этом странная радость, и странная грусть.

Ветеринарный врач походил вокруг могилки, потрогал припухшими, подагрическими пальцами кресты и сказал:

– Тэк-с. Вот и полеживают четыре дружка. Там четыре, и здесь четыре. Итого восемь! – добавил он громко и почему-то с хохлацким акцентом.

Австрийские окопы

Нескладный сон, – один из таких снов, которые бывают в провинции на первой недели поста или в глухую зиму, когда стоят морозы градусов 18, с восточным ветром. Только так можно определить жизнь на войне.

В прошлую субботу вы ехали по пустынной улице. Около дрянной лавчонки – негустая толпа народа.

– В чем дело?

Оказывается, час тому назад над городом летал немец, бросил бомбу, взорвал эту лавчонку, давно не торговавшую за отъездом хозяина. Почему-то в лавчонке была мягкая мебель. Правда – деталь нелепого сна. Теперь эта мебель вся взлетела на крышу соседнего дома, слева, залегла там и стоит почти в том же приблизительном порядке, в каком она обыкновенно располагается в дешевеньких гостиных.

Все живы и здоровы. По всей улице, вдоль, выбиты в окнах стекла.

Сию на бричке и негодую. Все объяснения по поводу случившегося дает мне старик-еврей в черной бархатной шапочке, в длинном патриархальном сюртуке. Рассказывает, смеется и единственно, что вылетает у него по адресу немца:

– Сволочь, и больше ничего.

Молчаливо соглашаюсь с добродушным старичком и еду дальше.

Переехал мост, другие впечатления, и уже все событие отошло куда-то вдаль: каждый день одно и то же.

Начало вечера – в кинематографе: идут «Братья Карамазовы», а потом – в городском саду, где играет отличный духовой оркестр. Мальчишки, радостный народ, облепили раковину, как мухи, и жадно следили за движениями дирижера. От веселой песенки разгорелись глаза, ждут, и вдруг дирижер, резко обернувшись назад, взмахнул палочкой в сторону «публики», и единодушно из свежих глоток вырвался припев. Мальчуганы на редкость стройно подхватили и провели refrain до конца, пока дирижер снова не обратился к своему оркестру. Это напоминает такие же сцены на piazza'х маленьких итальянских городов, первый акт «Кармен».



И вдруг – все врассыпную... Дождя нет... Через минуту всю площадку будто языком слизнуло... Вверху снова тревожное клочкотанье. Медленно, очень высоко плывет по направлению к немцам аэроплан. Одна мысль в голове:

– Бросит или нет?

Б-бах! и на ясном вечернем небе взвилось беленькое облачко, другое, третье... Аэроплан берет еще выше, на каждую секунду вырастают все ближе и ближе к нему новые облачка и загоняют его в самое поднебесье...

Незаметно подобралась ночь. Вызвездило. Все успокоилось. Чуть погромыхивает вдаль артиллерийская дуэль. Вспыхивают ракеты за рекой. Закроешь глаза и думаешь:

– Может быть, это не война? Может быть, это в Версале жгут фейерверк? Именинница королева? На дворе XVIII век?

Приезжаю в отряд. Три версты – стоит враг. Спит христианский мир. В одной комнате со мной лежит на кровати зубной врач. Зачитался «Универсальной библиотекой». Разговаривает сам с собой:

– Надо идти спать.

Сквозь дремоту соображаю: куда ж человеку идти спать, когда он лежит на своей собственной кровати? Потом мне кажется, что врач превратился в огромный, восьмикратный цейссовский бинокль, и вдруг такое чувство, будто кто бьет тебя молотком по голове и орет:

– И в два часа одной половине отряда погружаться на Петербургском вокзале...

– На Петроградском, – поправляет какой-то неизвестный мне бас.

– Пардон! – смущенно поправляется незнакомец. – На Петроградском. Это значит, будет один эшелон. Другой будет грузиться на Риго-Орловском...

Через пять минут наваждение сна проходит, и я уже ясно осознаю, что завтра в два часа отряд идет в неизвестном направлении.

Забегали по двору фонари; забубнили хрипловатые со сна голоса: отряд «свертывается». К рассвету заскрипели колеса...

По новому времяисчислению часы показывают шестнадцать. Мы сидим в автомобилях, погруженных на платформу. Вокруг – хор дивизионных балалаечников.

Прозвучал рожок горниста, и поезд тронулся «в неизвестном направлении». Генерал сделал знак, и струны грянули:

– Выйду я ль на реченьку...

И рождается вздох: Камо грядеши?

Ехать трудно. На самых больших станциях, где есть и обед, и слабоалкогольное пиво, вообще стоит сущие пустяки: 20-25 минут. Кругом жалобы:

– Поесть борща нельзя.

И задержаться нельзя. Чуть просрочили 2-3 минуты, как на горизонте показывается красная фуражка и вежливо торопит:

– На пять минут задержка, и то из Ставки сейчас же вопрос: почему задержаны?

Развиваем скорость Императорских поездов, прибываем утром ... и здесь все уже идет, как говорят музыканты: *prestissimo*; бои, три ночи Дантова ада, Станиславы с мечами и Георгии – все атрибуты нескладного сна. Спутывается понятие времени, не знаешь, какое сегодня число, какой день, а тут еще льют дожди; кажется, что сентябрь.

И вот на артиллерийской телеге, оседлав канцелярский ящик, тащусь на уставших лошадях по лесу, по трусским гатям, и невольно, то и дело, с замиранием сердца, спрашиваешь ямщика:

– Ну что, далеко?



– Теперь с версту.

Одна верста до только что завоеванных австрийских окопов. Слава о них уже прогремела. Посмотрим...

Волны колючей проволоки. Рядов десять уже готово, рядом пять недостроено. Меж проволок густо наложены фугасы, и у них для солдат-венгров поставлены дощечки с нарисованной Адамовой головой, как в аптеке на ядах, и с надписью:

– Asnamezzo!

Целая сеть катакомб, спаянных бетоном и железом и гордой уверенностью, что все сие непреступно и несокруσιμο.

Общая картина со стороны тыла такова.

Воин, австриец или венгр, идет в окопы. Прежде всего его встречает триумфальная арка с патриотическим приветствием. Затем, у самой дороги, – маленькая церковь, сделанная с необычным изяществом: орнаменты и кресты из белой березы придают ей необыкновенную воздушность и легкость. Здесь воин вручал свою судьбу в руке Божии и вступал в огромную сеть надземных и подземных ходов и сооружений. Здесь – и блиндажи, и отлично оборудованные землянки как для солдат, так и для офицеров. Всюду стены завешаны белым полотном. Офицерские кровати напоминают целые готические сооружения. Солдатские нары насыпаны прекрасными, мягкими, мелкорезанными стружками.

Всюду, как серебро с эмалью, царит наша мягкая белая березка... Из нее сделана уютная, очень удобная мебель: кресла, диваны, табуреты, умывальники. Под окнами офицерских собраний – цветники. Всюду разбиты неширокие аллеи, по которым с полной безопасностью можно погулять после обеда. В беседках – столы для чаепития. Неподалеку – дот и, наконец, самые окопы – чудо современного военно-инженерного искусства!

Невольно изумляешься – как эту твердыню могли взять. Люди XX века сотворили два чуда. Сначала выстроили эти окопы, а потом взяли их.

Наша дивизия поистине совершала подвиги. Солдаты густыми колоннами лезли и резали проволоку, и в самый критический момент их окликал голос командира, грудь которого давно уже украшена эмалевым Георгиевским Крестом. Начальник бригады, старый, седоусый генерал, не расстающийся с палкой, лично, как коршун, вел в атаку своих молодцов. Штаб дивизии в полном составе присутствовал у самого поля битвы, и, быть может, эта библейская простота и оказалась достаточной, чтобы победить мудреца.

«Он» чувствовал здесь себя полным хозяином. Огромная сеть правильно распланированных огородов и полей: тут и овощи, и хлебные злаки всяких сортов. В убогих халупах расширены окна и тщательно протерты стекла. Везде наделаны заборы из белой березки. Появился уют. В селах пронумерованы дома. А к лесу вырос целый деревянный город, окрестить который приезжал сам Вильгельм II.

Немцы, видимо, не боятся слов: и Вильгельм пококетничал: назвал его Веденом. Главная улица имеет имя: Вильгельмштрассе. Ни одного hofa, всюду – hotel.

И здесь всюду – следы неприступности, но – увы – со времен Горацио на свете осталось много такого, что и до сих пор еще не приснилось нашим мудрецам.

Австриец корректировал все, вплоть до простой русской скамейки: и к ней он приделал две серебряно-березовых ручки и из нее, таким образом, сделал своеобразный «artid». Briefcasten'ы и кладбищенские кресты – на все пошла белая березка, в которую положительно влюбился наш враг.



Как венец, все, весь окопный комфорт венчает баня, построенная в фольварке, в верстах двух от окопов. «Наши» не решаются назвать это великолепное сооружение баней: они робко именуют его водолечебницей. Паровое отопление, ванны, души, бассейн для плавания, солдатская и офицерская мыльные, и на крыше – огромный балкон, насыпанный песком: для солнечных ванн.

Как жил враг – неизвестно: все население он угнал с собой, не оставив ни стариков, ни женщин, ни детей. На работу он выгонял ребят 12-ти лет. За все платил, но реквизиция была беспощадной.

Отступление свое «он» совершил спешно: оставив нам большую добычу, начиная с пушек и кончая ракетами работы самого Карла Цейса.

Едешь, и вдруг навстречу тебе два казака и австриец. У всех за спинами – ружья.

– Почему у него ружье не отобрано?

Австриец ухмыляется и чистым русским языком отвечает:

– Да так что я православный, ваше благородие. Я русский... Я только в чужую одежду переоделся. На дороге нашел.

Великолепнейшая гусарка!

Захвачены горы снарядов, баллоны с удушливыми газами. У нас в отряде много вражеских палаток: красная покупная цена – рубль.

...Ехал со мной солдат, все осматривал, все оценивал, ахал. Я спросил его:

– Ну как ты, земляк, думаешь: почему немец все так хорошо устроил?

Солдат подумал, почесал затылок и ответил:

– Трус потому что!

...Теперь впереди – новые события, но погода решила отравить людям существование: целыми днями льет ливня дождь, несутся тучи. Живем в лесу, в палатках, все отсырело: папиросы не курятся, спички

не зажигаются, и только артиллерия не прекращает свои грозные дуэли. В конце концов к этому привыкаешь так, как в городе к стуку колес на улице.

Нескладный сон.

Без заграничного паспорта

Ровно год тому назад, в конце сентября, мы, пробираясь на фронт, ехали в поезде по Новгородской губернии, часами простаивали на каких-то унылых станциях, томительно скучали, искали хлеба в опшпанных русских деревнях, делали с голодухи набегии в гостеприимные помещичьи усадьбы, старались, принимая воинственный вид, развеять там страхи грядущего наступления немцев, ели котлеты и любовались из окон агонией северного лета.

В этом году, миновав обаятельный по красоте своего расположения Каменец-Подольск, уже не по железной дороге, а походным порядком, идем по Бессарабии, пробиваясь в завоеванные страны. Верст пятьдесят тянется шоссе по сплошному фруктовому саду: сливы, орехи, виноград, айва. Вдали – очертания Карпат, на каждом шагу – то мотив крымского пейзажа, то мягкий ласковый излом тосканских линий. Юг, тепло. Шоссе радуется и людей, и лошадей, – просто вспомнить не хочется несчастную Волынь и ее пески чуть не по пояс. Бывало, что проехать до станции 17 верст, нужно было потратить 6-7 часов и лошадей утомить до полного изнеможения. А здесь три четверти делаем рысью и лошади прислушиваются к цоканью копыт: они очень это любят.

Везде чисто, опрятно: хаты ослепительно белы, свежавыкрашенные известкой, внутри увешаны коврами местного изделия; сами жители одеваются цветисто и красиво – как-то не чувствуется война и все ее тревоги.



Ехали-ехали, завернули за церковь и наткнулись на буколическую сцену: толпа разряженного народа, свадьба. Прежде всего, конечно, волновались наши сестры: идем посмотреть невесту, а потом – и фотографы с профессиональной жадностью мобилизовавшие свои аппараты.

Невеста, смущенная девушка, чем-то похожая на слегка угловатых героинь Гамсуна, которые ходят носками внутрь, терпеливо ждала, пока фотографы налаживали свои аппараты. Одета она была в высокие сапоги и овчинную, расшитую душегрейку; поверх рукавов – вероятно, для вящего эффекта – повязана желтым шелковым платком. Потом пришел с дружкой невеселый жених, молодой паренек – сняли и его, он терпеливо ждал. Потом из сторожки вышел батюшка, рыжий, веселый и пронырливый, оглядел смеющийся окоп, нашу запыленную компанию и предложил такую комбинацию:

– Может быть, господа, и среди вас подходящий народ есть? Венчаю без очереди.

Поговорил с нами по-русски, с прихожанами своими – по-молдовански.

Гурьбой пошли в церковь смотреть торжественный, умилительный обряд. Посреди церкви вместо коврика послали чистый, расшитый ручник и на него под ноги молодым положили по медной монете: невесте – три копейки, жениху – пятак. Дружок, молодой, статный молдованин, подговорил жениха первому наступить на полотенце: чтобы главенствовать в доме. А черноокая сваха на это же самое дело подговаривала невесту. Рассматривая сторожа, который как две капли воды – врублевский Пан, что висит в Третьяковской галерее, важно расхаживавшего по церкви, я пропустил момент, когда молодые люди приблизились к полотенцу, и не знаю теперь, кто из них будет главным в доме. Но одно странное обстоя-

тельство я заметил: жених вдруг всплакнул. Что за оказия? Потом выяснилось. Батюшка, вдруг серьезный и не пронырливый, начал обычный допрос:

– А не обещался другой?

– Ни! – печально ответил жених.

– А вот той девушке, которая приходила ко мне сегодня жаловаться, что ты обидел ее, не обещался ли?

– Ни!

– Правду говори: может тебя отец заставляет?

И опять слышно печальное:

– Ни!

Запели Исаяя ликуй, короновали молодых венцами, связали руки платком, повели вокруг аналая, и врублевский Пан в первый же обход ловко схватил с пола денег восемь копеек и расшитое полотенце, но ... не было уже радости в торжественном обряде и зло, ревниво, обидчиво сверкнули южные глаза молодой свахи...

О, земля, растящая виноград!

...Вечером, когда на небе уже ясно обозначился молодой месяц, переезжаем маленький мост, и первый раз без заграничного паспорта вступаем в Буковину, австрийскую землю. Это волнует.

Тихие поля, несуровый осенний вечер, местами – полуразрушенные проволочные заграждения, уже обветшавшие окопы... Потом село, расписная по трафарету хата ночлега и две разговорчивые хозяйки, у которых мужья «у неволи, у Кыиви». Легким силуэтом вырисовывается в сумраке большая каменная униатская церковь, в которой странно, но приемлемо, с явным умыслом строителя, слились и византийские, и готические черты.

В пять минут расставлены походные кровати, накрыт стол для ужина, все рады отдыху после дневного перехода, и только фотографии – несчаст-



ный народ – клянут свою судьбу: местная вода содержит в себе какие-то железистые минералы, которые мешают развести проявитель: гидрохинон плавает хлопьями.

Лежишь на кровати, сладко ноют от верховой езды уставшие ноги. Думается о том, как много все-таки сладости в неизвестном будущем: куда бросит нас? В Карпаты? В Румынию?

В кухне зашипело на сковороде, и солдаты уже беседуют с хозяйками о войне, о земле, о царях, о русской и австрийской жизни и о том, что один раз поцеловаться можно.

Наутро осматриваем церковь. Высокий православный иконостас, но амвона и клиросов нет; вместо амвона – католическая кафедра. Униатские священники бежали, и вместо них службу правят наши. Лежат книги, отпечатанные по-славянски то в Киеве, в Лавре, то в Черновицах, в университетской типографии.

Солдаты – народ досужий: смотришь, уже очутились на хорах, кричат откуда-то, что на колокольне есть «огромadneющие» часы, которые бьют в колокол, но теперь стоят. Лезем, смотрим механизм, щелкаем ногтями по колоколам, на них медью отпечатано, что они отлиты для церкви Ильи Пророка. Лезем выше, еще выше, под самую крышу, и вдруг видим: под балку засунуто что-то яркое. Вытаскиваем, оказывается, флаги австрийские, с портретом Франца-Иосифа. На законнейшем основании – военная добыча. А старик-сторож, по здешнему обычаю длинноволосый, кричит внизку:

– И церква вся стоила сто тысяч гульденов и еще пятьдесят. И вот это место капитанско, а это архимандритско.

Показывает два кресла под балдахинами.

Предъявляем старику конфискованные флаги.

– А это зачем спрятал на колокольне? А?

– Шо? – спрашивает старик, будто ничего не понимая.

– Флаги – видишь? Австрийские флаги... Зачем спрятал, а?

Старик вдруг понял и разразился клятвами:

– И чтоб меня гром, и чтоб меня червяк...

В церкви от камня зябко, холодновато. Выходим на солнце, в ограду: здесь рядками стоят чистенькие, новенькие кресты: все солдатские – чужая печаль. Часть стены церковной сбита жадными снарядами, и, как кровоточащая рана, смотрят из-под белой штукатурки красные кирпичи.

...Трогаемся в путь. Внизу, в долине серебрится Прут. Ищешь глазами, где назначенный нам для перехода мост. Светит яркое, но уже не горячее Божье солнце на широкий и красивый мир. Уверенно и степенно шагает конь, к которому уже привык и которого любишь и знаешь, как человека. С человеком нужно пуд соли съесть, с конем – проще: этот если не полюбит, так сразу и скажет. Будет и рабом бежать, силе и хитрости человеческой повинуюсь, но нелюбви своей скрывать не станет. Рядом со мной на «Маркизе» едет товарищ. Мой «Чародей» ревнует ее к «Агату». Говорят, что недоразумения у них начались еще с того времени, когда ехали эшелоном, в одном вагоне, и теперь «Чародей», забывая и службу, и дружбу, то и дело оглядывается: нет ли поблизости «Агата»? И если увидит, то ржет, прыдет ушами и гневно копытом роет землю. «Агат» отвечает тем же, и чуть всадник на минуту зазевался, того и гляди, что грянет жестокий бой за красавицу, единственную у нас, уже перезревшую и, пожалуй, даже очень.

Скоро кончается имеющийся у нас маршрут, и где-нибудь поблизости, по дороге, должен встре-



тить нас солдатик, чтобы передать секретный пакет. И впрямь: неподалеку от дороги маячит серая фигурка и от скуки черный хлебушко жует. Завидел нас, бежит, докладывает:

– Пакета вам нетути, а велено вам в Черновицу явиться. Там вас штабс-капитан ждет.

– А где его там можно найти?

– В гостинице, – и солдатик мнетя, – только вот как она называется – забыл.

– Ну как же это ты, братец?

– Запаятовал. Начинается она на букву Бэ.

– Ну какие же гостиницы бывают на букву Бэ? Бэль-вю?

– Никак нет.

– Бельведер?

– Никак нет.

– Бристоль?

– Они самые.

– Ну, какие они? Повтори.

Опять мнетя солдат и краснеет:

– Смелости нет, ваше благородие. Не могу.

– Эх ты, дядя!..

Поехали. Солдатик опять скатился в канаву, и опять вслед нам черный хлебушко зажевал.

И опять происшествие. Бросился в Прут наш Неро, черный великолепный сеттер. Истомился от трудной дороги, поплыл, видимо, радуется, но течение, чем ближе к середине, тем быстрее, и молодому псу с каждой секундой справляться с ним все труднее и уже посматривает он на нас неуверенными глазами, но смущения своего не выдает и назад не поворачивает. Больше пса приходит в смущение хозяин его и уже не Неркой-прохвостом, а Нерочкой кличет. Пес фыркает, крутит головой, глаза блестят все ярче и испуганнее, – вдруг потихоньку завизжал и уже, видимо, соображает тупо.

– Нерочка! Нерочка, черти бы тебя взяли! Нерочка!

– Нерка! Плыви назад, шут гороховый!

Показывают ему с моста руками, как нужно плыть. И вдруг Нерка понял, повернул, поплыл к берегу, выплыл и минуты две отдышаться не мог. Вода с него ручьем льет: почувствовал он радость спасения и шаром покатился по пыли, встал, фыркнул и, правда, не узнать пса: серый, грязный, истинно-гороховый шут. Потом начал облаивать лошадей прямо в морды. «Чародею» было не до того, и он чуть было не показал развеселившемуся псу кузькину мать.

Вдали – уже Черновицы. Отделяемся втроем от своих, скачем напрямки, и через полчаса лошади уже цокают по *Russi chegasse*. Снова – Австрия. «*K.K.Tabak-tralik*», черные орлы на почтовых ящиках, к которым приклеена надпись по-русски: «Письма не опускать». Приезжаем в «Бристоль» – штабс-капитана нет: на вокзале. Едем на вокзал, но и там его нет. Обедаем: отличный малороссийский борщ, отличная телятина.

– Провизия из России?

– Ни. Местна.

Обед – рубль тридцать. Хлеб чудесный – покупаю один большой, чтобы угостить «Чародея». Кстати потихоньку ворую от кофе четыре куска сахара: ему же на десерт. Пообедали – насилу на лошадей взлезли. Поехали, по дороге завернули в аптекарский магазин. Фотограф узнал цены и взволновался.

– Бумага, 9x12, шестьдесят копеек, а у нас – рубль десять.

Духов, одеколонов нет: все русские раскупили. Мыло в Австрии дрянное, но купили впрочем и мыла. Купили красок, машинку для сигар и две за-



писных книжки. Пошли по улице вверх и к покупкам прибавилось: две щетки, 10 конвертов, бумага для визитных карточек и 20 аршин шерстяной материи.

Вдруг по дороге, навстречу, идет штабс-капитан. Боже мой! На чужой стороне и вдруг свой человек. Штабс-капитан был тоже с покупкой. Ее за ним нес хлопчик, как здесь зовут мальчишек.

Оказывается, нам в Черновиках три дня стоять: пошли к коменданту, записались в «Бристоль» и получили номера с горячей водой по рублю в сутки. Умылись горячей водой и нечаянно облили фотографическую бумагу.

Черновицы – чистенький, опрятный городок. Никаких «кризисов» незаметно. Нет ни сахарных, ни мясных хвостов. И дни все – мясоедные. Каждый день за завтраком едим телячьи котлеты с превосходно засоленными огурцами. На обед – мясо и борщ, какой дай Бог есть в Москве, в «Праге». Против моей гостиницы в понедельник был базар: длинноволосые, похожие на евреев крестьяне привезли птицы видимо-невидимо. Из России сюда ввозится только сахар и табак.

Население относится к нам корректно, потому что русские держатся здесь мило и почти застенчиво, а присущая нам щедрость и широта смягчают незнание здешних обычаев и нравов.

Странно видеть в кинематографе картины с немецкими надписями. В то время как наше киноискусство за эти два года научилось разрешать «психологические проблемы», хоть и в масштабе цыганских романсов, здесь «сильно-драматические» эмоции вызывает все еще благородный и храбрый сыщик Ник Картер, а «сильно-комические» – вертлявый враг Макс Линдер.

Деньги здесь в ходу всякие: и австрийские, и германские, и русские, и румынские. При покупках

крону рассчитывают по 40 копеек, причем чувствительно относятся к малейшему колебанию курса и уверяют, что валютные расчеты лучше всего ведут торговли на Ringlatz. Недовольно население только за то, что русские взвинчивают цены. В этом отношении таких мастеров, как мы, действительно поискать...

...Завтра выступаем в места, где, как уверяют приехавшие офицеры, уже мороз до 10 градусов.

– Слава Богу, что не 15, – сказал мой денщик, казанский татарин.

Несчастный день

Бывают дни, когда вам «определенно не везет».

Дней одиннадцать или двенадцать вы жили походным порядком. Был, скажем, конец августа, была августовская благодать. Шли по прелестным бульварам Бессарабии, среди садов, в которых не пряталась, а, наоборот, давила вас своим обилием и роскошью малиновая слива, а орехам, только что созревшим, хрупким, цена была три синеньких марки за сто штук. Этим добром были набиты все кобуры вашего седла. Самое седло – чудесное, массалитиновское, из Киева. Конь ваш – друг ваш.

Вы ехали затем по дорогам Буковины, останавливались на ночлег в покинутых, очаровательных фольварках, ужин вам накрывали в парках, уже заметаемых опадающей, но еще не засохшей листвой. Хозяйка дома протягивала к вам, как к «беспощадному победителю», руки и просила не занимать комнат на втором этаже:

– Там спят дети, добрый пан, – говорила она.

– А где ваш муж, сударыня? – спрашивали вы, когда отношения окончательно налаживались.



– Он в наших войсках, пан, – отвечала она, – он гусарский полковник.

За одиннадцать дней похода вы столько пере-думали, перечувствовали... Сколько очарования, новизны, неожиданных встреч, столкновений, – сколько смешного порой.

Одиннадцать дней, одиннадцать ночей никогда не вычеркнуть из жизни, и вдруг на двенадцатый вам «определенно не повезло».

Началось с того, что вы, согласно со вчера на-меченному распорядку, встали в пять часов. Так как август уже на исходе, то в пять часов еще темно, в па-латке холодно, и ваш электрический фонарь, за ночь, должно быть, отсырев, перестал вдруг зажигаться. Из-под горы одеял и шинелей вы вылезаете и долго не можете нащупать своей нахолодавшей одежды, а денщик, аккуратнейший и честнейший Мустафа, льет вам холодную воду не на руки, а на сапоги.

Светит еще, рогами вниз, отяжелевшая за ночь, сонная, злая луна; на дворе уже накрыт завтрак, а на завтрак дают холодный кофе в эмалированных кружках и крутые яйца. Одно утешение: сегодня – последний день путешествия, сегодня мы приез-жаем в свою дивизию, которая опередила нас по железной дороге и давно уже стоит на месте, а в дивизии все свои, все прекраснейшие и радушней-шие люди, с ними сжился, сроднился. И пусть сей-час холодно, темно, неудобно, а часам к двенадцати будет солнце, засверкают красотой великие Карпа-ты, а часам к двум сядем за обед уже в штабе: повар там отлично варит суп с кореньями и еще лучше жарит ростбиф, а оркестр, струнный, чудесный ор-кестр, состоящий из учеников консерватории, уже окончательно, вероятно, разучил интермеццо из «Сельской чести».

...О русская манера говорить на заре!



Человек, должно быть, не спал всю ночь или были у него какие-нибудь неприятно вещие, кошмарные сны. Человек разозлился, говорит, а я сижу подле палатки, гляжу на малокровный рог все более и более бледнеющего месяца, жду, когда приведут оседланную лошадь и слушаю.

Человек говорит:

– Эта проклятая война стала уже бытовым явлением. Когда она была, или когда ее воображали праздником – еще было ничего, но теперь, когда румяна и белила стерты, когда фейерверки погасли, когда начались будни, то, о, будь они прокляты! Война эта так же скучна и ничтожна, как современный человек, как это ничтожное и атаквистическое и бездарное начало XX столетия. Вы будите меня, выругаете меня, а я не хочу вставать и не встану. Вы отвратительны мне. Вы перебили мне сон. Будь вы трижды неладны. А видел я во сне Венецию. Будто иду через Риальто и покупаю себе шоферскую фуражку. На кой черт она мне – не знаю, никогда не носил шоферских шапок, а тут вот вынь и положь, – дай шоферскую шапочку с длинным козырьком, и чтобы материя была клетчатая. И спешу, спешу куда-то. А Венеция расстилается передо мною, как стихотворение, напечатанное на неизвестном языке. А вы знаете, что такое Венеция?

– Подите к черту! – говорит мрачный бас.

– Самое очаровательное там – это часы на площади Сан Марко. Бой этих часов необычайно волнует вас. Вы только вспомните. Этот бой слышали люди, жившие семьсот лет тому назад! Поэтому бою спешили на свидания, в театры Гольдони и Гоцци, по этому бою начинались церковные процессии, прием послов во Дворце дождей... А вы знаете, какие люди жилали в Венеции?

– Подите к черту! – говорит мрачный бас.



– Эти люди были изящнейшими людьми мира. Вы подумайте, вы вообразите только: в Венеции шесть месяцев подряд длился карнавал. Маска была священным установлением. Вы совершали преступление. Вас хватали, но с вас не снимали маски. Вас вели к судье, и он сажал вас по делам вашим в тюрьму. Вы имели право отсидеть в этой тюрьме, не снимая маски. Отбыли наказание и опять в толпу, в маскированную же толпу, как в воду. Кто вы и что вы – это никого не интересовало. Вот это были люди! Это была жизнь! И в соответствии с этим были войны... А сейчас?

– Слушайте! Подите к черту! – кротко повторил бас.

– А как они одевались эти люди! Боже мой! Вы были в Museo Civico? В Museo Civico вы увидели бы... Да, вы увидели бы, какая жизнь была на земле. И если мне кто-нибудь скажет, что со времени XVII века на земле был прогресс...

– Если вы не замолчите, – предупреждает кротко бас, – то я вас назову кислым словом.

– Я не могу молчать больше, – говорит человек, – я не могу больше думать там где-то, внутри себя. Я должен говорить, – иначе расшибу себе лоб о стену.

– И расшибите.

– И я хочу сказать, что эти люди жили и эти люди воевали, и я понимаю их войны – семилетние, тридцатилетние, столетние войны. Но теперешние войны. О, что могли выдумать эти несчастные в котелках и пиджаках? Все на земле стало серо, «практично», все измельчало... Разве мыслимо, чтобы теперь построили такой собор, как миланский, как кельнский, как флорентийский? Такой дворец, как венецианский? Разве мыслимо, чтобы появились такие люди, как Тициан, как Леонардо, как Микеланджело, как Рафаэль? Такие писатели, как Данте,

Мильтон? Все на земле измелъчало. Исчезла лютня и захрипел граммофон. Умирает как лебедь театр и шуршит как плакат кинематограф. Вырождается актер и на смену ему идет жонглер, прыгающий, скачущий в муке, в воде, обливаемый помоями. Пропадает честный и бравый солдат, дерущийся на стене Нюрнберга, – и, как последний крик века, явился немец, помесь шулера и ватерклозетчика, со своими предательскими «героическими» удушливыми газами.

Привели лошадь. Сажусь в седло и, уже отъезжая, слышу:

– И вот идет четвертый акт пьесы. Не кто-нибудь, не дядя Ваня, не Соня, а мы – мы должны задать этот вопрос: Когда же мы отдохнем, когда мы увидим небо в алмазах? И помянет ли кто-нибудь в грядущем наши муки? Наши страдания?»

И смягчившийся бас отвечает:

Встаньте. Выйдите из палатки и посмотрите. Небовутреннихалмазах. Горит Аврора. Астрададания – зачем их помнить? Что пройдет, то будет мило.

...Несчастный день.

Не дожидаясь, пока тронется отряд, еду один. Холодно, где-то за горами встает с каждым днем все более и более запаздывающее солнце. Вам хочется поскорее согреться, поскакать, но в это время вы замечаете, что конь ваш припадает на переднюю левую ногу. Еще осложнение, связанное с беспокойством за любимого.

Что с ним? Перековали его, что ли? Или ушиб ногу? Или просто натрудил ее? Не шутка – одиннадцать дней от солнца и до солнца прошагать по каменистому шоссе. Теперь вам понятно, почему он все время норовил бежать по краю дороги, где мягче, где более толстым слоем лежат пыль и земля.



Недалеко от моста вы слезаете, начинаете исследовать копыто, которое он вам трогательно и доверчиво подаст, но ничего заметить не можете.

Есть и среди коней шулера, как, например, Гришка. Это конь лукавый и хитрый. Когда он хочет уклониться от исполнения своих служебных обязанностей или когда ему после привала лень сразу взять надлежащий ход – он начинает выделывать «трюки»: как-то особенно, болезненно встряхивает гривой, симулирует хромоту, выдумывает вообще что-нибудь в этом роде, но – увы – хитрость эта бывает шита слишком белыми нитками. Чародей – конь джентльмен, и если он захромал, я верю ему на слово и еду тихо.

Встает потихоньку день, ленивый и хмурый. Легкой позолотой покрываются вершины гор. Мне кажется, что солнцу надоело освещать кровавые поля. Конечно, шар земной – пылинка, и что такое люди? Но все-таки стоны, мольбы, проклятия... И утренний разговор, лениво вами подслушанный, невольно лезет в голову.

Что сегодня? Конец августа?

Бывали и у меня годы, когда я в это время купался на Капри, на Granda Marina, и черномазая Мариэтта знала, что я, долго пробыв в воде, люблю пить марсалу или мальвазию, которую сюда доставляли сверху, из Анакапри, из той гостиницы, в которой любила останавливаться шведская королева. А теперь – холодный кофе, крутые яйца, которыми меня угощает рыбак с самарской Волги, ленивый и умный парень с походкою вразвалку. Моря нет – кругом горы, о которых я что-то не слышал легенд. Горы то зеленые, то серые, и нет в них, кажется, тайны. Это не горы Капри. Там сирены, там скалы, которые взбешенный Полифем бросал в след убегающему Одиссею, там остров Мертвых.

Несутся хмурые горные реки. Птиц не видно. Среди этого пейзажа странно встретить русского солдата, русскую телегу. Война – деловая, скучная и противная, как затянувшаяся смертная казнь.

– Спешим, Чародей. Приедем поскорее, ты отдохнешь, я достану тебе горного душистого сена. А меня наш милейший дивизионный врач Иван Иванович угостит коньяком, который он держит в одеколонном флаконе, и на закуску велит очистить тарань. И мы отдохнем, мы согреемся, взглянем на свежие газеты, поговорим.

...Въезжаю в деревню. Солнце высоко. У одного дома вижу большое зеленое полотнище дивизионного флага.

– Где квартира дивизионного врача?

– А вот. Второй дом.

– Подержи лошадь. Вы входите к Ивану Ивановичу, сердце ваше полно ласки и приветов, а Иван Иванович вскакивает, как укушенный мухой, и огорошивает вас места в карьер:

– Где вас до сих пор нелегкая носит? Вы были обязаны прибыть вчера! Где ваш отряд? Почему запылали на целые сутки?

– Отряд идет по дороге сюда.

– Почему же вы не прибыли вчера?

– Потому что приказано было заночевать там-то.

– Что вы ерунду порете? Вам нужно было ночевать там-то.

– Извините. У меня приказ.

– Кто вам приказал?

Говорю, кто.

– Не может быть! Мы сейчас проверим. Идемте в штаб.

– Идемте в штаб.

Идем в штаб. Выясняем. Я прав, как таблица умножения, но это мало радует, потому что, ока-



зывается, там, на горах, уже часов шесть или семь как начался бой, и дивизионный транспорт не успевает вывозить раненых: дорога трудна и высока – 1200 метров. И теперь, значит, мы должны влететь в труднейшее дело, даже не дав отдыха утомленным лошадям.

Несчастный день!

Поджидая отряд, захожу в хату, где, видно с улицы, в большой печи ярко пылает огонь.

В хате шумно встают. Оказывается, пленные австрийцы. Несмотря на то, что бой идет всего несколько часов, их уже взяли шибко. Среди них различаю – по звездочкам на воротнике – пленного офицера. Мы знаем, какие части стоят против нас.

– 33-я дивизия?

– Да.

Знакомимся. Садимся рядом у печи.

Попасть в плен... Это случилось первый раз в жизни. Какая сила ощущений, переживаний, страха, надежды! Сильнее это или нет судебного, например, приговора? Сидит с вами рядом человек, молодой, красивый, интеллигентный, и улыбкой прикрывает все, что делается в душе.

– Откуда вы?

– Из Будапешта.

– Профессия?

– Адвокат.

У меня есть коробка английских папирос. Он достает длинные тонкие сигары с мадьярской короной на красной бумажке и указывает, какая лучше.

Закурили. Заговорили. Вижу, что у человека отходит мало-помалу душа. Сзади, насторожившись, слушают нас солдаты. Сколько их, этих высоких шапок, сине-серых пальто, грязных сапог с серой лен-

той вместо голенища. Почти у каждого узелок, кружка, сверток. А у моего офицера – только браслет с часами.

– Разменяйте мне деньги, – просит он.

– Пожалуйста.

Он протягивает мне сотню новеньких свежеотпечатанных крон. Я ему даю тоже новенькие, свежеотпечатанные рубли. Солдаты, как дети, бросились рассматривать наши деньги.

– Куда же меня теперь? – спрашивает офицер. – В Томск?

– Должно быть, – отвечаю.

– Хороший город?

– Да. Университет, технологический институт, духовная академия, театр.

– Холодно?

– Да, пожалуй, холодно. А у вас кроме этой одежды ничего нет?

Офицер смеется. Ему лет 27, он молод, губы красные, глаза веселые.

– Ничего.

– Значит, *omnia mea?*..

– *Mesum porto*, – весело подхватывает он.

Устроил ему завтрак, попрощались, обменялись адресами.

– Кончится война, живы будем – встретимся в Будапеште.

– Надеюсь, вы покажете мне город?

– О, да!

– Я бывал в Будапеште, но проездом, от поезда до поезда; помню только, что там нет ни одной немецкой вывески, а это, казалось бы, странно для немецкого государства.

– Да ведь мы ненавидим этих прохвостов – немцев, искренно срывается у офицера.

– Но и нас, русских, тоже не любите?



– Сказать правду... – мнется офицер, – Согласитесь сами, трудно забыть 48 год.

О, этот 1848 год! Есть такая русская пословица: «Кинь хлеб-соль за лес, пойдешь – найдешь».

...Как змея тянется по дороге мой отряд. Отдых? Какой к черту отдых, когда идет бой, когда, хоть и не по своей вине, но опоздали! Надо лезть на горы, да поскорей, да подружней!..

И полезли...

Совершенно новое, первое в жизни, ощущение: лезть на горы, в бой. Все уже позади было: и болота северного фронта, и сыпучие сахарские пески западного фронта, – и теперь вот надо одолевать горы – огромные, бездорожные, крутые.

Кругом кипит работа по прокладыванию гатей. Саперы, местное население обоего пола, ярко, цветисто одетое, – словно зашевелилась картина во вкусе Кустодиева. Роят, ровняют землю, возят на тачках камни, тешут дерево... На высотах рубят лес, и любо, и жалко глядеть, как могучий ствол, ловко пущенный дровосеками, скользит вниз по горе, как по льду. И в этот красивый, жуткий момент как-то невольно обращаются на него взоры всех: и проезжего деловитого штабс-капитана, и рабочих в альпийских шляпах с пером...

У подножья гор боя не слышно. Всюду тишь, гладь, Божья благодать, радость почти мирного труда. Ползут вверх только наши зловещие двуколки. Крутизна огромная, лошади устали, и невольно вырывается вздох у кучера:

– Эх, коняги, коняги! Ну, люди по делам своим, по злости своей мучаются, а вы за что? Ну, вот, смотрит, ваше высокородие: откровенно берут, а ничего не попишешь. Силы не хватат...



Да, силы «не хватат». Остановилась одна пара, другая. Кучера бегут с поленьями в руках, с камнями, которые сейчас же и подкладывают под задние колеса. Начальник обоза сильно не в себе: то покраснеет, как кумач, то бледнеет как полотно. Молчит, и только скулы нервно двигаются.

Поехали дальше... Засуетились, замахали руками.

– Ну, ну, ну... Ну, еще немножко..., Ну, Господи, поможи!

Несколько нервных вздергиваний – лошади не выдерживают равновесия, и одна двуколка летит в обрыв.

– Сто-ой!..

Спасибо, что внизу не так еще глубоко, и, кроме того, все поросло лесом: лошади целы, кучер цел, только экипаж рассыпался.

– Ну, это починить – пустяк дело, – говорят эксперты.

Двинули дальше – полетела туда же походная кухня.

Несчастный день.

Справились – поехали.

Я отстал. Сел на камень, Чародея пустил в траву. Вспоминаю, что это место Карпат служило у австрийцев ссылкой. Что ж? Скучновато только, а так, в рассуждении всего прочего, – благодать, климатическая станция.

Ползут вниз легкораненные. Белые, свежие повязки; красными жгучими пятнами просочилась кровь.

– Ну, как, земляк, дела?

– Дела – слава те Господи! Пленных забрали массно...

Взобрался на гору. Смотрю, правда: ведут огромную партию пленных. Налаживаю фотогра-



фический аппарат: скорость пятидесятая, диафрагма $12^{1/2}$. Ничто так не бодрит и не поднимает веселого боевого настроения, как вид только что взятых пленных.

– Ага-а! Попались голубчики!

И пленные... Это одно – те пленные, которых вы видите у себя в тылу, когда они, уже успокоившиеся, с трубками в зубах, работают на рельсах трамвая, роют грядки в садах, строят дом. Совсем другое – когда пленный весь еще в ощущениях только что пережитого ужаса боя, во-первых, и, во-вторых, когда неизвестные люди неизвестной дорогой ведут его куда-то в неизвестное место на неизвестную судьбу.

Впереди идут офицеры, сзади – солдаты, и у всех на лицах одно: или пан, или пропал. Все стараются идти молодцевато, лихо отковыривают. Среди них ваше внимание захватывает одна странная фигура, кого-то смутно вам напоминающая. Огромного роста, двумя головами выше всех, с огромным носом, без шапки, с длинными зачесанными назад волосами, бритый и худой, идет, как козел среди стада, офицер. Он хромает, но идет со всеми в такт. Вдохновенно, куда-то вдаль смотрят его глаза: как будто впереди еще есть враги и еще грядет бой. Так идет Петр Великий на серовской картине. Так, вероятно, ходили ветхозаветные пророки.

Вам это лицо странно знакомо. Где-то, когда-то вы видели или его, или что-то очень на него похожее. Минут десять вы не даете себе покоя и все перерываете в своей памяти, и когда нашли, то улыбка невольна расплывается во всю.

... Был тоже несчастный день.

Несчастный день клонился к вечеру. Бой стихал. Поработали. Поволновались. Немало «кислых слов» сказали друг другу. Закусили и обсуждали, как быть с ночлегом. С собой мы привезли две палатки.

В одной, большой, мы оборудовали наспех перевязочную, другую, маленькую – отдали сестрам. Сами решили спать на вольном воздухе.

Любовь

Я ехал из Петрограда на фронт. В купе со мной вместе было две женщины: старая и молодая, по виду – мать и дочь.

Мать – суетливая хлопотунья, с белоснежным воротничком, с седыми, гладко, на две части, расчесанными волосами, – маленькая, легенькая, уже пошедшая в землю. Таких в провинции немного насмешливо зовут: «старушка – Божий дар». Дочь – выскокая, красивая, грустная. Если бы нужно было лепить символическую статую такого, например, гордого города, как Генуя, – лучшей модели не найти.

У матери по отношению к ней было что-то заискивающее, предупредительно заботливое. Так внимательно-участливыми бывают к людям, которые только что оправились после тяжелой болезни, которых увозят от неприятных воспоминаний.

Багажу с ними было немного: большой чемодан в суконном чехле и два – желтых маленьких, с потускневшими, поцарапавшимися ярлыками зарубежных гостиниц.

Поезд шел неровно, не аккуратно, «на втором сорте угля», как объяснил кондуктор.

– Удобно ли тебе? – ласково и заискивающе спрашивала старушка.

– Очень, мамочка... Не беспокойтесь, – также ласково, но сдержанно и с какой-то чужбинкой во взгляде отвечала дочь.

– Может окно закрыть? А то, гляди, надует, зубы заболят...

– Нет, что вы... Жарко.



Было, правда, жарко. Стоял спокойный и торжественный май. Мне в беспечном воображении двенадцать месяцев всегда представляются двенадцатью апостолами и май для меня – евангелист Иоанн, молодой, с льняными волосами и доверчивый. Небо поднялось высоко, удлинённые перекосившиеся тени тащились с нашей стороны и казалось, что день никогда не кончится. В соседнем купе офицеры вспоминали, как хорошо теперь ехать по Волге. Около Васильсурска поют соловьи. Ночи густые. На пристанях – желтые огоньки, на пароходе едут какие-то заспанные бабы. Тишина.

По разговору было видно, что один офицер – ярославец, а другой – или саратовец, или астраханец. Обыкновенно, люди злятся, когда поезд идет неряшливо, а тут все были ему благодарны, каждый поворот колес приближал нас к войне: ехали в Двинск.

Я вспомнил одного знакомого художника, который говорил, что в портрете он особенно любит писать руки. Люди не замечают, но руки живут почти такой же одухотворенной жизнью, как и глаза. По рукам скорее даже можно узнать, о чем думает и как мыслит человек, чем по глазам, зеркалу души. У этой девушки были прекрасные руки, пожалуй самые прекрасные, какие я только когда-нибудь видел. Как она, вероятно, играет на рояле!

Не вытерпел и спросил:

– Вы играете на рояле?

Девушка неохотно, не взглянув, ответила:

– Да.

Зато старушка словоохотливо поддержала разговор.

– Ах, как Ната играет, это послушать надо! – восторженно заговорила она, – Боже мой! Как она играет! Какой это восхитительный талант!

Меня поразило полное спокойствие девушки. Слова старушки не смутили ее и не растрогали. Она просто не слышала их. Я заглянул ей в глаза и убедился, что ни нас, ни проносящихся полей и деревень, ни станций, ни своих чемоданов она не замечала. Она была далека от всего: и от суеты поезда, и от наших разговоров. И по тому только, как ее нежные единственные пальцы, задумчиво и медленно, совершенно машинально, не чувствуя своей работы, перебирали кружева на кофточке, я понял, что в сердце этой девушки живет захватившая ее в свои когти человеческая, жестокая любовь, – та, которая сильнее смерти.

– Она наизусть знает Grande Sonate Чайковского, – говорила старушка не без тайной мысли угодить девушке, – это была любимая пьеса Витечки.

Я ошибся. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Витечка – сын старухи, офицер, недавно, в апрельских боях, убитый. Девушка – не дочь ее, а невеста Витечки. И теперь обе они едут отыскивать его тело и в багажном вагоне везут с собой цинковый гроб.

– Как же вы будете отыскивать его?

Долго я не решался задать этот вопрос. Казалось мне: если офицер убит в апреле, – то не зря ли они, эти святые, едут? Кругом – тысячи безвестных могил. В которой из них они будут отыскивать его?

– Отыщем. Бог поможет, – просто и спокойно ответила старушка.

Вечерели поля.

Вдруг лукаво улыбнувшись, старушка сказала мне:

– А взгляните-ка, батюшка, в окно.

Я взглянул, ничего не заметил и спросил:

– В чем дело?



– А в том дело, – ответила ласково старушка, – молодой месяц родился.

– Да, да, правда, – ответил я, посмотрев на небо, – молодой месяц.

– И у вас – с правой стороны. К деньжонкам, ба-
тюшка, к деньжонкам. Верная примета. Попросите
– займы дам.

– А вы дайте, рубликов триста, – пошутил я.

– А и дам, – отвечала шутливо старушка, – а и дам? Что ж такое? Вот приедем на станцию, разме-
няю – и дам. Что ж такое? Дело верное.

– И мне, бабушка! – робко попросил из-за стены
ярославец.

– И тебе, внучок, дам! – шутливо и с явным удо-
вольствием ответила старушка.

– А у меня месяц с левой стороны! – пропищал
обиженно астраханец.

– А тебе не дам! У тебя денег не будет. Нечем от-
давать! – наставительно говорила старушка.

Офицеры пришли в купе, отрекомендовались, угостили всех финиками, и пошла общая шутливая беседа, в которой только девушка не принимала участия: прекрасные пальцы плели свою бесконечную работу. И думал я, глядя на эту олицетворенную печаль: «Вот это – любовь».

И как-то непонятно мне было материнское, порою веселое, улыбающееся лицо, старческие притворно-хитрые, лукавые глаза.

Дальше – больше, выяснилось, что Витенька служил в той же дивизии, в которой служил и я. Мне показалось, что мы с ним даже встречались, – по крайней мере лицо его на фотографии, которую старушка достала из желтого чемоданчика, показалось мне знакомым.

Офицеры искоса и испытующе поглядывали на девушку, бегали на станцию за кипятком, но когда



предлагали чай или финики Нате, она отказывалась, сначала долго не понимая, чего от нее хотят, а когда понимала, то пальцы ее останавливались, она слабо улыбалась и говорила:

– Нет, благодарю вас. Не хочется.

– Вот этак и живет, – доверительным шепотом сообщила нам всем старушка, – не ест, не пьет. Тает, как свеча. От лица огня.

Она, видимо, уже привыкла к тому, что Ната ничего не слышит, не видит и вообще – далека от всего.

Пришел кондуктор и весело объявил, что опоздаем в Двинск часа на четыре с половиною...

– Уголь-то... Разве это уголь? – говорил он, поигрывая фонариком, – шелуха, второй сорт!

Ночью, проснувшись и приглядевшись к темноте, я увидел, что старушка мирно и глубоко спит, а диванчик Наты, покрытый простынею, – пуст. Ложась и задергивая свет синей занавеской, старушка убедительно просила меня ночью не курить, и поэтому, достав папиросу, я вышел в коридорчик. Был третий час, на востоке уже заваривалась какая-то каша из ярких разноцветных огней.

У окна, положив голову на сгиб руки, прислонившись к зеркальному продолговатому стеклу, стояла девушка и смотрела на запад, где дольше всего упорствовала темная ночная полоса с побледневшими звездами.

Я долго не решался зажечь спичку. Мне казалось, что этим огоньком я оскорблю и вспугну ее печаль. Но вот прошел кондуктор, осветил пол и стены колыхающейся полосой желтоватого света, неловко и неосторожно зацепил девушку плечом, и она даже не повернулась и не взглянула.

– Что наши пустые огоньки рядом с этой печалью? – думал я и было тоскливо и грустно, что эта



волна подлинной, благословенной любви идет мимо меня, – мимо одинокого, усталого и, в конце концов, безрадостного существования. Была огромная, незабываемая красота человеческого чувства, перелитого в великую, молчаливую и потому святую тоску.

Я снова лег, долго не мог заснуть, а утром уже был печальный Двинск с ежедневными немецкими аэропланами, и жандармы ходили по вагонам, хмуро и недоверчиво проверяя документы. Вагон с левой стороны был полон солнца и суетливых хлопот. Офицеры рассыпали финики, а старушка волновалась: приедут ли за ними обещанные из штаба лошади? И волновалась не безосновательно: лошади не пришли, но мой «трандулет» был на своем обычном условленном месте и мой философ Мустафа давно уже поджидал меня на перроне и мрачно, с татарским акцентом, сказал при первой встрече:

– Здравствуй что ли, ваше высокородие!

Я предложил дамам ехать со мною. Старушка согласилась и оживленная радостность, так подхлывшая к майскому пятнадцатому утру, снова появилась на ее свежем, слегка сморщенном личике, Чемоданы поручили Мустафе под ноги, сам я устроился рядом с ним на козлах, и мы тронулись в путь через город, быстро проехали неказистые грязноватые улицы и покатали по вековой аллее, рассаженной на высоком берегу Двины.

Двина, огромная, широкая, полноводно-зеркальная, была на редкость по-весеннему уютна и красива. И вся ее мощь и простор особенно ярко выявились тогда, когда лошади, с явным удовольствием прислушиваясь к стуку копыт по дереву, въехали на середину только что наведенного, свежеструганного и потому приятно-душистого моста.



К обеду мы приехали в свою часть.

Я пригласил дам переночевать и отдохнуть с дороги у меня, об их приезде протелеграфировал в штаб полка, в котором служил убитый офицер, и к вечеру на санитарной двуколке приехал к нам денщик покойного и привез его вещи: чемодан, револьвер, шинель и полевой бинокль венской работы.

Старушка все это осмотрела хлопотливым опытным глазом, и часто из-за перегородки слышалось, как она разговаривала с собой:

– Ишь ты, пуговочка-то, оторвалась... С мясом прямо вырвалась...

Всю ночь напролет она просидела, перебирая вещи, и я, не видя, знал, что она вынула слипшуюся кисточку для бритвы, заново свернула белье, побранила прачку за плохую стирку.

– А стирал-то, небось, солдат, – бормотала старушка, – не мужчинское дело.

Были какие-то новые ни разу не надеванные носки, которых она еще не знала и которые покойник купил, видимо, уже на фронте, нерасчетливо, в какой-нибудь случайной экономической лавочке. Все это она перебирала с любовью и заботливостью и нравилось ей, и льстило, что сын ее – такой аккуратный и чистоплотный офицер, что был у него мудреный и сложный бритвенный прибор, солидный чемодан из настоящей кожи и хорошее шелковое белье, на которое не заползает никакая гадость.

Наутро, руководимые денщиком, взяв с собой двух санитаров и лопаты, мы в двух экипажах, поехали искать тело.

Опять бесшумно горел на земле чудесный весенний день, в мае шестнадцатый, и опять цокали лошади по утрамбованной, глянцевитой дороге.

– Они это любят! – с видом знатока говорила старушка, – больше всего любят лошади по Невско-



му проспекту бегать. Копыта стучат звонко, а это они любят.

Меня удивила эта беспокойная болтливость старушки. Она говорила о цветах, о лечебных травах, об этих местах за Двинском, где она была первый раз в жизни и добавляла:

– А раньше-то дальше Питера никуда и не выезжала. И куда ехать? Что тебе дворцы, что улицы, что мосты, чистота, порядок. Прекрасный город. Куда ехать? Зачем? По какому делу? А вот и привел Бог. Ишь ты, места какие. Солдатики, как червяки, копошатся, палатки, солнышко, воздух летний. Ах, Витечка! Что ты наделал? Что ты надумал, моя крохотка?

А девушка сидела с нею рядом и, как вчера, как и все дни, была безмолвна, глаза ее по-прежнему смотрели только в ей понятную даль, и прекрасные пальцы, знаменуя тихий и однотонный ход ее мысли, плели свое бесконечное невидимое кружево.

Наконец, денщик, ехавший в переднем экипаже, остановился. Мы приехали в какое-то пустынное село и слезли у церкви, на которой не было колоколов. Кругом – разоренные хаты, крыши без соломы, остовы печей, длинные трубы. Война, война, война... Одна часть церковной ограды занята германскими могилами. Стоят прекрасно вырезанные кресты, на которых четко каллиграфически поименованы все, павшие за отечество. Русские могилы – попроще, понебрежнее, кресты прилажены крепко, но надписи сделаны расплывшимся лиловым карандашом.

– Вот тут они и похоронены, – указал денщик.

Санитары засучили рукава, поплевали на ладони, сказали «Господи благослови» и начали осторожно, со смущением, разрывать могилу. Две женщины стояли тут же и смотрели на их работу: одна – старенькая, сгорбившаяся, покорная своей судьбе,

другая – гордая, молчаливая, красивая – символ большого разоренного города.

Я пошел к церкви и начал заглядывать в окна. Раскрытые двери алтаря, опустошенный престол, разбросанные книги в желтых деревянных переплетах, опрокинутые ставники – разорение: война.

Страшно разрывать уже осевшие могилы. Минут через десять начал распространяться трупный запах. Санитары дышали все громче и громче. Лица их покраснелись и, стараясь выгадать время, они все чаще и чаще поплевывали на ладони и рукавом вытирали пот с лица.

Потом случилось вот что.

Убитого офицера нашли и вытащили. Узнать его можно было только по белью и по одежде. И мать узнала. Она опустилась на колени перед этой бесформенной массой. И то просветленное спокойствие, которое было в ней все время, не покинуло ее ни на минуту и теперь.

Для нее не было ни этого студня из человеческого полусгнившего мяса, ни страшного, удушливого запаха... Перед ней был ее сын.

– Милая моя деточка, – говорила она, стараясь застегнуть расползающуюся гимнастерку, – милое мое солнышко! Да как же ты, деточка, помучился! Родная моя звездочка, Витенька! Я приехала к тебе – слышишь ты меня? – и сама отвечала на свой вопрос, – слышишь, конечно, слышишь, яблонька моя белая...

Она припадала ухом к синей, смердящей груди, она целовала то место с сжатыми зубами, на котором прежде были губы, и все говорила ласково успокоительно:

– Неужели ты думал хоть одну минуту, что мы бросим тебя на чужой стороне? Глупенький, глупенький! Мы отвезем тебя к себе, положим тебя рядом с



папочкой. Он тебе про свою войну расскажет, а ты ему – про свою. Видишь? И Наточка твоя приехала. Она любит тебя по-прежнему, она не изменит тебе никогда и скоро уйдет в монастырь. Кто же ей будет краше тебя? Вот она стоит, Наточка! – обратилась она к девушке, – ну подойди же поближе! Ведь это же он, Витенька. Ну, поцелуй же его в глазки голубенькие. Ведь вот же они, смотрят по-прежнему, – и она показывала на глазные провалившиеся впадины.

Девушка стояла смертельно бледная. Она, видимо, хотела подойти, делала все усилия и... не могла. Страшный, смертный запах все больше и больше поднимался густыми волнами, и его не замечала только одна мать.

– Подойди же, – просила ее старушка, протягивая дрожащие руки, – ну поласкай же его, как прежде... Что ж ты отошла так далеко?

Девушка пересилила себя, сделала один шаг вперед, и вдруг с нею случилось то, чего она, видимо, больше всего боялась: она поднесла к носу платок.

И тогда все сразу поняла мать. Очнулась, как от забытья. Просветленно и разумно, озабоченно, посмотрела она на труп, ощутила тление. Промелькнуло несколько мгновений, во время которых ее мысль сделала огромную, напряженную, сразу все разъяснившую работу, и как чаша – огнем, так глаза ее наполнились гневом.

– А-а! – сказала она, – значит, ты так любила его? Притворялась только? Что ж ты стоишь! Почему не идешь поцеловать его? Лгала! Стыдно стало своей лжи? Здесь уж не солжешь... А зачем лгала? Зачем ехала сюда? Зачем плакала? Зачем постоянно играла его любимую сонату? Зачем говорила о монастыре? Кто тебя просил? Зачем?

Она поднялась с колен, подошла к девушке и взяла ее за руку.

– Подойди же, – говорила она, – поцелуй его. По-
здоровайся с ним. Ты же так давно с ним не виде-
лась. Не обижай его...

Девушка тихо освободилась от ее руки и, не раз-
жав платка, вышла за ограду.

Старуха окаменевшими глазами смотрела ей
вслед:

– На словах только! На словах... – тихо говори-
ла она и снова обратилась к сыну, и снова стала на
колени перед ним, и снова припала щекой к его
грудь, – и тут только в первый раз полились у нее
обильные, давно скопившиеся слезы. Она плакала,
вытирала глаза платочком и приговаривала:

– Миленький! Не тоскуй! Ты не останешься
один. Уж я никуда и никогда, никогда не уйду от
тебя. Будь покоен, дорогой мой. Уж я-то не изменю.

И со своими седыми слегка растрепавшимися,
волосами была похожа на старую няньку-пестунью,
склонившуюся над больным ребенком.

Вдали ехала телега; везли со станции оцинко-
ванный гроб... И тих, и благостен, и доверчив был
май – шестнадцатая глава от Иоанна.

Муравьи

О его смерти я узнал на фронте, из газет. Он отрав-
вился морфием и до последней секунды записывал
свои ощущения. Последним его словом было «мама»,
написанное нажимом пера, уже без чернил.

Когда я приехал в Петроград, то среди скопив-
шейся корреспонденции нашел его письмо, пришед-
шее по почте без марки. В письме было написано:
«Сейчас я ушел от нее, от той, про которую вы знае-
те, что она меня не любит. Было холодно, но я стоял
на тротуаре до тех пор, пока в ее окнах постепенно
погасли все огни. Теперь иду к себе и приму морфий.



Если бы вы были здесь – мы с вами выпили бы вина удельного, номера восемнадцатого, поели бы рябиновой пастилы и, может быть, все отлегло бы от сердца. Но теперь... Теперь моя просьба к вам состоит в следующем: когда поедете на Капри, возьмите два экземпляра моей книги и один из них бросьте в море около Фаральонов, а другой положите к подножию Мадонны, что стоит в гроте на пути к Анакапри».

В этой книге он писал о Капри и об одиночестве.

С ним я ходил от Неаполя до Одессы на пароходе. Ходили мы мимо Сицилии, мимо берегов Эллады, заходили на Крит и в Золотой Рог. В Палермо мы осматривали доминиканское кладбище с одетыми скелетами, византийские фрески в часовне королевского дворца. Он мечтал об обсерватории и телескопе, но был так беден, что в Петрограде ходил греться в трамвай. От него на память у меня остались самоучитель итальянского языка и бруттовский рубль.

В семнадцатом году, проживая в Кисловодске, в гостинице «Россия», что против новых нарзанных ванн, я неожиданно встретил его в офицерской форме. Он шел на меня, с палочкой, прихрамывая, все с теми же монгольскими усиками, опускающимися на губу, с тем же близоруким, слегка насмешливым взглядом. И странная вещь: я любил этого человека, потихоньку плакал о нем, но теперь, когда я увидел его воскресшего и снова живого, то задрожал от ужаса мелкой заячьей дрожью, вскочил в аптеку Цинцинатора, и Цинцинатор, полагая, что меня треплет лихорадка, предложил мне хины с салицоловым натром.

Конечно, это было только поразительное сходство, и мой друг мирно лежал на Смоленском кладбище, но отчего у человека так силен страх перед мертвецом?

По совету харьковского эскулапа приходилось беречь сердце, потрепавшееся на фронте, и ходить тихонько. Так создалась новая очаровательная привычка: ходить тихонько. Когда, пропутешествовав по всем зигзагам Романовской горы, достигаешь ее вершины, над головой видишь небо, похожее на опрокинутое и застывшее море, внизу – городок с уездным беленьким собором. А потом – предгорье, с его мягкой, почти тосканской линией, и поле, с деревенскими стогами сена, красные, синие и серые камни, и ползучие, осторожные тени облаков, и множество котловинок, четко освещенных, и скот, пасущийся на склонах, кажущийся игрушечным. Виден изящный, с белой дорийской колоннадой, храм воздуха. Когда он развалится, то будет в нем что-то от каприйского храма Митры, на алтарь которого падал первый солнечный луч. Покойный поэт называл Капри бонбоньеркой, упавшей с елки Господа Бога. Как назвать мне это место – не знаю, но знаю, что при сотворении мира Господь и на него обратил особенное внимание и милость.

С офицером, так похожим на моего усопшего друга, я познакомился в комнатах, в которых положено было отдыхать после ванн. Он не был ранен, но в одной из галицийских атак с ним случилось что-то такое, отчего он потерял дар слова, и здесь, в Кисловодске, эта немота его постепенно проходила. Первое слово, которое он, покраснев от робости, снова выговорил, было «журнал», потом – «тихо», потом – «гора», потом – «лиса». А потом как-то, ужиная в курзале, начал подпевать «Сильве» и вдруг заговорил просто и непринужденно, и угостил меня по этому радостному случаю холодным Абрау-Дюрсо.

Он стал моим постоянным спутником, и однажды, тихонько шагая с палочками, мы заметили на тропинке с землей, сухой, как чай, странное движущееся



пятно. Присмотрелись: муравьи. Было уже к вечеру. У меня всегда душа лежала к этим проворным, озабоченным и таинственным козявкам, и всегда я был готов подолгу сидеть и следить за их делами.

– Вы старше меня, – сказал мой офицер, – но легкомысленнее.

– Почему? – не без удивления спросил я.

– Вы вот говорите, что война, с которой мы с вами приехали сюда, – последняя, что человечество образумится, увидит свою глупость и скажет: «Баста воевать, довольно».

– Вы с этим не согласны?

– Не согласен. Это чепуха! Люди будут воевать до тех пор, пока воюют муравьи. Когда муравьи отменят свои войны, тогда их, может быть, отменят и люди. Всмотритесь хорошенько в то, что перед вами, и вы увидите, как одинаковы все законы.

Действительно, у муравьев происходило что-то неладное и необычное, но что именно, этого я сразу понять не мог.

– Это война, настоящая война, и прежестокая, – сказал офицер и подул на муравьев табачным дымом. – Видите? Никакие ядовитые газы на них не действуют. Так увлеклись.

Присмотревшись, я понял, что он прав. Происходила война, молчаливая, без криков, без стонов, похожая на кинематограф без музыки. Дрались муравьи честно, как Бог велел: схватываясь и поднимаясь на задние лапки, они делали почти те же движения, что предписаны во французской борьбе. Так, между прочим, в хорошем расположении духа играют собаки... Обнялись, трепанули друг друга и потом, как будто опять пошли своей дорогой, но если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что этим дело не кончилось и каждый боец неумолимо и остервенело ищет себе нового врага. Там и сям уже лежали тру-

пики, были раненые и еле ползущие, и уже умирающие. И невольно рождалась мысль: «За что? За какие идеалы скрестились мечи? За сладкую ли траву, за мягкий ли мох, за Елену ли Прекрасную?»

По-человечески размышляя и сравнивая, мы видели, или нам казалось, что видели, и резервы, и разведчиков, и стройные колонны наступающих и обороняющихся, а одного, очень толстого и жирного муравья, мы приняли за главнокомандующего. Невдалеке от него тоже, как и он, не двигаясь, сосредоточилась небольшая группа спокойных муравьев. Кто они? Штаб? Пленные? Заложники? Из насыпанного среди травы холмика, из муравейника, то и дело вылезали свежие силы и, видимо, с пламенем, с энтузиазмом несли свою жизнь на алтарь отечества и бросались в бой. Становилось мало-помалу ясно, что муравейник этот ведет оборонительную войну и что какие-то иноземцы пришли сюда, в чужое государство, с завоевательными и корыстными целями.

– Какое счастье – неведение, – сказал мечтательно офицер. – Вы можете представить себе, что было бы с человечеством, если бы 20 июля 1914 года стало неопровержимо ясно, что наша война будет длиться не шесть недель, как думали тогда, в то жаркое лето, а три-четыре года? Вы представляете себе, какая волна внезапного безумия охватила бы человеческий мозг тогда? Однажды Менделеев после оперного представления в московском Большом театре произвел анализ воздуха в верхнем ярусе. И что же получилось? Получилось, что если бы в эту атмосферу посадить на четверть часа дикаря, привезенного из первобытных лесов, то дикарь умер бы мгновенно. И вот если бы вас, человека, привыкшего к себе, к своей работе, к своему дому, двадцатого июля можно было заставить поверить, что три или четыре года вы будете таскать тяжелые, непромокаемые, до ко-



лена, сапоги, спать под аэропланами в палатке на снегу, в карпатских землянках, в полесских болотах, в стоходских песках, пить вонючий чай с клюквенным экстрактом, то даю вам слово, что вы давно бы уже сидели на испанском престоле и всем сообщали, что у алжирского бея под носом шишка.

Было странно видеть человека, до жути похожего на того, кто вот в такие же летние вечера, на корме парохода, поглядывая на огни Палермо, говорил об одиночестве, о своей книге, об обсерватории, в которой ему хотелось бы затвориться от людей. У них обоих была одинаковая манера спрашивать себя и тотчас же отвечать.

– А может быть, все это естественно? А может, все это и не дико? Может быть, так и нужно? Может быть, и в твоей землянке, и в твоих сапогах скрыт особый смысл, масштаба которого ты просто не можешь охватить своей человеческой скудоумной головой? – говорил офицер, и как-то странно вздрагивали его слегка ввалившиеся щеки.

День сменялся вечером, и мне казалось, что вот в миростроительстве происходит смена часового. Часовой в белых одеждах сменяется часовым в темных одеждах. Вот около меня сидит человек, похожий на мертвого поэта, а где-нибудь, в другой части земного шара, сидит, быть может, человек, похожий на меня. В ставропольской семинарии учился грузин, как две капли воды похожий на Пушкина. Английский король похож на русского императора. И, может быть, все человечество построено по многочисленным, но, в конце концов, одним и тем же образцам.

– Конечно, отличная вещь неведение, – сказал я, – вот Кисловодск, вот семнадцатый год, и мы с вами не знаем, что с нами будет через год, через два...

– Да, – ответил офицер, – а если бы знали, то, может быть, схватились бы вот так, как муравьи,



и начали бы душить друг друга... И если бы они, эти глупые и ничтожные муравьи, знали, что их ждет через минуту, через десять минут! О, какое бы безумие охватило их крошечные, но отчетливые мозговые механизмы! Как они завывали бы своими тоненькими голосишками! Как заплакали бы! Как заголосили бы!

И, повернувшись ко мне в полкорпуса, он неожиданно и подозрительно спросил совсем не в тон к предыдущему:

– А как вы относитесь к харьковской актрисе?

Я чуть не вздрогнул, но быстро овладел собой и безразлично ответил:

– К харьковской актрисе? Как я отношусь? А никак. Милый человек, хороший товарищ – вот и все.

В глазах офицера явно блеснула та больная, жестокая, решительная и жуткая искра, которая на войне стала поблескивать все чаще и чаще в глазах людей, привыкших к крови, к стонам, к страданиям. Началось это у санитаров, отупевших от работы, от бессонницы, от операций, от постоянного ощущения смерти, от панибратствований с ней, от казенных коротеньких панихид, от плохо заколоченных, неструганных гробов. Блестала она, эта искра, в лицах солдат, бросавшихся в неприятельские окопы, в лицах офицеров, перед атакой сумасшедше выкликивавших смертные повелительные команды. Ощущал я ее и в себе, когда ночью, после боя, ехал верхом мимо леса, и мне казалось, что лес стонет: стонали раненые, заползшие в него. И конь мой подрагивал и прятал ушами, и не мог взять своего обычного, ночного, выверенного шага.

Но здесь, в Кисловодске, все это отходило, душа успокаивалась, и сны были ровные, мирные, и начинались они не раньше третьего часа ночи.



– Но позвольте, – торжественно и глухо сам себя спрашивал офицер, – тогда что же, о чем же думает Владыка наш и Вседержитель? С одной стороны, он велит нам: плодитесь и размножайтесь, а когда расплодитесь и размножитесь – то что же? Рвите друг другу тело и cedите друг из друга кровь? Как из бочонка с вином? Да? Так, по-вашему?

– Господь Бог не так сказал, – осторожно заметил я.

– А как же? – вызывающе спросил офицер.

– Господь Бог сказал: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю», – ответил я, невольно улыбаясь тому, что беседу приходится вести от Писания.

– Да? Наполняйте землю? В этом разница?

– По-моему, да.

– Ну и что же?

– Ну, а люди плодятся и множатся, а земли не наполняют. Люди топчутся в своих городах и сбиваются в одних местах, как муравьи в этой куче. А целые просторы остаются незаполненными.

– И они? И муравьи? – спросил офицер, показывая на войну. – Они тоже не исполняют законов Божьих?

– Очевидно, – ответил я, – посмотрите. Мало им простору? Или у этого муравейника трава слаще, чем у того?

– Ага! Но постоит... Тогда постоит... – говорил офицер с отрывистыми паузами, то сбиваясь, то наталкиваясь на какие-то мысли. – Ведь вот вы посмотрите... Ну?

Офицер встал.

– Вы видите? – спрашивал он меня.

– Я немного не понимаю, – сказал я в недоумении.

– Да вот я-то... По отношению к ним, к муравьям-то... Ведь я Бог для них? Что они по сравнению со



мною? Вся эта несчастная куча? Ну? Вы видите? Ведь я сейчас зажгу им солнце, о котором их летописцы запишут: «Во время великой битвы, вечером, для нас и для наших полков взошло солнце».

И офицер щелкнул электрическим фонариком, направив его пятно на муравьиную кучу. Ярко осветилась каждая травинка и каждый комочек земли. Офицер нагнулся, поймал пальцами какого-то воина и пустил его к себе на ладонь. Тот сначала как-то вдруг ошалел, сжимаясь от невиданного теплового света, прильнул к сладкой и мягкой коже, а потом, словно вспомнив о своих обязанностях, с живостью и суетой забегал, ища путей и перескакивая с одного пальца на другой, по тыловой части руки, по жилам, по костям.

Фонарь блистал вплотную от него, и он старался убежать от этого света, поворачиваясь к нему спиной, – и офицер тогда весело кричал:

– Вот оно, вот оно солнце твоего Аустерлица! – и, обращаясь ко мне, спокойно говорил: – Видите? Он испытывает превратности судьбы и, если останется жив, будет рассказывать о них своим внукам или напишет мемуары. Чем ему кажутся мои пальцы, мои руки, мои ногти? А? Как вы думаете?

И он снова пустил его в муравьиную армию. На первых порах за ним еще можно было уследить, потом рьяный боец канул, как в воду.

– Скрылся наш подполковник, – глухо сказал офицер и потушил фонарь.

Стало темно. С гор потянуло свежестью, той особой сладкой свежестью, которой был знаменит Кисловодск. Неожиданно то там, то сям появлялись на своих постах звезды. Облака подтягивались к тому месту, откуда должна была появиться луна. В парке, испортив все, вспыхнули фонари, и листва стала казаться наполненной зе-



леноватой, прозрачной, лениво переливающейся жидкостью.

Подходил час, когда за обедом в курзале итальянцы запоют в оркестре те самые песни, которые бродячие певцы поют на пароходике во время переезда из Неаполя в Сорренто, и которые так любил напевать мой покойный друг. Что еще делается на свете в эту минуту? Может быть, играет знакомый монах-органист в Фьезоле; может быть, поют последние литании семинаристы на Авентинском холме; какие-то люди смотрят на море со скамеечки, на которой написано «Pro-Caprio»? Дворец дождей еще не разрушен. У Марка еще горят его лампы.

И мысль, перебирая старые воспоминания, путешествовала по всему свету... Время шло тихо. Облака подготовили луне торжественный выход. Раздвигая их невидимой рукой, она, кажется, взглянула на землю, и лишь казалось, что она любопытна любопытством женским.

Я уже забыл и про муравьев, и про офицера, как вдруг снова щелкнул фонарь, по земле снова запрыгал кружок света, освещая край скамейки. Сев на корточки, офицер рассматривал землю.

– Видите? – спрашивал он, но уже с озлоблением и стиснутыми зубами. – Видите? Война идет. Война продолжается и в темноте. О-го-го-го! Нет! Вы посмотрите! А что, по-вашему, там, на звездах, тоже есть война? А? Ведь наша земля кажется кому-нибудь в вышних кругах маленькой, смиренной и невинной звездочкой? А? Ведь кажется? Ах вы, черт вас поberi совсем!

И с какою-то необычайною в нем злобой он выругался, и тогда случилось нечто и смешное, и жуткое.

С карманным, не потухающим, равнодушно светящим фонариком в руках, по несчастной муравьи-

ной куче вдруг, словно заплясав, затопал обеими ногами высокий, стройный человек.

– Так нате же! Натее же! – приговаривал он в такт каждому удару: – Натее вам, черти паршивые! Мало вам земли? Мало вам простору? Травы у вас нет? У соседа трава лучше? Натее же! Я – ваш Бог! Я караю вас! Помните! Чувствуйте!

И так, странный в темноте, темный, плясал он некоторое время, но нездоровое сердце быстро устало, почувствовалась одышка, и офицер опять опустился на скамью рядом со мной, и когда отошел, то первые слова его были еще злобны:

– Вот так! – сказал он. – И Бог, если Он существует там, на небе, и Он так должен поступить со всеми нами! Должен, да! И поступит! Я верю! Верю!

Отдышавшись и успокоившись, он спросил меня хриловатым голосом:

– А как вы думаете? Предатели у них были?

– У кого? – сразу не сообразив, переспросил я.

– У муравьев.

– Не знаю.

– Наверное, были, – ответил офицер.

Я взял фонарик и снова навел его на поле битвы. Было что-то похожее на размазанную икру. Кара вышла жестокая, но... оставшиеся в живых, немногие ускользнувшие от сапога муравьи продолжали драться в сторонке по-прежнему, вставая на задние лапки.

Посидели еще немного.

– Ну что же, – сказал офицер, – пойдете ко мне арбуз есть. У меня сегодня не арбуз, а марафет.

– А потом?

– А потом пойдете в курзал. Сегодня интересная программа. Сегодня Чувазов играет серенаду Арлекина.

– А потом?



– А потом встретим харьковскую актрису, будем ужинать. Вы знаете? Осетрина на вертеле стоит уже три рубля.

– Мне кажется, вы равнодушны к харьковской актрисе, – сказал я.

– Равнодушен? – спросил офицер и, подумав, ответил: – Я ее люблю, друг мой!

«О, мой бедный! – подумал я и сам испугался тайны, которую знал: – Когда-нибудь, стоя у балкона, ты увидишь, как мужская рука постепенно гасит огни ее комнаты: сначала люстру о трех лампочках, а потом и свечу у постели. Что сделаешь ты и к какому питью бросишься?»

Арбуз был чудесный. Чуvasов с экспрессией сыграл серенаду Арлекина. Харьковская актриса, пришедшая на музыку к третьему отделению, с видимым удовольствием скушала порцию форелей и раздумывала, что бы заказать на сладкое. Мальчишки, около одиннадцатого часа ворвавшиеся с экстренными телеграммами на террасу, бежали мимо столиков и кричали, что генерал Корнилов поднял восстание.

Рано утром, на другой день, я пошел на гору. Муравейник стоял без признаков жизни, а от войны, от убитых, от раненых не осталось и следа: сторож, похожий на водяного, смел все, а мокрое место было высушено солнцем.

*(Подготовка текста и
публикация Александра Фокина)*

Победить себя... Время действия

О Тихенко Игоре – барде, поэте, художнике, человеке талантливом, живущем полноценной жизнью, несмотря на то, что он прикован к инвалидной коляске, слышала не раз, а познакомиться довелось недавно. Две крохотные комнаты в домишке на окраине г. Благодарного так тесны, что остаётся удивляться, как хозяину на коляске удастся, маневрируя между диваном и столом, проехать в спальню, затем в коридор... Лавируя по годами отработанному маршруту, он привозил и показывал нам то очередную картину, то книгу или альбом с фотографиями. В одном стихотворении при видимой простоте была такая правда и такая пронзительная нота, что не запомнить его было нельзя.

*На стене моей окно.
Нарисовано оно
Ручкой маленькой такой,
Неумелой, но родной.
Хоть окно невелико,
Поместились в нем легко
Пыль не пройденных дорог
И оставленный порог.
В том окне – ни бурь, ни бед.
В том окошке – белый свет.
Там, забыв, что не могу,
Я бегу, бегу, бегу...*



**ТАМАРА
ДРУЖИНИНА-
КУЛИКОВА**

**Публицис-
тика**





*Ах, спасибо, мой сынок,
Ты и вправду мне помог
Вновь увидеть на стене
То, что вижу лишь во сне.*

Оказалось, что «Окошко» – не только стихотворение, но песня, которая выросла из реальной ситуации.

– Сын сидел, «кузюкал» что-то цветными карандашами в другой комнате, – рассказывает Игорь, – приходит, показывает мне рисунок. Я ему «О, какое окно! Давай повесим на стену». Сажу, смотрю, и сами собой приходят на ум строки «На стене моей окно»...

– А часто так случается?

– Практически всегда. Если начинаешь умствовать, что-то специально придумывать, украшать, выходит либо с натяжкой, либо надуманно. Когда ты живёшь, делаешь что-то, тема сама возникает. А иногда стихи мне снятся. Как-то приснилось: разговариваю с незнакомым человеком, а потом начинаю читать стихотворение. Дочитываю и, ещё не отойдя ото сна, понимаю, что стих надо немедленно записать.

И ведь записал, с первого до последнего слова, назвал стихотворение «Царь-птица». Стихи нельзя пересказать, особенно такие, как у Игоря, здесь каждое слово наполнено смыслом. Царственную птицу, всё видящую с высоты своего положения, «давно смутить не может мир, ей все уже изрядно надоело». Настолько, что, услышав очередной вздор, который шепчет на ушко юной даме кавалер, она «на расшитый золотом мундир поставила пятно и улетела». Стихи – то ироничные, то философские, то радостные от ощущения наступающей весны, чудного заката или осеннего леса. Есть жёсткие – в основном к себе и своим слабостям. Во время беседы обратила внимание на сборник стихов поэтов Северного Кавказа «Кавказские рукописи», который лежал на

столе. Игорь открыл книгу и показал свои стихотворения. Рядом я увидела тетрадь, в которую Игорь записывает свои стихи, с автографом Е. Евтушенко: «Это хорошо может лечь на музыку...» – написал один из величайших поэтов современности. Их встреча произошла на творческом вечере в г. Зеленокумске. Евтушенко одобрил поэзию Игоря и воодушевил на дальнейшее творчество.

– Вспоминаются строки из песни Ю. Визбора: «Нас гений издали заметил и разглядев, кивком отметил, и даль иную показал», – не без весёлой иронии прокомментировал Тихенко.

Когда Игорь читал свои стихи, остро почувствовала его особое ощущение времени как мерил ценности жизни. На вопрос, давно ли он пишет стихи, услышала ответ: «После того, как сел в коляску».

Нет худа без добра –

есть в народе такая поговорка. Однако даже не стала бы упоминать о ней, если бы этого не сделал сам Игорь. Рассказывая о случившемся несчастье, отметил, что это был пограничный момент, который разделил всю его жизнь на «до» и «после» полученной травмы. Первая часть – когда после окончания Карачаево-Черкесского пединститута он, уже семейный человек, пришел в Благодарненскую школу, учителем рисования и черчения. За общительный характер, остроумие, умение поднять тонус любой компании, за звучную гитару и знание немислимого количества песен его приняли, полюбили и учителя, и ученики.

Из рассказа О.П. Бондаревой, главного специалиста – уполномоченного филиала № 3 отделения Фонда по Благодарненскому району:

– Я была шестиклассницей, когда к нам пришёл молодой учитель черчения и рисования. Игорь Фёдо-



рович принёс в класс новые знания, открыл нам мир линий, геометрических фигур и перспектив, о красоте которого мы просто не подозревали. Позже, когда приступили к изучению геометрии, требующей умения объёмно мыслить, учитель математики удивлялся – а кто вас этому научил? А откуда вы это знаете? Многие ребята из нашего класса записались к Игорю Фёдоровичу в кружок туризма. Часто ходили в походы. Наш учитель находил спонсоров, благодаря чему мы объехали весь край, увидели удивительные уголки природы Ставрополья. Помню, как мы стояли на вертолётной площадке: вверху совсем близкое небо, внизу – леса, горы, долины. Дух захватывало от такой красоты. Когда не можешь надышаться всем этим – слова учителя о настоящих ценностях, что выше денег и красивых тряпок, легко входят в душу.

Передавать детям радость открытий, которые ты сам делаешь, шагая по жизни – редкий дар, особенно если ты педагог по призванию, а не только по диплому. И раньше людей, которые шли в профессию «по любви» было немного, а в пору расцвета потребительского общества вслед за классиком хочется с печалью прокомментировать «...это люди из раньшего времени, сейчас таких уже нет, а скоро и совсем не будет». Ещё в институте, занимаясь на факультете общественных профессий, Тихенко получил документ, удостоверяющий право работать инструктором по туризму. Вместе с другом он основал в Благодарном Станцию Юных Туристов; ребята начали выезжать на сборы, проводить слёты. За сравнительно короткое время юные туристы из маленького городка на Ставрополье стали участниками Всероссийских соревнований по горному туризму, заняли престижное третье место и горели желанием выйти в абсолютные призёры...

– Я видел, как они работают и был уверен, что наши воспитанники своего добьются, – рассказывает Игорь, – Но...случилось то, что, к сожалению, нередко происходит с бывалыми туристами. Человек, оказавшись в горах, считает, что у него уже есть запас прочности, теряет бдительность и недооценивает опасность. Горы такого не прощают.

24 сентября 1994 года Игоря Фёдоровича Тихенко, педагога дополнительного образования отдела туристско-краеведческой работы при отделе образования Благодарненского района, направили на тренировку руководителем группы по учебным сборам. Ущелье реки Берёзовки, что невдалеке от Кисловодска, – место живописное и хорошо освоенное спортсменами – альпинистами. В последний день тренировок, когда занятия подошли к концу, дети ушли в лагерь. Игорь остался один. До этого он десятки раз взбирался на вершину, именно эта скала была его первой высотой и... оказалась последней. Снимая верёвки, сорвался с 15-метровой высоты. Дети привезли его в больницу с травмами головы и позвоночника. В таких случаях редко остаются в живых. Он выжил. Врачи, которые оперировали, а потом лечили Игоря Фёдоровича, и сегодня утверждают: «в рубашке родился».

Период прозрения

22 декабря 1994 года И.Ф. Тихенко был освидетельствован в Буденновской ВТЭК и признан «инвалидом первой группы по трудовому увечью» со 100- процентной утратой профессиональной трудоспособности, постоянно нуждающимся в медицинской реабилитации. Когда Тихенко пришёл в себя, с первого дня стал яростно бороться просто за возможность жить дальше. Времени для того, чтобы выйти из «пике» сам он отвёл для себя – минимум.



Игорь Фёдорович объясняет это просто:

– У меня было двое маленьких детей. Один пошёл в первый класс, другой – в детском садике. Первая мысль, когда сознание прояснилось, и я понял, что парализован, была: как они без меня останутся? Она-то, главным образом, и держала меня. Конечно, не мог не думать о том, почему так случилось? Есть ли здесь какая-то логика? Понемногу приходил к выводам, которые, конечно же, не появились бы в суете той, «прошлой» жизни. К тому, что ты стал другим, человеком с ограниченными возможностями, можно относиться двояко. С одной стороны – утрачиваешь массу возможностей, а с другой – приобретаешь ВРЕМЯ, которого раньше никогда не хватало. Для чего? Может, для того, чтобы остановиться и оглянуться, подумать: так ли я живу или набегу пролетаю мимо самого важного. Я ведь, и правда, всё время куда-то спешил, о многом судил поверхностно. Взять искусство, живопись. В студенчестве мне очень нравились картины Николая Рериха. Как-то мы разговорились об этом художнике с человеком, который был намного старше меня. Я говорил о горных пейзажах, необычных красках, а он всё время будто ждал чего-то. Наконец прервал: «Горы – это хорошо, а что скажешь о духовной подоплёке?»

– Какой-такой подоплёке? – удивился я. То, как он на меня посмотрел, помню и сейчас. Жалостливо, будто на ребёнка-несмышлёныша. Тогда я знал только про мир, который можно потрогать руками. В суете будней даже перестал рисовать. Когда выезжал с учениками в горы, брал с собой этюдник, холсты. Но до них дело, как правило, не доходило. Всё, что вы видите здесь, написано после травмы. Только сидя в коляске, стал всерьёз задумываться о Боге, о предназначении человека, о заповедях Господних,

которые важны для всего человеческого сообщества. Ведь это ещё и принципы, удерживающие нас от самоуничтожения и взаимоуничтожения, помогающие определить истинные ценности жизни.

Понять какие-то истины непросто, а жить по ним в разы труднее. Игорь стремится к этому. У художника Пабло Пикассо в творчестве был «голубой» и «розовый» периоды, у Игоря Тихенко – период, который можно назвать «временем прозрения». Картины в доме везде. На стенах, на мебели... Вот церковь и женщина у ворот – то ли в мучительных раздумьях, то ли в последней надежде. Другая называется «Дорога к храму».

– Видите, домики внизу, а вдалеке церквушка?.. Чтобы не просто дойти, а прийти в церковь, нужно преодолеть множество препятствий, испытаний, главные из которых – страсти, что обуревают тебя. Они везде, на каждом шагу. Для меня церковь – это умение смирить себя и настроиться на диалог с собой, в котором ты не только умеешь формулировать вопросы, но и способен находить ответы. Мои стихи, песни, картины в основном «вырастают» из маленьких открытий или правильнее сказать, прозрений, как жить дальше и зачем.

В 2011 году Тихенко приняли в Творческий Союз Художников России; он участвовал в фестивалях российского дизайна «Живопись, графика, скульптура», его работа «Горный пейзаж» вошла в каталог выставки.

– Вот она, – показывает Игорь, и продолжает. – Как-то товарищ попросил меня написать горы. Я начал работать, и внезапно пришло осознание, что это не просто пейзаж, а что-то вроде прообраза горного мира. Деревья внизу зелёные. Они, словно люди, души которых только появились на свет. А деревья выше – жёлтые, это осень жизни. Когда



осень жизни заканчивается, начинается восхождение духа к вершинам, видите эти клубы тумана, устремлённые вверх?..

– Замысел понятен, вижу, что и другие картины у вас с подтекстом. А как случилось, что вы стали автором герба города Благодарного и почему в вашем варианте у летящего голубя крылья по краям, будто опалены или в багряную краску окунули? Я таких вообще не встречала. Тоже метафора?

– Конкурс был объявлен в 1998 году, окончательное решение наши депутаты приняли на заседании городской Думы. Проекты гербов представили более 20 претендентов. Принять в нём участие мне посоветовали друзья. Я и подумал: почему нет? Задача – посредством символов отразить природные, исторические, культурные особенности города, по-своему интересна. Благодарный был основан более двухсот лет назад выходцами из южных губерний России, которые заселили плодородные земли по берегам реки Мокрой Буйволы. Я нарисовал старинный мост на фоне голубого щита (цвет реки, которая даёт жизнь и защищает одновременно). Мост как объединяющее начало: разнородного населения, прошлого и будущего, традиций, преемственности поколений. Что касается голубя – это, конечно, метафора, символ мира, духовности и вдохновения, но она имеет вполне реальную основу. Птицы с бело-красным оперением – достопримечательность наших мест, гордость местных жителей. Старожилы рассказывают, что во время русско-турецкой войны казаки из Благодарного штурмом взяли неприятельскую крепость. Отдыхая после боя, обратили внимание на чужеземных голубей красно-коричневого цвета. Среди казаков было много голубятников, но они разводили

ли в основном белых птиц. Возвращаясь на родину в Благодарное, прихватили с собой краснопёрых «турков». Те прижились на новой почве, с тех пор будто бы и пошла Благодарненская порода красно-белых голубей.

Жить инвалидом, но не быть им

Сегодня Герб города, автором которого является И. Тихенко, можно увидеть везде – на административных зданиях, книгах и буклетах, на уличных растяжках. Так что можно считать, Игорь уже увековечил своё имя в истории Малой Родины. Однако первый экземпляр проекта герба города хранится не в музее, его Тихенко подарил тем, кто в трудный момент первыми пришли на помощь – специалистам филиала №3 Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Эти люди теперь в числе его близких друзей.

– Всё, что мне положено получить от Фонда, я имею. Это и коляски, и транспорт, и технические средства реабилитации; лечение, санаторно-курортная реабилитация. Каждый год мне предлагают поездку в санаторий, где я обретаю новых друзей, встречаюсь с теми, кто уже имеет опыт «выживания» и теми, с кем таким опытом можно поделиться.

К сожалению, так происходит нередко – после полученной травмы жизнь в семье, где появляется инвалид, меняется; даже самые близкие люди порой оказываются неготовыми к серьёзным переменам и новой ответственности друг перед другом. Игорю тоже пришлось пройти через испытания потерями и расставанием. И хотя сейчас он живёт с родителями, с благодарностью вспоминает тех, кто в трудное время был рядом, благодаря кому выжил и справился со многими (к сожалению, не со всеми) жизненными проблемами.



Не продаётся за баксы и марки

Сегодня Игорь Тихенко – неоднократный лауреат фестивалей авторской песни, номинант международного конкурса творчества инвалидов «Филантроп-2000» в Москве. Но так было не всегда.

– Вернула меня в эту сферу Наталья Петрова...

– Дельтапланеристка? Чемпион мира? – обрадовалась я. Уж кого-кого, а Наталью всегда вспоминаю с радостью. Три года назад газета «Наше Ставрополье», где мне пришлось работать главным редактором, выступила информационным спонсором замечательной спортсменки из Пятигорска. Мы написали о том, что честь и гордость российского дельтапланеризма не может выехать в Австралию на очередной чемпионат мира из-за отсутствия средств на дорогу. Подняли шум, деньги нашлись, в 2010 году в очередной раз Наталья стала призёром мирового первенства. Вернувшись, Петрова пришла в редакцию с гитарой и для коллектива редакции дала целый концерт. Оказалось, что она прекрасно играет на гитаре и поёт.

– Мы с Натальей познакомились на турслёте ещё до моей травмы. И вот когда я был в Пятигорском санатории «Лесная поляна», где по путёвке отделения Фонда проходил реабилитацию и лечился, она стала навещать меня. Как раз на горе Острая, что неподалёку от г. Лермонтов, должны были пройти краевые соревнования по горному туризму. Наталья предложила – «Поехали вместе. Что с того, что на коляске? – тут же отвергла мой коронный довод, – Довезём, донесём, дотянем...и представьте, от окраины Лермонтова до места сбора она толкала коляску вверх. Как назло, пошёл дождь – короче, к месту прибыли по колено и по локоть в грязи, но счастливые. А через две недели проходил фестиваль бардовской песни в окрестностях Кисловодска. Так началось возвращение к тому, что любил в «прошлой жизни»: походы

в горы, поездки по стране, участие в фестивалях. Но если раньше пел чужие песни, то теперь – всё чаще появлялись темы для собственных. Очевидно, это правда, что в экстремальных обстоятельствах у людей открываются новые способности и появляется энергия к их осуществлению. Песни Игоря с удовольствием слушают друзья и ученики, они опубликованы в сборниках, выпущенных «по следам» фестивалей, ни одно приглашение участвовать в них Игорь не оставляет без внимания. Делать это может, потому что есть личный автотранспорт. В 2006 году отделение Фонда обеспечило его автомашиной. Маленькая, но выносливая «Ока» оказалась надёжным другом, с которым Игорь исколесил тысячи километров. Сознаю, когда до этого вида пострадавших от тяжёлых травм людей, прикованных к коляске, думала, что самостоятельно водить машину могут единицы, в основном едут с сопровождением. Услышав об этом, Игорь шутливо возмутился:

– В свой «аппарат Мечта» забираюсь исключительно самостоятельно. Показать?

Он ловко открыл дверцу «Оки», резким движением перекинул себя на сиденье и включил мотор. Машина вырулила на проезжую часть, объехала вокруг дома и, паркуясь, чётко «вписалась» в узкие ворота.

– Домашняя коляска остаётся здесь, а прогулочная, я её называю походной (тоже выданная филиалом отделения Фонда), всегда в багажнике, – поясняет Игорь.

– Ручное управление – система своеобразная, но освоить её вполне можно. Машина пока ни разу не подвела – и в горы с ней, и на рыбалку, и в походы. Водители часто одушевляют свои автомобили, наделяют их личностными чертами. Я тоже из числа тех, для кого это не просто «железо», а член семьи. У моей – номер начинается с букв МУР, Моя



МУРочка меня возит, носит, помогает в любых жизненных ситуациях.

Видавшая виды МУРка с точки зрения отведённой для автотехники жизни – «дама» не первой молодости. Но уже после написания статьи узнала, что Игорь Тихенко получил новый автомобиль, более комфортный и хочется верить, не менее надёжный.

Из комментария О.П. Бондаренко, главного специалиста уполномоченного филиала № 3 отделения Фонда по Благодарненскому району:

Сегодня Игорь Фёдорович – состоявшийся человек. Он прекрасный отец. Воспитал двух сыновей, помог им получить высшее образование, оба работают, уже и внуку четыре года, а недавно и младший сын преподнёс отцу драгоценный сюрприз – внучку. Казалось бы, можно дать себе передышку. Но он не собирается отдыхать – работает как педагог и инструктор по туризму; участвует в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями, организует поездки по стране и краю для таких же, как он сам, пострадавших. Два года назад Тихенко лечился в санатории «Жемчужина моря» в Краснодарском крае. Когда вернулись, сопровождающая пришла к нам; рассказала, как, оказавшись в воде, Игорь радовался солнцу, морю и (о чудо!) заметила, что в воде у него начали двигаться пальцы на ногах. В случае с Тихенко не хочешь, а поверишь в чудо. Бывая по путёвке в Пятигорском санатории «Лесная поляна», он дважды в одиночку совершил «кругосветку» вокруг г. Машук на коляске. А однажды на той же коляске под удивлёнными взглядами проезжающих мимо автомобилистов отправился в гости к другу, проехал, толкая руками коляску почти 20 км.

– Не понимаю, как это возможно.

– Оказывается, возможно. И не только это. Недавно вместе с друзьями по туристическим маршрутам



он летал на дельтаплане. Вы думаете, почему мы восхищаемся этим человеком? Сила его духа превосходит все, какие только возможны, предположения. Рядом с ним заряжаешься энергией. Когда Игорь строит планы, забываешь, что твой собеседник прикован к коляске.

Я слушала рассказ Ольги Петровны и думала, может, это не Тихенко, а мы ПРИКОВАНЫ к своим мелким и малозначимым проблемам, которые мешают жить полно и радостно. Казалось бы, знаешь человека давным-давно, сложил о нём мнение, как о надёжном и достойном... Но получил этот «счастливчик» высокую должность или свой бизнес открыл, смотришь, а на улице он тебя уже не узнаёт; мизерную зарплату выдаёт подчинённым раз в квартал. Задумаешься тут – кто у нас инвалид – тот, кому ампутировали ногу или тот, что, отравившись избытком денег или власти, живёт с ампутированной совестью. «Ограниченные» в передвижении возможности Тихенко, как выяснилось, компенсируются, а вот атрофированную совесть не вылечишь никаким лекарством.

Не о том ли самом говорил в своём недавнем интервью АиФ писатель Даниил Гранин: «Мы ищем счастья и не можем его найти. Для того, чтобы быть счастливым, надо немного. Но сейчас кажется: как же я буду счастливым, если у меня денег мало? Ведь у кого денег много, – те счастливые. Это наивное чувство. Это не есть счастье. Но жажда наживы ослепила сегодня многих и лишила их настоящего счастья». Во время беседы ни разу Игорь не пожаловался на отсутствие средств, ни разу не заикнулся о бытовых проблемах.

– У меня есть любимые занятия, семья, друзья, ученики. Разве этого мало? Ведь вы смотрите, что с нами сегодня происходит: с кем ни поговоришь – везде финансовые проблемы, прямо как в зарубежном шлягере: «Деньги крутят шар земной



летом и зимой». Без них, конечно – никуда, но если это становится самым главным в жизни, ты как бы определяешь себе вечную погоню за призраками, и чем больше денег накапливаешь, тем больше тебе их не хватает. Я понял одну простую вещь – надо стремиться к тому, чтобы ты управлял деньгами, а не они тобой. Иначе это бездарно прожитая жизнь. Когда мы расставались, Игорь прочитал стихи

*Там, где смешались снега с облаками,
Где под ногами ломается камень,
Там, где без музыки песня поётся,
Там я усвоил – не всё продаётся.
Не продаётся за баксы и марки
То, что дороже любого подарка,
Рукопожатье и доброе слово,
Просто возможность увидеться снова...*

Научиться управлять своим телом, разумом, волей, эмоциями – дело почти неподвластное человеку. Но если хоть в малой мере это удаётся, значит, в жизни твоей практически нет проходных дней. Мне кажется, именно так старается жить Игорь Тихенко, у которого сегодняшний день обмена и возврату не подлежит.

Окопная правда

Письма с Первой мировой... Они приходили в Ставропольскую губернию со всех фронтов и в достаточно большом количестве. В армии находились десятки тысяч наших земляков. Для вчерашних крестьян и горожан, оторванных войной от родных мест, привычного уклада жизни, полевая почта стала порой единственным мостиком для общения с родными.

Российская империя в числе первых государств подписала Всемирную почтовую конвенцию (1874 г.) и стала членом Всемирного почтового союза, поэтому письма военнослужащих приходили домой со всех фронтов, например, с Салоникского в Греции. И даже из Русского экспедиционного корпуса во Франции, где тоже воевали наши земляки. Солдатские письма, как правило, писались простым карандашом на некачественной бумаге и не совсем понятным почерком, поэтому фамилию солдата и адрес прочесть сегодня практически невозможно.



**АЛЕКСЕЙ
КРУГОВ**

Краеведение





Милые мои родные. Я пишу вам, дорогие

Письма с фронта... Они содержат крупницы сведений и такие данные, которые подчас ускользают из книг и документов. Многие факты, детали, подробности запечатлены в них непосредственными участниками событий. И чем дальше отодвигаются в прошлое от настоящего эти письма, тем очевиднее их историческая ценность.

В солдатском военно-песенном репертуаре были такие слова:

*Милые мои родные,
Я пишу вам, дорогие,
С поля битвы удалой.
Где солдаты молодые
Со врагом вступили в бой.*

В первые месяцы войны солдаты массово слали родным с фронта письма, в которых говорили, что готовы сражаться до последнего и, если надо, умереть за веру и отчизну. «Одолеем проклятого немца и с победой вернемся ...», «Сокрушим ненавистного врага нашей матушки Руси...» При этом забывались и тяготы военной службы, и нехватка провизии, и тяжёлые условия, в которых проходили боевые действия.

Что сообщали о противнике. «Немцы – народ рослый, крепкий, дерутся хорошо...». Об австрийцах писали как о плохих вояках: «Идут колоннами, рядом друг с другом, и выбивать их хорошо. Наши же идут цепью, на расстоянии друг от друга в саженьях двух. Штыки у нас наготове, а у австрийцев они во время стрельбы отцепляются. Дойдет дело до рукопашной, а у них штыки не готовы...Ну, и бегут австрийцы, или сдаются в плен». О русских офицерах. «Впереди идут... Весь в крови, израненный, а бежит впереди всех. Кричишь ему, – ложись, – так куда тут ложиться, – бежит и не слышит словно».

Многие солдаты вообще не знали грамоты, письма за них писали более образованные товарищи. Отсюда у ряда писем явно одинаковый почерк. Солдатские весточки обычно начинались так: «Здравствуйте дорогие мои папаша и мамаша. Желаем вам различных мирских благ и здоровья...Я, слава Богу, в настоящее время жив и здоров... И еще посылаю дорогой моей супруге и моим деткам по низкому поклону». Таких «поклонов» могло быть около десятка: братьям, сестрам, теткам, дядьям, старикам...

Неграмотный солдат Федот Егорович попросил написать письмо своего товарища из села Высоцкого Благодарненского уезда Василия Захаровича Свистунова. В нем он сообщал родным: «Посылку от Вас получил, сало и денег 60 копеек, две пары носков, две пары перчаток, платочек и кисет». Дома оставались и вели большое натуральное хозяйство их родители, жены, сестры, дети...Болит душа солдатская: «Как собрали хлебушко, почем нынче цены на пшеничку...Ты, мать, за коровой-то следи...Как там с земелькой-то, вспахали?»

Вот письмо урядника Гавриила Ивановича Есютина, крестьянина села Безопасного. Ему довелось служить в знаменитой Дикой дивизии: «Прикомандировали нас во 2-й Дагестанский полк, справили нас очень хорошо, по две черкески, такие, как у казаков, по одному бешмету, вроде поддевок, желтые шапки, сапоги, шашки, кинжал, бурку, седло и лошадь. По окончании войны командир говорит, это пойдет в собственность». Сражался урядник Есютин храбро, за воинскую доблесть был награжден двумя георгиевскими крестами.

**«На нашем фронте война ведется
с полным для нас успехом»!**

Из письма офицера к сестре, проживающей в Ставрополе. Опубликовано в газете «Северокавказ»



ский край», сентябрь 1914 г.: «...Мы уже почти месяц в Галиции, перешли границу, р. Збруч, 7-го августа. Все время безостановочно идем вперед и гоним австрийцев; ужасно утомительно; идем с рассвета до ночи и за это время только три дневки, и то одну из них я провел... в сторожевом охранении, т.е. сутки не спал. По временам противник останавливается, чтобы на заранее укрепленных позициях дать нам отпор, и так мы были уже в нескольких боях. Помните, числа 22-го августа мы заняли город Львов, выбив предварительно австрийские войска; по эту сторону города они сосредоточили превосходящие силы, говорят девять корпусов против наших семи, и перешли в наступление, чтобы отбросить нас назад за Львов. Этот бой продолжался 6-7 суток с переменным успехом, пока, наконец, противник, отбитый по всему фронту, снова поспешно отступил, и мы опять его преследуем. Сейчас нам дали дневку; надо выспаться, вымыться и вообще привести себя в порядок...Я пока жив, не ранен и совершенно здоров. Лишения переношу хорошо и все время благословляю судьбу за бурку, которую купил тогда в Пятигорске; спать приходится на бивуаках на земле, так как обозы далеко отстают и наших чемоданов-кроватей не видим по неделям; на позициях в бою в тяжелые минуты приходится по суткам ничего не есть...Последнюю неделю нам возят продукты из Львова, там можно все достать. И так, на нашем фронте война ведется с полным для нас успехом...Вообще же мы очень мало знаем, где что делается, так как газет не получаем, а случайные вести доходят редко...Я представлен за бой в высший чин – к Владимиру и золотому оружию...Картины боя описывать не берусь». В письме речь идет о знаменитой Галицкой битве, в которой участвовали и наши земляки.

Первые успешно проведенные операции русских войск, взятие городов Львова и Галича «под-



няли патриотические чувства населения на небывалую высоту». В ознаменование побед русского оружия во многих селах Ставропольской губернии прошли праздничные манифестации.

В письмах с фронта, написанных в 1914 г., находим строки об уверенности в победе над врагом, характерные для начального этапа войны: «Победим проклятого немца, а без победы и домой не пойдем...», «Война идет блестяще. Скоро, наверное, сокрушим ненавистного врага нашей матушки Руси...». Война казалась скорой, победоносной и легкой. Письма содержат описания солдатского быта, оценку военных операций, отзывы о противнике: «дерутся немцы хорошо, но не выдерживают нашего штыкового удара...», «немцы – народ весь рослый, крепкий, держит себя гордо...трудно с ним драться, он нас забивает снарядами, шпарит целыми днями, а у нас орудий мало и стреляют редко».

Женщины на войне особая тема. Из письма сестры милосердия Риммы Ивановой (февраль 1915 г.): «Несу обязанности фельдшера. Моё дело перевязка – и больше ничего. Правда, перевязочный пункт находится недалеко от позиции, но всегда в безопасности – в прикрытом месте. На меня не смотрят здесь как на женщину, а видят сестру милосердия, заслуживающую большого уважения. Вчера мне было объявлено исполняющим временно обязанности командующего полком, что я буду представлена за дела 23-25 февраля к Георгиевской медали на Георгиевской ленте. Только, ради бога, никому ни слова. Обед у нас солдатский очень вкусный. О насекомых. Теперь их уже так много. Но если менять белье, то совсем от них избавишься. Белье же у меня есть. О тепле. Располагаемся в крестьянских избушках. О переходах. Умею и люблю много ходить. Во время переходов не все время иду, как мне захочется, сажусь на лошадь. Езжу уже хорошо.



Могу пользоваться лазаретной линейкой, но предпочитаю верховую лошадь... приятно сознавать, что в этом большом деле приносишь пользу».

«Мой друг Мясо вдруг исчез»

Все письма с фронта проходили через военную цензуру, в задачи которой входил их просмотр и составление отчетов о настроениях в армии.

В губернской цензурной системе работали чиновники, студенты, почтовые служащие, преподаватели гимназий, а порой и духовные лица. Они тщательно просматривали всю поступающую корреспонденцию и решали ее судьбу: «пропустить по адресу», «изъять», «затушевать выборочно». Поэтому военные искали способы отправки полевых весточек через случайных попутчиков до какого-либо города или железнодорожной станции. Чтобы письмо не задержала военная цензура, солдаты и их родственники шли на разные ухищрения. Например, придумывали специальные шрифты, понятные только им, прятали письма в потайных местах посылки.

Явные намеки цензоры однозначно не пропускали: «Ты знаешь, мой друг Мясо вдруг исчез, да и Сало пропал без вести». Такие фразы, как правило, ретушировались. Случались и нецензурные вставки, типа: «Эх, мамина мама, люди гибнут, как мухи, смерть косит направо и налево, а тут еще зажрали вши и дьявольские еропланы сверху летают, гранаты разные пуцают». Вот такая она окопная правда!

«Господа, просим покорнейше «на гармонь и бубен»!

В редакцию газеты поступило из Кавказской действующей армии следующее письмо: «Милостивый государь господин редактор! Просим поместить в вашей газете нашу просьбу к читателям.

Находимся мы в настоящее время, в резерве на передовой линии турецкого фронта. Скука нас одолевает. Развлечений никаких. В скучные дни, наши развлечения песни и танцы, под так называемую, горловую музыку. Может быть кто-либо из читателей газеты «Северокавказский край» не оставит нас без внимания и соизволит прислать гармонь и бубен, в которых мы имеем крайнюю нужду. С почтением к вам фельдфебель Александр Карпович Бондаренко и пр. Кавказская действующая армия, 13 кавказский стрелковый полк, пятая рота». И гармонь, и бубен солдатам были доставлены.

Из воспоминаний штабс-капитана В.А. Стахурского, офицера 83-го Самурского пехотного полка, в котором служило немало наших земляков: «За год войны полк потерял почти весь кадровый офицерский состав, большое количество солдат... Приходило пополнение – молодые офицеры, только что выпущенные из военных училищ, солдаты-бородачи, лет за сорок, которые почти забыли военное дело, или юнцы-новобранцы, два-три месяца обучавшиеся шагистике, да раз побывавшие на стрельбище. Приходили они почти все без оружия, одежда полувоенная – ботинки и брюки штатские».

«И начался страшный рукопашный бой...»

Из писем с фронта: «Мы перешли Вислу, заняли позиции и стали ожидать неприятеля. Погода была отвратительная: дождь, сырость, непроходимая грязь. Кругом – пусто, население бежало. И вот из леса показались немцы. Густые колонны их подошли к нам на ружейный выстрел... Грянули наши ружья, защелкали пулеметы, страшным роем неслись пули. Заметались немцы, сбились в кучи, целые ряды их падали как подкошенные... Все поле было устлано трупами. Вскоре мы подошли к укрепленной немца-



ми деревушке и под прикрытием темноты намеревались атаковать ее. Но противник встретил нас шрапнелью... Убийственный огонь их не давал ходу. Мы залегли на дороге и немного передохнули... Немцы поднялись нам навстречу и начался страшный рукопашный бой... трудно передать – что тут было...»

Из дневника командира 10-й роты 3-го батальона 83-го Самурского полка капитана Рекалова: «... Тогда прапорщик Семенов поднял солдат, и ударили они в штыки по колонне противника... Стремительная боевая удаля, ужасающая работа штыками и прикладами...»

Читая письма, понимаешь, что война – это тяжелый изнурительный труд, фактически на грани человеческих сил и возможностей. Грязь, кровь, смерть товарищей... Не всем удавалось сохранить душевное здоровье после всего пережитого на передовой. Вот официальная статистика. Средние потери в связи с психическими расстройствами в период русско-японской войны составили 2-3 случая на тысячу человек. В Первую мировую войну показатель «психических боевых потерь» был уже 6-10 случаев на тысячу. А может и больше...

На помощь приходили священники. Главной их задачей в военное время, кроме совершения богослужений и треб, было влияние на свою паству личным примером, твердостью духа в сложнейших ситуациях, стойкостью в исполнении воинского долга.

Корабельный священник отец Петр Любомудров, служил на крейсере «Аврора». На том самом, что жажнул в 1917 г. по Зимнему дворцу. Он, один из немногих батюшек ставропольской епархии, пошел на флот добровольцем. Его письма публиковались периодически в «Ставропольских епархиальных ведомостях». В них он в основном описывал церковные праздники, проходившие на корабле.

Вот как, например, встречал светлый день Пасхи экипаж «Авроры» в 1916 г.

«Действующий Балтийский флот, крейсер «Аврора», Гельсингфорс. В этот день команда сподобилась причаститься Святых тайн Христовых...все приготовились к достойной и славной встрече Светлого Христова Воскресения...какое торжество можно было видеть на лице каждого воина-моряка...все как бы стремились поскорей услышать радостное, дорогое, родное «Христос Воскресе»...Светлая неделя приблизилась к концу и нашему кораблю надлежало отправиться в поход... Перед походом каждый воин спешил в свой святой судовой храм». Между тем, в 1917 г. на Авроре была одна из самых многочисленных большевистских флотских ячеек.

Христианские ценности вчерашнего крестьянина – солдата подвергались на фронте каждодневному испытанию. Крайняя жестокость и кровавые ужасы войны не могли найти в системе религиозной морали ни объяснения, ни оправдания. Впечатления от происходящего разрушали привычные представления, в которых всемогущий бог правил миром в соответствии со своими заповедями. Вот одно из характерных солдатских впечатлений: «Почем я знаю, может, сотню али больше душ загубил... Немец-то он ведь тоже христьянин... Грех аль нет?.. А как грех? На том свете начальство вперед себя не пустишь... В трудные минуты фронтовой жизни молился господу богу до одури. Война и жизнь начали вносить свои поправки, и я начал сомневаться в могуществе всевышнего. Что же он, всемогущий и всеведущий, без воли которого не упадет ни один волос с головы человека, в уме ли? Допускает, что сотнями тысяч гибнут люди. Во имя чего бьют их такими средствами, которыми не бьют ни одного зверя. В чем же дело?»



«Милая родная мамочка...»

Весточки с фронта позволяют прикоснуться к личной стороне войны, вместе с ее участниками пережить трагические события столетней давности. Вот предсмертное письмо ставропольца прапорщика Бориса Феодоровича Семилуцкого, погибшего на Северо-Западном фронте в 1915 г. Свой подвиг он совершил в один день с Риммой Ивановой. Ему, студенту 3 курса Петроградского Горного института, не было и 22 лет от роду. Письмо начинается словами: «Милая родная мамочка. 9 сентября, в 11 часов утра, мне удалось пролить кровь свою за Веру, Царя и Отечество. Ранен я довольно тяжело в левую сторону живота. Сегодня мне делают операцию».

Далее вместо него пишет сестра милосердия одного из рижских госпиталей. Письмо адресовано матери Наталье Тимофеевне Семилуцкой, проживавшей в Ставрополе. «Ваш сын не успел продиктовать больше. Он скончался 10 сентября в 12 с четвертью дня. Привезли его к нам ночью с 9 на 10 сентября с ранением живота, безусловно, смертельным... Я медлила посылать Вам письмо с целью описать вам похороны вашего сына. Похоронен он был в пятницу 11 сентября. Сестры и доктора госпиталя постарались сделать все возможное, чтобы скрасить последние его минуты на земле. Гроб украсили цветами, проводили на кладбище с музыкой. Неожиданно собралась масса народу и увеличивалась все время вплоть до кладбища. Многие бросали по дороге цветы, так что гроб вашего сына буквально был усыпан цветами».

К сожалению, большинство писем наших земляков навсегда канули в Лету. Многие из них, хранившиеся в семейных архивах, исчезли, унесенные потоком времени и событий...



«Из действующей армии»

Мы не знаем своей истории. Тому есть много причин. Но вопреки всем этим причинам и их следствиям у нас крепка историческая память, потребность в ней. Именно поэтому, несмотря на все усилия по выбеливанию в народе памяти о Первой мировой войне, предпринимавшиеся в XX веке, эхо этой войны все равно будоражит наши умы и сердца.

Да, исторических, документальных источников, а тем более вещественных, периода Великой войны, как ее называли современники, осталось очень мало. В редких семейных архивах сохранились фотографии родственников в солдатской и офицерской форме 1914–1918 годов, награды, Георгиевские кресты. В советские годы люди вынуждены были, уничтожая эти артефакты, а также письма с фронта, газетные и журнальные вырезки, книги, любые косвенные свидетельства, глубоко в себя прятать свое прошлое. И сегодня мы понимаем, что своей памятью, недоступной никаким ЧК и НКВД, они перенесли



**АЛЕКСАНДР
ФОКИН**

**Литературо-
ведение**





в вечность имена всех тех, кто воевал, кто остался на полях сражений, всех, для кого слово «Россия» было синонимом «Бытия».

Сегодня мы знаем, что под влиянием зарубежных сил Отечественная для России Первая мировая война революцией 1917 года была превращена в гражданскую – с резней, с великим голодом и великим мором. Россию лишили победы в Великой войне, хотя добывалась она ратным трудом русских воинов.

Но теперь, спустя 100-летие с ее начала, победила историческая память народа: в этом году впервые Россия официально чтит память солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне.

Сохранению, укреплению народной памяти все эти годы, безусловно, способствовала русская литература. Самые известные в этом плане, конечно, эпопеи М.А. Шолохова («Тихий Дон»), А.Н. Толстого («Хождение по мукам»), А.И. Солженицына («Красное колесо»). К сожалению, борьба в советские годы велась не только с исторической памятью, но и с духовной, отражением и выражением которой всегда была словесность. Именно поэтому о Первой мировой россияне узнавали гораздо больше из произведений А. Барбюса, Э. Хемингуэя, С. Мозма, Э. Ремарка, Я. Гашека. Сложилась парадоксальная ситуация, о которой блестяще сказал известный литературовед и публицист Л. Аннинский: «Вплоть до «Августа четырнадцатого» зиял в русской литературе провал; разрозненные сцены в горьковском «Самгине» и некоторые эпизоды у Шолохова и Федина лишь подчеркивали вакуум. Мы больше узнали об «августовских пушках» из Барбары Такман, чем из всей советской литературы».



Парадоксальность эта подчеркивается и тем, что до сих пор в учебниках по истории русской литературы, как школьных, так и вузовских, мы практически не найдем упоминаний о том, что в биографиях значительной, если не большей части русских писателей XX века, Первая мировая война была не просто историческим фоном.

Отсюда и затруднение, с которым сталкиваются целые поколения россиян, при ответе на вопрос: «Кто из русских писателей участвовал в Первой мировой войне?»

Мы неслучайно упомянули выше имена Михаила Шолохова, Алексея Толстого и Александра Солженицына, как авторов самых известных в России книг о Первой мировой. Ведь именно их чаще всего и называют, отвечая на этот простой вопрос, забывая при этом, что к ее началу Шолохову едва исполнилось 9 лет, а Солженицын еще не родился.

И люди старшего поколения и молодежь затрудняются вспомнить, что добровольцами на фронт ушли: Н. Бруни и С. Городецкий, Н. Гумилев (награжден Георгиевским крестом) и В. Катаев, Н. Туроверов и А. Куприн, С. Кречетов и И. Лукаш, А. Серафимович и М. Слонимский; были призваны в действующую армию: А. Блок и С. Есенин, В. Катаев и М. Булгаков, Н. Асеев и Д. Бедный (награжден Георгиевской медалью), М. Зощенко и К. Паустовский, С. Клычков и Ф. Степун, Б. Тимофеев и Н. Тихонов; находились на фронтах в качестве корреспондентов: В. Брюсов, В. Горянский, И. Жилкин, Н. Каржанский, С. Кондурушкин, Ф. Крюков, В. Муйжель, А. Толстой, Е. Чириков, чьи репортажи, корреспонденции и публицистика способствовали проникновению нравственных начал в общественное сознание. В годы войны появи-



лись первые литературные и публицистические опыты будущих мастеров слова М. Пришвина, И. Шмелева, К. Тренёва, М. Осоргина – авторов рассказов и очерков о войне, в которых отразилось общественное настроение, меняющееся и неизменное в менталитете воюющего народа. Названия многих пьес, шедших тогда на столичных и провинциальных сценах, свидетельствуют о том, что русская драматургия и русский театр также чувствовали и отражали «нерв времени»: «Позор Германии» М. Дальского, «Реймский собор» Г. Ге, «За Русь святую» А. Ремизова, «Одураченный немец, или Вильгельм-колонист» В. Леонидова, «В царстве чертей и немцев» А. Дрождинина и т.д.; темой войны пронизаны многие страницы публицистики, дневников, эпистолярная Л. Андреева, Е. Замятина, З. Гиппиус, В. Короленко.

И это далеко не полный перечень. Русская литература 1914–1918 годов способствовала сохранению духовной памяти о войне, фиксации ее в национальном самосознании. Свое логичное развитие и продолжение тема Первой мировой получила в литературе русского зарубежья первой волны.

Илья Дмитриевич Сургучев был на войне без малого два года – с сентября 1915 по август 1917. Военная служба началась для него в составе Сибирского передового врачебно-санитарного отряда, а закончилась в 7-й армии Юго-Западного фронта. Его демобилизация после тяжелого ранения совпала с распадом российской армии и «русского» фронта. Сургучев оказался свидетелем и участником многих кровопролитных сражений, одно из которых – Станиславско-Ковельское наступление (лето 1916 года), известное более, как Брусиловский прорыв, по имени руководившего

им главнокомандующего Юго-Западного фронта генерала А.А. Брусилова.

С момента объявления войны Сургучев знал, что в скором времени он будет призван. Его размышления об этом, о сути и природе войны сохранились в дневниковой записи одного из современников – известного переводчика и педагога Ф.Ф. Фидлера, с которым писатель был дружен:

«В январе ему (Сургучеву) придется, по-видимому, идти на войну. «Пойдете охотно?» – «Нет. Не потому, что я боюсь смерти. Но я боюсь всех этих ненужных страданий, голода, жажды, мороза, бессонницы, измождения и неперевязанных ран! И кроме того: я – один из самых миролюбивых людей на свете, а вынужден буду убивать тех, кто не причинил мне ни малейшего зла, скажем – Августа Шольца, моего переводчика, приславшего мне деньги. А ему придется убивать меня – того, кто дал ему возможность заработать. Почему такая несправедливость?!..» Ему тридцать три года... «Вы знаете немецкий?» – «Всего одно слово: donnerwetter!»».

Однако с «ненужными страданиями», «несправедливостью» войны, Сургучеву пришлось столкнуться и в тылу, задолго до того, как он надел ратную шинель. Весной 1915 года вышло «Распоряжение по Союзу театральных и музыкальных деятелей», где в пункте № 3 говорилось: «Исполнение пьесы в 5 действиях И. Сургучева «Осенние скрипки» разрешается повсеместно, кроме городов: Петроград, Москва, Киев, Одесса, Харьков, Ростов-на-Дону, Саратов, Тифлис, Нижний Новгород и дачных местностей в округе Петрограда и Москвы».

Запрет, мотивированный тем, что страна участвует в войне, что произведения литературы и



театра должны отвечать гражданскому патриотическому пафосу, вызвал недоумение. Началась борьба за пьесу. Сургучев, будучи известнейшим в России тех лет беллетристом и драматургом, неоднократно высказывался на страницах печати по поводу значимости театра во время войны с пониманием той доли ответственности, которая возлагалась на него, как на автора пьес: «Русское искусство, в том числе, конечно, и театральное, должно чутко и глубоко отнестись к культуре масс» особенно теперь, когда народ «вдруг, сразу, после запрещения продажи вина, потянулся к эстетическому наслаждению». По мнению писателя, «не все антрепренеры поняли это положение вещей... Слишком холодно относились к пьесам момента, и те из них имели больший успех, в которых менее всего говорилось о войне».

Воевать, если возникает необходимость, должны люди. У театральных постановок и литературных произведений иное предназначение – они спасают мир и человечество своей красотой. Как следствие, «Осенние скрипки» не исчезли из репертуаров российских театров не только во время Первой мировой, но даже и во время Гражданской войны.

Буквально перед отправкой на фронт, в послании ставропольскому другу – писателю Н.Е. Лещинскому – Сургучев сообщал: «Лит[ературная] фабрика работает вовсю. Лично у меня, значит, сезонная работа выражается так: пьесы не дал. Выходит 3-я книга. Печатаю в сборнике «Слово» большую повесть, почти роман, под заглавием «Мельница»».

В этой повести впервые в творчестве Сургучева возникла тема Первой мировой – войны, которая разоряет семейные гнезда, рвет родственные

узы, но веры в победу, надежды на счастье в скором будущем одолеть не может.

Выразителем этой мысли становится старик Баранов, проводивший трех сыновей на фронт. Свет любви, свет воскресения, свет вечной жизни, побеждающей страх и смерть, видит он, когда понимает, что Бог отнял у него все: *«Отнял дом, мельницу, детей... но... веры-то в Себя Он... не отнял»*. И поэтому старик не теряет надежды на лучшее: *«У меня вот еще есть деньги, сколько-то осталось... Там Илюша с войны, Бог даст, придет, снова откроем лавку...»*. Как праведник Иов, претерпевший до конца, обретает он то истинное, духовное зрение, которым по-новому, как бы другими глазами, видит красоту славного Божьего творения, красоту жизни, которая чужда неверующему и отчаявшемуся.

С осени 1915 года на письмах Сургучева и ответных ему вместо ставшего известным многим современникам адреса «Ставрополь на Кавказе» появился новый, не столь определенный, но соответствующий времени и позиции писателя-гражданина, – «Юго-Западный фронт». Декорации славы «короля драматургов» сменили трагические реалии войны. В тылу еще двигалась по инерции вверх литературная карьера: в «Книгоиздательстве писателей в Москве» стало выходить собрание сочинений, то были произведения, написанные до 1916 года, в театрах все с тем же успехом шли его пьесы. Но фронт вносил свои коррективы. В дирекцию Книгоиздательства он обращается с просьбой высылать авторские экземпляры выходивших из печати его книг на адрес своего родного брата Ивана Дмитриевича, служившего диаконом в станице Бекешевской Кубанской области, либо по адресу проживавшей



в Петрограде жены – Татьяны Васильевны Бочаровой.

На фронте И.Д. Сургучев продолжал, по возможности, писать. В новых произведениях стала главенствовать военная тема. Из стиля постепенно исчезают лирические интонации, музыкальность слога, излюбленные образы запахов и красок цветов, музыки тишины и звуков летящей среди звезд Земли. В столичных и провинциальных газетах, в том числе «Русских ведомостях» и «Новом времени», появляются его публикации с подзаголовком «Из действующей армии».

Очерки и рассказы И.Д. Сургучева времен Первой мировой – это повествования о людских судьбах, в мирное бытие Божественного промысла которых вероломно вторглась война. Он пренебрегает политиканством, лозунговостью, манифестантством, нарочитой пафосностью, чем «грешили» в те годы многие его коллеги по перу. Избегает модного противопоставления на «пораженцев» и «патриотов», на своих и врагов. Но при этом ему чужды и горьковский пацифизм, и «пролетарский интернационализм». Героями его произведений становятся простые русские люди, казахи, калмыки, украинцы, сербы, болгары, немцы, австрийцы, которые вдруг, в одночасье утратили свою национальную и индивидуальную самобытность и стали просто солдатами.

Каждый встреченный на войне человек, его имя, род довоенных занятий, внешность, судьба, наконец, были настолько дороги и памятны Сургучеву, что он не смог смириться с их безвестностью. Вот почему он весьма жестко отреагировал на возведение в 1920 году в Париже под Триумфальной аркой на площади Звезды первого памятника солдатам Первой мировой, идеологемой и мифоло-

гемой которого стала искусственно и беспамятно созданная этой войной и узаконенная XX веком «могила неизвестного солдата»:

«Париж! Париж! Столица мира! Столица Неизвестного таинственного солдата, погребенного на самом пупе земли! Декоративный труп, лишенный панихид, креста, материнских слез. Бедный солдат! Куда бежать от президентских парадов, холодных бесслезных цветов, дипломатической лжи и этих притворных вытягиваний рук по швам?.. Могила Неизвестного солдата – это самая дикая и фальшивая нота демократической Европы. Из человеческого трупа, нуждающегося в могиле и кресте, сделали «гвоздь» столицы, монмартрский номер... Нехорошо, когда около христианского трупа «слишком кипит житейское море»... Зря не дали покоя доброму и доблестному солдату».

В эмиграции, когда актуальность патриотического отражения темы Первой мировой войны отпала, а возобладали точка зрения так называемых «пораженцев», многие произведения Сургучева 1914–1918 годов остались невостребованными. Вернулся к ним писатель только в конце 1920-х – при подготовке к печати книги «Эмигрантские рассказы», но включил в нее только один из них – рассказ «Любовь». А вот «неизвестному солдату» Первой мировой посвящена целая глава романа «Ротонда», который в газетном варианте публиковался с 1928 года, а в книжном вышел в 1952 году.

На войне не бывает «неизвестных» солдат. Не должно быть. Как не бывает и не может быть «неизвестных» войн, на полях сражений которых гибли соотечественники. Если есть «неизвестные солдаты» и «неизвестные войны», значит, что-то в нашем обществе не так, значит, что-то привело нас к утрате исторической памяти.



Вновь тема Великой войны в творчестве И.Д. Сургучева возникла уже в годы Второй мировой. Тогда им была задумана книга «Рождение большевизма», в которую он намеревался включить многое, из написанного в 1914–1918 годах. Планировал он издать и второй том «Эмигрантских рассказов» и даже собрал эту книгу, куда в отредактированном виде были включены некоторые рассказы и очерки о Первой мировой. К сожалению, эти сборники так и не увидели свет.

Несколько лет тому назад в журнале «Наш современник» были опубликованы семейные воспоминания одной из первых представительниц русской женской прозы Майи Анатольевны Ганиной «Друзья и не друзья. Из очерков русской жизни» (№ 7, 2006). Воспоминания, которые она не решилась публиковать при жизни, появились в журнале год спустя после ее смерти.

Поистине, глубоко в себя прятали наши люди свое прошлое!

А прошлое, о котором поведала писательница, напрямую связано с ее отцом – Анатолием Андреевичем Ганиным, с его памятью о Первой мировой. Обратим внимание на то, что отец рассказывал дочери о своем участии в той «запретной» войне «лишь единожды». Тоже хранил эту тайну очень глубоко, боясь довериться даже самому близкому человеку – дочери.

Для нас эти мемуары, переданные через поколение, интересны и тем, что ключевую роль в них играет И.Д. Сургучев и публиковавшиеся в годы войны его очерки «Из действующей армии». Перечитаем эти строки памяти, прорвавшиеся сквозь толщу десятилетий:

«О чём рассказывал мне отец? <...> Был он, по его рассказам, хорошо знаком с писателем, в нача-

ле прошлого века достаточно известным. Автором знаменитых «Осенних скрипок», многих других пьес, рассказов, романов – Ильей Дмитриевичем Сургучёвым. Познакомились они в Питере, продолжили, встретившись там случайно, знакомство на фронтах германской. Сургучёв даже написал рассказ «Агат и Нера», напечатал его в газете «Новое Время», запечатлев в этом рассказе трогательное происшествие, случившееся на его глазах.

Агат был конём арабских кровей, достался он моему отцу как карточный выигрыш. На фронтах Первой мировой, по рассказам батюшки, были они с конём неразлучны, часто спасая друг другу жизнь. Есть и фотография, где три всадника верхами, в каком-то лесу или парке, красиво позируют фотографу. Один из всадников – мой батюшка, также в тот момент ещё очень молодой (двадцати семи лет) и красивый. Нера – сеттер-гордон, ещё один спутник и любимец отца на тех дорогах; умерший от тоски по хозяину на его шинели, когда отец, оставив собаку у друзей, уехал надолго. Пёс перестал есть, не вставал с шинели, хранящей запах хозяина. И умер. Отец об этом рассказал лишь единожды. Я, конечно, верногo пса оплакала.

Случай, увековеченный писателем Сургучёвым, произошёл, когда полк, в составе которого был отец, переходил с одной позиции на другую. Была весна, ледоход. Скакали намётом по мосту, Нера бежал рядом. Каким-то образом его столкнули в реку, там густо шли льдины. Пёс стал тонуть. Агат заметил это, кинувшись к перилам моста, сиганул в реку. Отец едва успел с него соскочить. Конь вытолкнул тонущего друга на берег!..

Сургучёв в двадцатых годах, не приняв нового порядка, эмигрировал во Францию, жил в Париже. Там и умер в 1956 году. Было ему всего-то семьде-



сят пять лет. Отец умер в Москве, в 1974 году, в свой профессиональный любимый праздник – 23 февраля... Было ему восемьдесят семь лет».

В этом году в России наконец-то открываются обелиски в честь павших на фронтах Первой мировой. К сожалению, пока они весьма символически, потому что безымянны. Но это пока... Наша историческая и духовная миссия теперь, когда эта война перестает быть «неизвестной», восстанавливать имена всех воинов, отдавших на ее фронтах свою жизнь. Надеемся, что представленные в подборке рассказы и очерки И.Д. Сургучева помогут в этом. И пусть имена героев его произведений, а они, как видим, не вымышлены, займут свое место в «строю» имен на наших памятниках Первой мировой войне. И пусть их увидят и узнают потомки. И пусть не останется ни одного забытого, ни одного неизвестного солдата.

Живой родник души земной

Я держу в руках небольшую, в ладонь величиной, книжечку небесно-голубого цвета с убегающей в даль стилизованной тропой, уставленной треугольными фишками условных деревьев, с багровым кругом солнца в отдалённой перспективе. Вдоль «тропы» снизу вверх тянутся чёрные буквы, слагаясь в название: ТРОПИНКА В СОЛНЦЕ.

«Если бы меня спросили: о чём эти стихи? – я затруднился бы дать односложный ответ. Автора волнует буквально всё, обо всём она хочет сказать, и стихотворения рождаются так же естественно, как дыхание. Когда читаешь строфы Валентины Слядневой, ощущаешь запах летнего ветра, слышишь звон кузнечика в траве; стихи полны света и чистой синевы неба, хрустящей свежести снега и смутной тревоги осенней рощи; стихи о молодости и любви, стихи о матери и матери-России», – так пишет о первой книге поэтессы в предисловии к ней поэт Иван Кашпуров, открывший в своё время для читателя новое поэтическое имя.

Теперь, по прошествии почти полувека, можно сделать



**ЕЛЕНА
ИВАНОВА**

Литературо- ведение





заклучение об этой счастливо состоявшейся человеческой судьбе: Валентина Сляднева сложилась в значительного писателя, поэта и прозаика, автора более двадцати книг стихов и прозы, ею в содружестве с композиторами созданы и записаны на диски проникновенные песни, посвящённые родному Ставрополью, его людям, обживающим и украшающим своим трудом бескрайние степи, песни, воспевующие простое и вечное – жизнь, любовь, материнство, красоту земную.

...Ловлю себя на том, что тянет меня не говорить о стихах, не толковать написанное поэтом – хочется читать, впитывать завораживающие песенными интонациями строки, наслаждаясь заключёнными в них образами, красками, картинками. Если станешь читать вдумчиво, неторопливо, откроется тебе большая и глубокая река человеческой судьбы, увлекающая тебя всё дальше и дальше в своём то тихом, то бурном течении. А начало этой реки – в далёком детстве, в стране счастливых грёз, в безоблачном счастье простого бытия.

– Заметьте: «стадо» у «подпаска» не простое, но «степи, горы и равнины» – то есть всё сущее на земле, весь огромный, нескончаемый простор. Это глобальное представление о мире, заявленное уже в первых стихах Валентины Слядневой, станет постоянным признаком её мироощущения, проявленного со всей определённостью в последующем творчестве. Отсюда признание: «Не знаю, чей я взор, / Чей облик повторяю? / Окно я не во двор, / А в Космос отворяю». И далее автор разовьёт свою мысль:

*Земли частица, космосу сестра я.
Но, может, оттого, что он вдали,
Его покуда я не понимаю,
Душой не отрываюсь от земли.*

В другом стихотворении её лирическая героиня благодарит родные края за подаренную ей радость жизни, за то, что она «бежала с улыбкой к колодцу, /Цепляясь ведёрком порожним/ За гулкое сердце Вселенной!» («Мои ставропольские дали»).

Валентина Сляднева – поэт, навек укоренённый в родную землю. Куда бы ни забросила её судьба, душа её, как перелётная птица, неизменно возвращалась к родному уголку земли: «И милый сердцу край я снова вижу/ Сквозь крылышки танцующих стрекоз». Как много сказано здесь всего лишь двумя строками! Поэтический образ влечёт за собой ассоциативно картины знойного степного лета: где стрекозы, там и стрекотание кузнечиков, и шорохи чуткого камыша в речной заводи, и выгоревший под солнцем, как ситцевые платки у крестьянок, работающих в поле, плат неба... Включи, читатель, своё собственное воображение, и ты станешь соавтором поэта в его творческом созидании своего мира, который окажется и твоим, таким же близким и дорогим тебе, как самому поэту.

*Создаю я свой мир по утрам
Из полей и тревожных небес,
Когда холодно, сыро горам
И когда просыпается лес.*

*Создаю я свой мир
(пусть звенит!)
Из травы и сиянья лучей,
Когда солнце уходит в зенит...
Создаю я свой мир из ночей.*

*... Даже если вокруг ничего,
Ни тропы, ни звезды, ни огня –
Создаю я свой мир...*



*И его
Бесконечность
Пугает меня*

«Бог создал мир из ничего. Учись, художник, у него» – этот совет поэта Серебряного века (Константина Бальмонта), похоже, усвоила и наша поэтесса. Творец даёт жизнь Своему созданию, вдохнув в него «дух живой», точно так же поступает и поэт, одушевляя и преображая всё зримое им чудесной силой вдохновения.

А вдохновение Валентина Сляднева берёт от родной земли, ощущая себя её живой светоносной частицей. Признания в этом мы находим повсюду в её стихах:

*Я ладошкой закрою
Рану старую ствола.
Больно. Кажется порою:
Я берёзою была.*

*Или:
Я вышла из лесов:
Из речек иль озёр?
Наполнен ими до краёв
Мой взор.*

*И ещё:
На сосне золотистой кожа
С плеч моих, и лица, и шеи...*

** * **

*По стволу берёзы вновь
Сок течёт – моя кровинка!
Испокон во мне любовь
И к деревьям, и к травинкам.*



Только ахнешь в восхищении от образной находки поэта, прочитав: «Как раскалённая плита, / Моя земля весной в тюльпанах». Тем и притягателен поэтический мир Валентины Слядневой, что предстаёт он перед нами обжитым, в живых деталях человеческого бытования. Он словно обласкан любовным взором автора, который отмечает во всём милые подробности: то это телёнок, уснувший в пойменном лугу «с травинкой на губах», то дрогнувшая травинка – «ношу понёс муравей», то это «полянка в душистых цветах, как невеста, / На свиданье пришла к ошалевшему маю».

В стихотворении «Нарисуй меня, Модильяни» поэтесса как бы воссоздаёт свой автопортрет, где она представлена скорее не как земное существо, но в пространственном образе самой земли с её равнинами и косогорами: «...Шеи линию изломай! Протяни ты мои глазницы!...» По судьбе её струится холод «И молитву не слышит Бог», между тем как уходит в небытие отец, уставший от земных дорог, уходит, как ушли безвременно – это понимаем мы из контекста других стихотворений – сотни и тысячи русичей...

«И поле Куликово всё лежит, / У моего лежит у изголовья», – говорит поэтесса в исторической поэме «Русь». Поневоле думаешь, какого же роста должна быть её лирическая героиня, почивающая таким образом? И тут это также не просто земная женщина, не человекообраз, а сама былинная могучая Русь, раскинувшаяся вольно на все четыре стороны света...

Поэзия Валентины Слядневой внешне очень проста, легкодоступна пониманию читателя, но в ней нет стилистического однообразия, она богата своей переменчивой ритмикой, неброской оригинальностью формы, которая в каждом случае способствует выявлению содержания с наибольшей полнотой,



поддерживает на нужной высоте лирическую ноту. Чувствуется по всему, что автор постоянно находится в поиске новых художественных средств для самовыражения, органично перерабатывая в своём стихе классическое наследие мастеров слова и кисти (у поэзии и живописи немало общего). Наследует от них Валентина Сляднева и основополагающие принципы содержательного характера.

Большая Родина – Россия, её нынешний день и историческое прошлое волнует автора в не меньшей степени, чем всё происходящее на родине малой «С долиной, где дремлет село под названьем Надежда». Через судьбы земляков, нередко горестные и трудные, через судьбы родных и близких поэтеса естественным образом совмещает в стихах два плана – исторически отдалённый и близлежащий, сиюминутный, создавая монументальный образ многострадальной Руси. Это она, Русь, в стихотворении «Плач каменной бабы» выпевает свою боль-тоску о пережитом в веках:

*К милосердью судьбы я взывала порою не ра-а-а-з!
Натекли по слезинке моря и озёра из глаз
А-а-а-а-а...*

Поэт – это судьба. У Валентины Слядневой судьба такая же, как у всего сельского трудового народа. К тому же она человек советской эпохи, воспитанный на принципах патриотизма, гражданственности, на русской классической литературе. Это во многом определило вектор её творческого развития, выбор тем для стихотворений и прозаических произведений.

Духовные корни судьбы поэта пронизывают не только самое близкое, лично пережитое, но и подпочвенные, глубинные слои, вступая в связь с судьбами прошлых поколений:

*Мой дед кубанский хлебороб,
А бабушка моя жница.
По сторонам моих дорог
Всегда росла пшеница.*

Хлеб в стихах Валентины Слядневой становится синонимом жизни, её трудовой основы, о чём она говорит так: «Могу сравнить я с хлебом только хлеб, / А всё, что в жизни дорого мне, – с хлебом!»; «Бес-смертье хлеба – в тёплой борозде, / Пускай бывал тяжёлым он и клёклым. Но только знаю я, – всегда, везде/ Пред словом «хлеб» слова другие блёкнут».

Иначе и не может быть для поэтессы, которая выросла в сельской трудовой среде и сама с детства знала весь ряд сельской усадьбы, знала, как достаётся хлеборобу главное его достояние:

*Тут зной ходил, и пыль летела,
Страды минуты нележки...
С сознанием сделанного дела
Идут навстречу земляки.
... И как бы мир наш не хотели
Переиначить те, кто слеп, –
А человек скатёрку стелет
И посредине ставит хлеб.*

Хлеб, домовито возлегающий на столе, колосящаяся нива, борозда, засеваемая зёрнами пшеницы – без этого нет поэзии Валентины Слядневой. От земли, её хлебного духа, кажется, происходит сама её поэтическая сила. Как хороши вот эти стихи, в которых запечатлена прелесть обыденного сельского бытования, сдобренного праздничным духом свежеиспечённого каравая. Хочется привести здесь их полностью, без купюр:

*Хлеб печёт сегодня мать,
Завязав платочек,
Сковородки подавать
Заставляет дочек.*



*– Только мне без сквозняков!
Жар от печки пышет...
Наготовит пирожков
И румяных пышек.
А потом на стол муки
Пригоршню подкинет,
И смеются колобки,
Мячики такие!
Хлеб посадит в печь
И вслух
Скажет: «Слава Богу!»
И весёлый хлебный дух
Потечёт в дорогу.*

Человек, духовно слившийся с природой, родной землёй, живущий её настоящим, прошлым и будущим, иным и не может быть. Неудивительно, что для лирической героини Валентины Слядневой небосвод всего лишь зонтик: «Буду я петь колыбельную, слушать предания /И, словно зонтик, качать небосвод голубой». А в другом стихотворении, давая решительную отповедь своим недругам, автор скажет: «Мне пропасти все – до колен!» И как вывод: «Гвоздя не утрашусь я мирового». Это признание – из пласта самосознания всё той же человеческой личности, которая, как мифический Антей, черпает свою силу от соприкосновения с землёй: «Что стало бы со мной, коль черпать силы/ Я не могла б у матушки-земли?»

В лирической героине Валентины Слядневой проглядывает натура сильная, деятельная, исполненная воли к жизни и энергии борьбы. К тому же натура эта мыслящая, многодумная. И все свои думы она доверяет заветной тетради, а если быть точнее – читателю:

*Всё иду к тебе, Читатель,
Каждый вечер, каждый день я,
То смеясь, то горько плача,*

После тризны, дня рожденья...
Для тебя я отнимаю
Вновь себя у крымских пляжей,
И дорог моих стозвонных,
И цветений белопенных...
(«Чаша жизни»)

Читать стихи Валентины Слядневой – всё равно что внимать исповеди беспокойного человеческого сердца, вести неспешную задушевную беседу с интересным собеседником, которого волнует и трогает многое на этой земле.

Валентина Ивановна, насколько я знаю её, и отнюдь не из шапочного знакомства, была человеком неоднозначным, многогранным и при всём её внешнем простодушии далеко не простым. В её богатом на противоречивые проявления характере контрастно заявляли о себе самые разные грани. Были среди них и такие, которые уже самим своим наличием подтверждали известную истину, утверждающую, что поэт – отнюдь не небожитель, ему свойственны человеческие слабости и недостатки, как и любому простому смертному. Однако, не отнять у неё сострадательности, способности приложить к своему сердцу боль и тревогу другого человека. Душевность как неперенное свойство русской природы сказывается во всём написанном ею в стихах и прозе.

Поэзию Валентины Слядневой можно назвать народной, если понимать под словом «народ» ту нерасторжимую духовную общность, о которой говорит в своём произведении «Ямская слобода» Андрей Платонов. Один из его героев, солдат-фронтовик, прошедший через испытания Первой мировой войны, утверждает, «...что сплошного народу не свете нету, а живут кучками сыновья, матери, жёны – и один дороже другому. И так цопко кровьями все ухвачены, что расцепить – хуже, чем убить...»



О том же – по-своему – пишет и Валентина Сляднева: «Род гудит своею кровью/ Прибавляясь, каждый год/. И стоит у изголовья/ У него весь наш народ» («Род»).

В стихах нашей поэтессы родными друг другу становятся не только люди кровного родства, но все рождённые на одной земле, поскольку их сближает общность судеб, чаще всего нелёгких, нередко трагических, так как им пришлось всем вместе пережить испытание холодом и голодом, изнурительным трудом, горечью утрат – как в историческом времени, так и в новую эпоху, на которую пришлась самая кровопролитная в мире война, названная Великой Отечественной. Соотнося свою личную судьбу с судьбами павших на этой войне, Валентина Сляднева скажет без ложного пафоса: «На каждой могиле невинно убитых/ Я – камень надгробный».

Точно так же, как другой герой Андрея Платонова (машинист Пётр Савельич из рассказа «В прекрасном и яростном мире»), лирическая героиня Слядневой могла бы сказать о себе: «Без меня народ неполный». Во многих своих стихах она стремится передать всю гамму чувств и переживаний, свойственную ей как живому ростку родной земли, отверженной которой она осталась до конца, вот уж воистину сказано ею не ради красного словца: «С отчей землёй дорогой/ Связана каждою клеткой».

Валентину Ивановну не прельщали и не манили в дальние путешествия диковинные заморские края. Круизам и турам, курортам она предпочитала поездки на малую родину, где прошли её детство и юные годы, любила проводить свой досуг на загородном дачном участке в сотрудничестве с живой природой: «И опять мне – в сад бежать, /Обрезать, копать, сажать,/ Слушать нежных листьев

лепет»; «Нету за границ во мне – вся я тут». Её крестьянски крепкая рука уверенно держала и мотыгу, и кресало, которым поэтесса высекала для читателя в строках своих искры сердечного огня, способного дарить людям свет и тепло, напоминать о высшем, духовном в человеке.

Как же сотворилась эта неординарная человеческая личность?

Чудо явления поэта – одна из неразгаданных тайн, только промыслом Божиим можно объяснить его. Ведь вроде бы ничего особенного не происходило в жизни будущей поэтессы, внешне всё как у всех.

Родилась Валентина Ивановна Сляднева 22 декабря 1940 года в селе Надежда Ставропольского края Шпаковского района. Год рождения нуждается в уточнении. Сама поэтесса уверяла, что так значится в паспорте, а на самом деле явилась она на свет в 1941 году. Разночтение не случайное: просто девочке надо было помогать семье, а на работу «малолетку» не принимали, вот и пришлось пуститься на маленькую хитрость – прибавила себе годок. Так это или иначе было – не столь важно, однако высказанное нами разъяснение даёт представление об условиях существования будущей поэтессы.

Семья её была большая, будущая поэтесса росла в окружении трёх братьев и старшей сестры. Мать, Пелагея Мироновна, всю жизнь была занята крестьянским трудом и заботами о своём немалочисленном потомстве. Сельским тружеником, что называется, от земли, от сохи, был и отец семейства Иван Михайлович Слядnev. С началом Великой Отечественной он будет мобилизован в ряды защитников родины и вернётся домой с пустым рукавом вместо руки – правой, той, без которой человеку-



труженику нелегко обходиться. («Бродят по телу осколки у бати, / Ноет рука, что забрала война...»)

Надо ли говорить о том, как нелегко жилось семье в военные и в первые послевоенные годы. «Я огненного времени пленец» – скажет о себе поэтесса, её духовная память снова и снова будет возвращать её в те годы, когда не только их семья – вся страна напрягалась в трудах по восстановлению разрушенного войной быта, народного хозяйства.

Валентина, как и все дети в семье, рано приобщилась к труду. Сельский труд нескончаемый – от утренней зари до вечерней. Даже не выходя со своего подворья, можно за день до того натрудиться, что ног под собой не будешь чутать к вечеру. Тут и уход за домашней живностью, и в хате прибраться надо, и по воду сходить, сбегать на речку простирнуть бельё, успеть прополоть и полить в огороде грядки, присмотреть за младшими... Всё старалась успеть Валюшка. Из детства запомнилось ей, как мела глинобитный пол в саманной хате, как выкладывала камнями-голышами тропку от порога к воротам, чтобы не приходилось домочадцам грязь месить ногами в непогоду, как собирала по холмам, где бродило деревенское стадо на выпасе, кизяки для топки печи... Запах чабреца, полыни, кизячного дыма станет для неё запахом домашности, родного очага.

«Живых» денег у сельчан почти не водилось в то время: работали «за палочки» – трудодни, которые, если и оплачивались, то всё больше натурой – зерном, комбикормом. Получить деньги можно было с рынка, продав излишки сельскохозяйственного труда. За много километров приходилось ходить в город на базар матери, нередко она брала себе в помощницы Валюшку, и несли они на себе тяжёлые

узлы, сначала в гору, потом под гору... Сызмала узнала девочка, как достаётся заработанный рубль.

Её самостоятельная трудовая биография началась очень рано: с пятнадцати лет пошла работать в совхоз села Надежда. Приходилось делать всё, без чего немислим сельский уклад, – работа в овощехранилище, на току, на свекловичном поле... Зато, по её признанию, в нелёгкой жизни ей всегда подставляла плечо «девчонка, что была разнорабочей».

Девчонка эта десятилетку заканчивала в вечерней школе рабочей молодежи. Довелось поработать и техслужашей, и продавцом за прилавком магазина. Затем поступила на историко-филологический факультет Ставропольского педагогического института.

Навсегда запомнилось молодой учительнице, как волновалась она, идя на свой первый в жизни урок. Преподавала (правда, недолго) любимые предметы – русский язык и литературу. Было это уже далеко от родного дома: выйдя замуж за военного летчика, жила на Южном и Среднем Урале, в Заполярье, в Германии. А в конце концов прочно и основательно обосновалась на родном Ставрополье.

Биография как биография, ничего особенного, из ряда вон выходящего. Особенным было то, что возрастало в ней незаметно для других.

Вот черпает она ведром воду из ручья для полива грядок и застывает в непонятном для самой себя восторге: прямо в ведро плывёт белоснежное облако... Через годы вспомнится картинка из детства, и напишутся строки: «Люблю вычерпывать бадьёй/ Я небеса из речек!» Уже тогда, когда в памяти откладывались незабываемые впечатления детства, формировался в ней поэт. Слова придут позже...



*В казачьей станице я вольно росла,
Доила корову, отару пасла...
И были со мною одни в целом свете
Небо, да солнце, да нежный ветер...*

Давно и не мною замечено, что нежнее всего мы любим то, что находится для нас в недостижимом прекрасном далеке. В этом смысле Валентине повезло: судьба помотает-таки её по белу свету: «Ну на кой меня, на кой/ По земле носило?» Наверное, для того, чтобы понять, прочувствовать, как дорога её та «полоска земли» (название одного из рассказов писательницы), где прошло её детство и отрочество, где среди ила ничем не примечательных будней выбился наружу глубинный ключ родниково чистых впечатлений бытия. Очень многие стихи поэтессы – это, по сути, взволнованное лирическое повествование о возвращении к своим истокам, к самым ярким и неизгладимым переживаниям, которые мы способны испытывать только на заре своих дней: «Память, не ходит она далеко – /Около речки, что нет голубей, /Около близких земель и людей».

Запомнится девушке встреча, ставшая для неё в некотором роде судьбоносной. О ней я пишу со слов писателя, прозаика и поэта, Владимира Бутенко.

...Это было в шестидесятых годах. Как-то по рынку, что в краевом центре, проходил меж рядов коротко стриженный невысокого роста мужчина, балагурия с торговками, понаехавшими со своим продуктовым товаром из близлежащих сёл. Остановился, заглядевшись, как споро и ловко управлялась за прилавком улыбчивая дивчина, заговорил с нею, любопытствовал, кто она и откуда.

– Я из села Надежда.

– Ты, наверное, живого поэта никогда и не видела? Я – поэт Иван Кашпуров!

– А я тоже пишу стихи...



С этой встречи начинающей поэтессы с тогда уже признанным, известным поэтом Иваном Кашпуровым началась для неё настоящая работа над стихом под началом опытного мастера слова, работа, которая станет для Валентины Слядневой её отрадой и сладким мучением на всю оставшуюся жизнь.

Теперь в Ставрополе там, где некогда были торговые ряды, где за прилавком случилось увидеть белолицую и румяную, крепко сбитую ясноглазую девушку, стоит здание краевой юношеской библиотеки, названной именем этой девушки, ставшей известной в крае писательницей.

Ушла из жизни Валентина Ивановна на 73-м году жизни от тяжёлой болезни, которая многие годы подтачивала её физические силы. Последний приют нашла она на сельском кладбище родного села Надежда, рядом с могилами, в которых покоятся дорогие ей люди.

Я сказала – «ушла» и тут же спохватилась: как-то это неприемлемо звучит в случае с человеком, голос которого мне так явственно слышится в каждом его слове.

Извечный мотив неизбежности расставания со всем, что дорого земному смертному человеку, в стихах Валентины Ивановны, естественно, небеспечален, но в то же время не несёт в себе тоски и уныния. И хотя её лирическая героиня по-человечески завидует «каменным фрескам, пирамидам, стоящим века», земля в этих её размышлениях о конечности индивидуального человеческого бытия по-прежнему не прах, но созидательное, вечное начало. «С головой землёй укроюсь. Ни гу-гу», – так говорит поэтесса о неизбежности, как будто её ждёт впереди, как всех смертных, вовсе не погребение – просто укроется она землёй с головой, словно одеялом.



«Я стану землёю!» – почти ликующе восклицает она, поскольку в её представлении, восприятии индивидуальная смерть – это лишь продолжение вечной жизни человеческого рода в грядущих поколениях:

*...Навеки земля сохранит
Мою женскую суть:
Цветами и травами
Правнукам выставлю путь.*

...То, что я рассказала здесь в сравнительно небольшом сообщении о жизни и творчестве моей коллеги по литературному труду, с которой мы почти одновременно вступили на эту стезю, – лишь самая малая часть большого айсберга, который носит имя – Валентина Сляднева. При этом хочется, чтобы последнее слово осталось за поэтом:

*Смешались краски в круговерти,
Размыло радость и беду.
Не от рожденья, а от смерти
Я новый счёт делам веду.*

*Всё чаще в сердце боль утраты,
Я рощи нахожу по пням.
Погост на холмике покато
Кто приторочил к моим дням?*

*Я оглянусь и занемею,
И не смахну слезы с лица...
По бровке чувств иду ровнее –
Не от начала, от конца.*

Куда можно идти «от конца»? Только в бесконечность Вселенной. И об этом она сказала уже в самом начале своего Пути, в первой своей маленькой и лёгонькой, как пташка, и такой же пернатой по природе книжечке: «Прямо в солнце иду!»

Сведения об авторах

Бутенко Владимир Павлович. Родился в 1952 году в хуторе Дарьевка Ростовской области. Член Союза писателей СССР и России. Трижды лауреат литературной премии губернатора Ставропольского края, лауреат премии журнала «Наш современник» за 2011 г. Живет в Ставрополе.

Гончарова Елена Михайловна. Родилась в Ставрополе. Окончила Ставропольский госуниверситет. Публиковалась в коллективных сборниках. Автор книги «Трамвайчик». Лауреат литературной премии губернатора Ставрополя им. Губина. Живет в Ставрополе.

Дружинина-Куликова Тамара Дмитриевна. Родилась в поселке Березовском Саратовской области. Окончила Ленинградский госуниверситет. Преподавала, работала в различных СМИ. Кандидат филологических наук. Дважды лауреат краевой журналистской премии им. Г. Лопатина. Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Ставрополе.

Звягинцев Василий Дмитриевич. Известный российский писатель. Родился в 1944 году в Грозном. Окончил Ставропольский медицинский институт. Автор серии фантастических романов. Лауреат многих российских и международных престижных премий. Живет в Ставрополе.

Иванова Елена Львовна. Родилась на Брянщине. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в газетах, на телевидении. Автор десяти сборников стихотворений. Член Союза писателей СССР и России. Лауреат премии губернатора Ставропольского края. Живет в Ставрополе.

Кругов Алексей Иванович. Родился в 1959 году в Перми. Окончил Ставропольский педагогический институт и Институт российской истории РАН. Автор монографий, учебников и учебных пособий, публикаций по вопросам аграрной истории и краеведению. Живет в Ставрополе.

Сляднева Валентина Ивановна (1940 – 2013). Известная ставропольская поэтесса. Член Союза писателей СССР и России. Родилась в селе Надежда на Став-



рополье. Окончила Ставропольский пединститут. Автор многих книг стихотворений и прозы, публикаций в краевой и центральной периодике. Дважды лауреат литературной премии губернатора Ставропольского края, дипломант песенных конкурсов.

Ходунков Константин Дмитриевич. Прозаик, поэт, публицист. Родился в 1929 году в селе Орловка Новосибирской области. Окончил Новосибирский пединститут. Работал на заводе, в сфере культуры, долгие годы находился на руководящих должностях в партийных и хозяйственных органах. Автор многих книг в различных жанрах. Возглавляет газету ставропольских коммунистов «Родина». Живет в Ставрополе.

Сургучев Илья Дмитриевич (1881 – 1956). Выдающийся русский писатель, драматург, публицист. Родился в ставропольской купеческой семье. Первый рассказ опубликовал в 1906 году в «Журнале для всех». Большой успех и известность в стране принесли роман «Губернатор» и пьеса «Осенние скрипки», поставившие его в один ряд с классиками отечественной словесности

Фокин Александр Алексеевич. Родился в 1966 году в поселке Медногорском на Ставрополье. По окончании пединститута работал учителем. Доктор филологических наук. Профессор СГУ. Автор книг «Творчество Иосифа Бродского в контексте русской поэтической традиции», «Илья Дмитриевич Сургучев. Проблемы творчества» и многочисленных публикаций по различным вопросам филологии. Живет в Ставрополе.

Шевякин Анатолий Николаевич. Родился в 1950 году в станице Филимоновской на Ставрополье. Окончил Ставропольский пединститут. Публиковался в периодике, в альманахе «Ставрополье». Автор поэтического сборника «Кто же я?» Живет в Ставрополе.

Яковлев Владимир Яковлевич. Родился в 1947 году на Ставрополье. Окончил Литературный институт им. Горького. Сменил множество профессий. Создатель телевизионных студий в краевом УВД, Ставропольском университете. Известный журналист, неоднократно посещавший «горячие военные точки». Член Союза писателей России. Живет в Ставрополе.